Федоръ Сологубъ.

ФЕДОР СОЛОГУБ

8

Федоръ Сологубъ.

СОБОРНЫЙ БЛАГОВЕСТ

ИЗ

Собрание сочинений

ТОМ ВОСЬМОЙ

Федор Сологубъ

Собрание сочинений

Соборный благовест

8

Стихотворения

Рассказы

Москва
НПК «Интелвак»
2004

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
С 60

Составитель и автор примечаний *Т.Ф. Прокопов*

Художник *В.М. Мельников*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-022-7
ISBN 5-93264-050-2 (т. 8)

ОЧАРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Стихи 1913 года

ПОСВЯЩЕНИЕ

Неизвестность, неизбежность, вот где лучший сок времен.
Ходишь, ходишь по дорогам, вещей тайной окружен.

Смотришь в домы, смотришь в лица, смотришь в души и в сердца.
Петли мудрых сетей вяжешь, вяжешь, вяжешь без конца.

Вот на мир накинул сети, вот и мир уж весь пленен.
И никто не спросит мудрый: «Хитрый путник, кто же он?»

Неизбежность утомила, мудрость молится Отцу,
Петли вьются туже, туже, путь мой клонится к концу.

Выпит, вылит без остатка сладкий, терпкий яд времен.
Мир в сетях, но что ж мне в мире? сердце просится в полон.

Сердце жаждет милой дамы с смуглой бледностью в лице,
И несет ей мудрый странник зелен камень на кольце.

Этот камень тайной слова, тайной лет заворожен
И спасает он от злого наваждения времен.

9 января 1914
Вагон Порхов — Подсевы

I

Триолеты

Земля родная

* * *

Какая нежная интимность —
Туман, приникнувший к земле!
Чуть слышны плески на весле.
Какая нежная интимность!
Но чей призыв и чья взаимность?
Коню хвала, земле иль мгле?
Какая нежная интимность —
Туман, приникнувший к земле.

5 марта 1913
Минск — Вильна

* * *

Любите, люди, землю, — землю
В зеленой тайне влажных трав.
Веленью тайному я внемлю:
«Любите, люди, землю, — землю
И сладость всех ее отрав!»
Земной и темный, все приемлю.
Любите, люди, землю, — землю
В зеленой тайне влажных трав.

5 марта 1913
Минск — Вильна

* * *

Земля докучная и злая,
Но все же мне родная мать!
Люблю тебя, о мать немая,
Земля докучная и злая!
Как сладко землю обнимать,
К ней приникая в чарах мая!
Земля докучная и злая,
Но все же мне родная мать!

5 марта 1913
Минск — Вильна

* * *

Земной, желанный сердцу рай
К тоскующим приник равнинам.
В моей земле не умирай,
Земной, желанный сердцу рай!
Весь мир зажгу огнем единым,
И запылает мглистый край.
Земной, желанный сердцу рай
К тоскующим приник равнинам.

5 марта 1913
Минск — Вильна

* * *

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной бегут,
И рифмы звонкие влекут.
Еще в полях белеет снег,

Пророчество небесных нег,
А очи Змея сладко жгут.
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной бегут.

6 марта 1913
Вильна — Харьков

* * *

Как ни грозит нам рок суровый,
Но снова вспаханы поля,
И всходы вновь дает земля.
Как ни грозит нам рок суровый,
Но всюду знаки жизни новой
И взлет свободный, без руля.
Как ни грозит нам рок суровый,
Но снова вспаханы поля.

9 марта 1913
Нижнеднепровск — Екатеринослав

* * *

Природа учится у нас,
Мы у нее учиться рады.
Меж ней и нами нет преграды.
Природа учится у нас,
И каждый день, и каждый час
Полны зиждительной отрады.
Природа учится у нас,
Мы у нее учиться рады.

9 марта 1913
Екатеринослав

* * *

Вздыхает под ногами мох,
Дрожат березки нежно, томно,
Закрылся лес туманом скромно,
И только лес, и только мох,
И песня — стон, и слово — вздох.
Земля — мираж, и небо темно.
О, милый лес! о, нежный мох!
Березки, трепетные томно!

15 апреля 1913
Тосно — Петербург

* * *

Сердце дрогнуло от радости.
Снова север, снова дождь,
Снова нежен мох и тощ, —
И уныние до радости,
И томление до сладости,
И мечтанья тихих рощ,
И дрожит душа от радости, —
Милый север! милый дождь!

15 апреля 1913
Тосно — Петербург

* * *

Воздух, пестрый от дождя,
Снова мил и снова свеж.
Ножки детские потешь
Мелким брызганьем дождя.

Дождь, над рощею пройдя,
Тень укромную разнежь.
После вешнего дождя
Воздух снова мил и свеж.

3 мая 1913
Венден — Вольмар

* * *

Милая прохлада, — мгла среди полей.
За оградой сада сладостный покой.
Что ж еще нам надо в тишине такой!
Подышать ты радо, небо, мглой полей,
Но в мою прохладу молний не пролей,
Не нарушь услады, — грезы над рекой.
Так мила прохлада мглы среди полей!
Так в ограде сада сладостен покой!

24 июня 1913
Тюрсель — Тойла

* * *

Рудо-желтый и багряный,
Под моим окошком клен
Знойным летом утомлен.
Рудо-желтый и багряный,
Он ликует, солнцем пьяный,
Буйным вихрем охмелен.
Рудо-желтый и багряный,
Осень празднует мой клен.

6 сентября 1913
Тойла

* * *

Тихо, тихо над прадедовским прудом.
Зарастай зеленой тиной, старый пруд!
Ни Наталка, ни Одарка не придут,
Не споют унывной песни над прудом.
Сестры милые покинули свой дом
И в холодном, темном городе живут.
Их мечты уже не вьются над прудом.
Зарастай же темной тиной, старый пруд.

8 октября 1913
Гомель, над Сожем

* * *

Каждый год я болен в декабре.
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить
И склоняюсь к смерти в декабре, —
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.

4 ноября 1913
СПб.

Радость дорог

* * *

Один в полях моих иду.
Земля и я, и нет иного.

Все первозданно-ясно снова.
Один в полях моих иду
Я, зажигающий звезду
В просторе неба голубого.
Один в полях моих иду.
Земля и я, и нет иного.

5 марта 1913
Минск — Вильна

* * *

Лежу в траве на берегу
Ночной реки и слышу плески.
Пройдя поля и перелески,
Лежу в траве на берегу.
На отуманенном лугу
Зеленые мерцают блески.
Лежу в траве на берегу
Ночной реки и слышу плески.

5 марта 1913
Минск — Вильна

* * *

Печальный аромат болот
Пророчит радости иные,
Быть может, злые и больные.
Печальный аромат болот
Отраду травную прольет
В сердца усталые и злые.
Печальный аромат болот
Пророчит радости иные.

6 марта 1913
Новобелица — Зябровка

* * *

Пройду над влагами болот,
Дыша их пряным ароматом.
На скользком помосте дощатом
Пройду над влагами болот,
И у затворенных ворот
С моим забытым встречусь братом.
Пройду над влагами болот,
Дыша их пряным ароматом.

6 марта 1913
Сновская — Низовка

* * *

Какая радость — по дорогам
Стопами голыми идти
И сумку легкую нести!
Какая радость — по дорогам,
В смиренье благостном и строгом,
Стихи певучие плести!
Какая радость — по дорогам
Стопами голыми идти!

10 марта 1913
Королевка — Александрия

* * *

Теплый ветер веет мне в лицо,
        Солнце низко, вечер близко,
        Томен день, как одалиска.
Ветер теплый веет мне в лицо.

Жизни странной плоское кольцо
Скоро сплющу в форме диска.
Теплый ветер веет мне в лицо,
Солнце низко, вечер близко.

10 марта 1913
Помошная

* * *

К безвестным, дивным достижениям
Стремлюсь я в дали, юно-смел.
К планетам чуждым я доспел,
Стремясь к безвестным достижениям.
Сверканьем, страстью и стремлением
Воспламеню я мой удел.
К безвестным, дивным достижениям
Стремлюсь я в дали, юно-смел.

24 марта 1913
Мелитополь — Ташенак

* * *

Что может быть лучше дороги лесной
В полуденной, нежно-спасающей мгле!
Свой дух притаился здесь в каждом стволе.
Что может быть лучше дороги лесной,
Особенно в полдень румяной весной,
Когда еще холод таится в земле!
Что может быть лучше дороги лесной
В спасающей, милой, полуденной мгле!

18 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

Города

* * *

Безумно злое упоенье
Вокзальных тусклых, пыльных зал, —
Кто дал тебе его, вокзал,
Все это злое упоенье?
Кто в это дикое стремленье
Звонки гремучие вонзал?
Безумно злое упоенье
Вокзальных тусклых, пыльных зал.

5 марта 1913
Вильна

* * *

По узким улицам гремит
Разбито-гулкая коляска.
Какая трепетная ласка
По узким улицам гремит!
Куда летит, куда спешит
В пыли влекущаяся сказка?
По узким улицам гремит
Разбито-гулкая коляска.

5 марта 1913
Вильна

* * *

Люблю большие города
С неумолкающим их гулом

И с их пленительным разгулом.
Люблю большие города,
И пусть таится в них беда
С холодным револьверным дулом, —
Люблю большие города
С неумолкающим их гулом.

5 марта 1913
Вильна

* * *

Разнообразность городов
Не достигает до предела.
У всех людей такое ж тело.
Разнообразность городов
Все ж не творит людей-орлов
И все ж мечты не захотела.
Разнообразность городов
Не достигает до предела.

9 марта 1913
Екатеринослав

* * *

Во внутреннем дворе отеля
Фонтан мечтательный журчал.
Печальный юноша мечтал
На внутреннем дворе отеля.
Амур с фонтана, метко целя,
Ему стрелою угрожал.
Во внутреннем дворе отеля
Фонтан мечтательный журчал.

12 марта 1913
Одесса Лондонская гостиница

* * *

По копейке четыре горшечка
Я купил и в отель их несу,
Чтобы хрупкую спрятать красу.
По копейке четыре горшечка,
Знак идиллий, в которых овечка
Вместе с травкою щиплет росу.
По копейке четыре горшечка
Я купил и в отель их несу.

21 марта 1913
Полтава Улицы

* * *

По ступеням древней башни поднимаюсь выше, выше,
Задыхаюсь на круженье сзади ветхих амбразур,
Слышу шелест легких юбок торопливых, милых дур,
По источенным ступеням узкой щелью, выше, выше,
Лишь затем, чтоб на минуту стать на доски новой крыши,
Где над рыцарскою залой обвалился абажур, —
Вот зачем я, задыхаясь, поднимаюсь выше, выше,
Выше кровель, выше храмов, выше мертвых амбразур.

3 мая 1913
Венден

* * *

Либава. Либава, товарная душа!
Воздвигла ты стены пленительных вилл,
Но дух твой, Либава, товар задавил.
Либава, Либава, товарная душа!

Живешь ты тревожно, разбогатеть спеша,
Но кислый дух скуки гнездо в тебе свил.
Либава, Либава, товарная душа!
Зачем тебе стены пленительных вилл?

10 октября 1913
Кременчуг

* * *

Каменные домики, в три окошка каждый,
Вы спокойно-радостны, что вам пожелать!
Ваших тихих пленников некуда послать.
В этих милых домиках, в три окошка каждый,
Разве есть томление с неизбывной жаждой?
Все, что было пламенем, в вас теперь зола.
Тихи, тихи домики, в три окошка каждый,
Вам, спокойно-радостным, нечего желать.

7 декабря 1913
Елисаветград Улицы

* * *

Эта странная труппа актеров и актрис
Ставит зачем-то пьесы одна другой хуже.
Смотреть на них досадно, и жалко их вчуже.
Взяли бы лучше в горничные этих актрис.
Ведь из клюквы никто не сделает барбарис,
И крокодилов никто не разведет в луже.
В этом городе дела актеров и актрис,
Хоть из кожи лезь, пойдут все хуже и хуже.

1913

* * *

Отбросив навеки зеленые пятна от очков,
Проходит горбатый, богатый, почтенный господин.
Калоши «Проводник» прилипают к скользкой глади льдин,
И горбатый господин не разобьет своих очков,
И не потешит паденьем шаловливых дурачков,
Из которых за ним уже давно бегает один,
Залюбовавшись на зеленые пятна от очков,
Которыми очень гордится горбатый господин.

1913

* * *

Яркий факел погребальный
Не задует снежный ветер.
Хорошо огню на свете,
Пусть он даже погребальный,
Пусть его напев рыдальный
На дороге вьюжной встретит.
Яркий факел погребальный
Не задует снежный ветер.

28 декабря 1913
СПб

Земные небеса

* * *

В небо ясное гляжу,
И душа моя взволнована,
Дивной тайной зачарована.

В небо ясное гляжу, —
Сам ли звезды вывожу,
Божья ль тайна в них закована?
В небо ясное гляжу,
И душа моя взволнована.

6 марта 1913
Новобелица — Зябровка

* * *

Тонкий край свой месяц долу кажет,
Серебристо-алый на востоке.
Неба сини все еще глубоки,
Но уж край свой месяц долу кажет,
И заря уж розы в полог вяжет,
Чтоб напомнить о суровом сроке.
Тонкий край свой месяц долу кажет,
Серебристо-алый на востоке.

21 марта 1913
Лещиновка — Полтава

* * *

Душой росы, не выпитой пространством,
Дышал зеленый луг, улыбчив небесам.
Душа моя во тьме влеклася по лесам,
Упоена в безмерности пространством
И в изменяемости постоянством,
И я был весь, и снова был я в мире сам,
Когда душой, не выпитой пространством,
Зеленый луг дышал, улыбчив небесам.

14 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Купол церкви, крест и небо,
И вокруг печаль полей, —
Что спокойней и светлей
Этой ясной жизни неба?
И скажи мне, друг мой, где бы
Возносилася святей
К благодатным тайнам неба
Сказка легкая полей!

11 июля 1913
Нарва — Корф

* * *

По небесам идущий Бог
Опять показывает раны
Своих пронзенных рук и ног.
По небесам идущий Бог
Опять в надземные туманы
Колени дивных ног облек.
По небесам идущий Бог
Опять показывает раны.

17 ноября 1913
Москва

Отравы

* * *

Какое горькое питье!
Какая терпкая отрава!

Любовь обманчива, как слава.
Какое горькое питье!
Все, все томление мое
Ничтожно, тщетно и неправо.
Какое горькое питье!
Какая терпкая отрава!

6 марта 1913
Макошино

* * *

Отдыхая в теплой ванне,
Кровь мою с водой смесить,
Вены на руках открыть,
И забыться в теплой ванне, —
Что же может быть желанней?
И о чем еще молить?
Отдыхая в теплой ванне,
Кровь мою с водой смесить.

7 марта 1913
Харьков

* * *

Какая смена настроений!
Какая дьявольская смесь!
Пылаю там и стыну здесь.
Какая смена настроений,
Успокоений и волнений!
Весь кубок пестрой жизни, весь!
Какая смена настроений!
Какая дьявольская смесь!

8 марта 1913
Харьков

* * *

Надо жить с людьми чужими,
Только сам себе я свой,
И, доколе я живой,
Надо жить с людьми чужими,
Ах, не все ль равно с какими!
Уж таков мой рок земной, —
Надо жить с людьми чужими,
Только сам себе я свой.

10 марта 1913
Пятихатки — Королевка

* * *

Лукавый хохот гнусных баб
Меня зарею ранней встретил.
Смеются: «Что же ты не светел?»
Лукавый хохот гнусных баб
Напомнил мне, что, снова раб,
Я непомерный путь наметил.
Лукавый хохот гнусных баб
Меня зарею ранней встретил.

11 марта 1913
Раздельная — Одесса

* * *

Сплетеньем роз венчайте милых жен,
Но дев терзайте чаще и больнее,
Что девы были строже и сильнее.
Сплетеньем роз венчайте милых жен, —

Трудами их союз наш освящен,
А девы волн лукавей и вольнее.
Сплетеньем роз венчайте милых жен,
А дев терзайте чаще и больнее.

12 марта 1913
Одесса

* * *

Себе я покупаю смерть,
Как покупают апельсины.
Вон там, во глубине долины,
Моя уже таится смерть.
Желта, худа она, как жердь,
И вся из малярийной глины, —
Покорно выбираю смерть,
Как выбирают апельсины.

10 апреля 1913
Дорога из Батума на Зеленый мыс

* * *

Ты пришла ко мне с набором
Утомленно-сонных трав.
Сок их сладок и лукав.
Ты пришла ко мне с набором
Трав, с нашептом, с наговором,
С хитрой прелестью отрав.
Ты пришла ко мне с набором
Утомленно-сонных трав.

26 мая 1913
Тойла

* * *

О, безмерная усталость!
Пой на камнях, на дороге
О любви, о светлом Боге,
И зови, моя усталость,
На людей Господню жалость.
В несмолкающей тревоге
Пой, безмерная усталость,
И влекися по дороге.

26 мая 1913
Тойла

* * *

Ниву спелую волнуешь,
Сердце темное тревожишь,
Но умчать с собой не можешь.
Ты недвижное волнуешь,
Ты стремленье знаменуешь,
Но томленья только множишь.
Неподвижное волнуешь,
Утомленное тревожишь.

27 мая 1913
Тойла

* * *

Аллеею уродливых берез
Мы шли вблизи сурового забора,
Не заводя медлительного спора.
Аллеею уродливых берез

Вдоль колеи, где влекся грузный воз,
Боясь чего-то, шли мы слишком скоро.
Аллеею уродливых берез
Был скучен путь вдоль темного забора.

2 июня 1913

* * *

В иных веках, в иной отчизне,
О, если б столько людям я
Дал чародейного питья!
В иных веках, в иной отчизне
Моей трудолюбивой жизни
Дивился б строгий судия.
В иных веках, в иной отчизне
Как нежно славим был бы я!

5 июля 1913
Тойла

* * *

Мои томительные дни
Омрачены жестокой бранью,
Моих сограждан щедрой данью.
Мои томительные дни —
В ночи медлительной огни
От ожиданий к увяданью.
Мои томительные дни
Россия омрачила бранью.

5 июля 1913
Тойла

* * *

«Солнце, которому больно!
Что за нелепая ложь!
Где ты на небе найдешь
Солнце, которому больно?»
Солнце, смеяться довольно!
Если во мне ты поешь,
Разве ж поешь ты безбольно?
Разве же боль эта — ложь?

5 июня 1913
Тойла

* * *

Ты сжег мою умильную красу,
Жестокий лик пылающего бога,
Но у меня цветов и красок много,
И новую, багряную красу
Я над листвой поблеклой вознесу,
Чтоб не тужила гулкая дорога,
И пусть мою умильную красу
Сожгло пыланье яростного бога.

7 октября 1913
Вильна — Минск

* * *

Ночь настала рано,
Рано, рано спать, —
Но кого ж распять,
Чтоб наставший рано

Мрак живая рана
Стала колебать?
Ночь настала рано.
Рано, рано спать.

5 декабря 1913
Киев — Жуляны

Утешения

* * *

Безгрешно все, и все смешно,
И только я безумно грешен.
Мой темный жребий роком взвешен.
Безгрешно все, и все смешно.
Вам, люди, все разрешено,
И каждый праведно утешен.
Засмейтесь, люди, — все смешно,
И даже я невинно грешен.

6 марта 1913
Макошино — Бондаревка

* * *

Я верю, верю, верю, верю
В себя, в тебя, в мою звезду.
От жизни ничего не жду,
Но все же верю, верю, верю,
Все в жизни верою измерю
И смело в темный путь иду.
Я верю, верю, верю, верю
В себя, в тебя, в мою звезду.

7 марта 1913
Харьков

* * *

Увидишь мир многообразный
И многоцветный, — и умри.
В огнях и в зареве зари
Приветствуй мир многообразный,
Пройди чрез все его соблазны,
На всех кострах его гори,
Отвергни мир многообразный
И многоцветный, — и умри.

7 марта 1913
Харьков

* * *

Что же ты знаешь об этом,
Бедное сердце мое?
К смерти ли это питье, —
Что же ты знаешь об этом?
Верь невозможным обетам.
Чье же хотение, чье?
Что же мы знаем об этом,
Бедное сердце мое?

24 марта 1913
Юрицыно — Рыково

* * *

Где-то есть тропа мечтательная.
Правда в ней, а в жизни ложь.
Только этим и живешь,
Что светла тропа мечтательная.

Только где же указательная
К ней рука? — не разберешь.
Где-то есть тропа мечтательная, —
Как найти ее сквозь ложь?

31 марта 1913
Екатеринодар Улицы

* * *

Ты гори, моя свеча,
Вся сгорай ты без остатка, —
Я тебя гасить не стану.
Ты гори, моя свеча, —
Свет твой мил мне или нет,
Пусть кому-нибудь он светит.
Догорай, моя свеча,
Вся сгорай ты без остатка.

4 июня 1913
Тойла

* * *

Благослови свиные хари,
Шипенье змей, укусы блох, —
Добру и Злу создатель — Бог.
Благослови все эти хари,
Прости уродство всякой твари,
И не тужи, что сам ты плох.
Пускай тебя обстанут хари
В шипенье змей, в укусах блох.

10 июня 1913
Тойла

* * *

Если ты чего-нибудь захочешь,
То с душой, желанья полной, тело
Вместе брось в задуманное дело.
Если ты чего-нибудь захочешь,
То не жди, когда свой нож наточишь,
И не жди, чтобы пора приспела.
Нет, уж если ты чего захочешь,
То с душою на кон брось и тело.

14 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Безумно-осмеянной жизни
Свивается ль, рвется ли нить, —
Что можешь, что смеешь хранить
В безумно-растоптанной жизни!
Лишь власти не дай укоризне
Страдающий лик отемнить,
Свивается ль, рвется ли нить
Безумно-осмеянной жизни.

14 июня 1913
Тойла

* * *

Все мы, отвергнутые раем
Или отвергнувшие рай,
Переживаем хмельный май
В согласии с забытым раем.

Все то, чего уже не знаем,
Мы вспоминаем невзначай,
Мы все, отвергнутые раем
Или отвергнувшие рай.

18 августа 1913
Тойла

* * *

Моей свинцовой нищеты
Не устыжуся я нимало,
Хотя бы глупым называла
За неотвязность нищеты
Меня гораздо чаще ты.
Пускай судьба меня сковала,
Моей свинцовой нищеты
Не устыжуся я нимало.

31 августа 1913
Тойла

* * *

Сверкайте, миги строгих дней!
Склонился я в железном иге.
Да будут вместо жизни книги
Наградою железных дней.
Пусть режут тело мне больней
Мои железные вериги.
Сверкайте, миги стройных дней!
Покорен я в железном иге.

31 августа 1913
Тойла

* * *

Моя душа тверда, как сталь.
Она блестит, звенит и режет.
Моих вериг железный скрежет
Ничто перед тобою, сталь.
Так пой же, пой, моя печаль,
Как жизнь меня тоскою нежит.
Моя душа тверда, как сталь,
Она звенит, блестит и режет.

31 августа 1913
Тойла

* * *

Звенела кованая медь,
Мой щит, холодное презренье,
И на щите девиз: «Терпенье».
Звенела кованая медь,
И зазвенит она и впредь
В ответ на всякое гоненье.
Звени же, кованая медь,
Мой щит, холодное презренье.

1 сентября 1913
Тойла

* * *

Моя далекая, но сердцу близкая,
Разлуку краткую прими легко, легко.
Все то, что тягостно, мелькает коротко,
Поверь мне, милая, столь сердцу близкая.
Научен опытом, по свету рыская,
Я знаю, — горькое от сердца далеко.

Моя далекая, но сердцу близкая,
Разлуку краткую прими легко, легко.

2 декабря 1913
Вагон Фастов — Кожанка

Любовь земная

* * *

Прижаться к милому плечу
И замереть в истоме сладкой.
Поцеловать его украдкой,
Прижавшись к милому плечу.
Шепнуть лукавое: «Хочу!»
И что ж останется загадкой?
Прижаться к милому плечу
И замереть в истоме сладкой.

6 марта 1913
Вагон Низовки — Мена

* * *

Я к ногам любимой брошу
Все державы и венцы,
Отворю ей все дворцы.
Я к ногам любимой брошу
Соблазнительную ношу, —
Все, что могут дать творцы.
Я к ногам любимой брошу
Все державы и венцы.

8 апреля 1913
Батум

* * *

Только будь всегда простою,
Как слова моих стихов.
Я тебя любить готов,
Только будь всегда простою,
Будь обрызгана росою,
Как сплетеньем жемчугов,
Будь же, будь всегда простою,
Как слова моих стихов!

11 апреля 1913
Вагон Евлах

* * *

В моем бессилии люби меня.
Один нам путь, и жизнь одна и та же.
Мое безумство манны райской слаже.
Отвергнут я, но ты люби меня.
Мой рдяный путь в метании огня,
Архангелом зажженного на страже.
В моем горении люби меня, —
Нам путь один, нам жизнь одна и та же.

26 мая 1913
Тойла

* * *

Ты только для меня. Таинственно отмечен
Блистающий наш путь, и ярок наш удел.
Кто скажет, что венец поэта потускнел?
В веках тебе удел торжественный намечен, —
Здесь верный наш союз несокрушимо вечен.

Он выше суетных, земных, всегдашних дел.
Ты только для меня. Торжественно намечен
В веках наш яркий путь, и светел наш удел.

12 июня 1913
Тойла

* * *

Сила песни звонкой сотрясает тело птички,
Все, от шейки вздутой и до кончика хвоста.
В выраженье страсти птичка радостно проста.
Сила звонкой песни сотрясает тело птички,
Потому что песня — чарованье переклички,
В трепетанье звуков воплощенная мечта.
Сила нежной страсти сотрясает тело птички,
Все, от вздутой шеи и до кончика хвоста.

14 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Птичка — только канарейка, домик — только клетка,
Но учиться людям надо так любить и петь,
В трепетанье вольной песни так всегда гореть.
Птичка — крошка канарейка, бедный домик — клетка,
Роковой предел стремлений — только чья-то сетка,
Но любви, любви безмерной что капкан и сеть!
Божья птичка — канарейка, птичий домик — клетка,
Здесь учиться людям надо, как любить и петь.

14 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Рая не знаем, сгорая.
Радость — не наша игра.
Радужны дол и гора,
Рая ж не знаем, сгорая.
Раяли птицы, играя, —
Разве не птичья пора!
Рая не знаем, сгорая.
Радость — не наша игра.

13 июля 1913
Иеве — Тойла Дорога

Дни

* * *

День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.
Закону мудрому поверьте, —
День только к вечеру хорош.
С утра уныние, и ложь,
И копошащиеся черти.
День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.

7 марта 1913
Харьков

* * *

Просыпаться утром рано,
Слушать пенье петуха,
Позабыть, что жизнь лиха.

Пробудившись утром рано,
В час холодного тумана,
День промедлить без греха
И опять проснуться рано
Под оранье петуха.

31 марта 1913
Екатеринодар. Улицы

* * *

День золотистой пылью
Глаза туманит мне.
Мир зыблется во сне,
Явь заслоняя пылью,
И к сладкому бессилью
Клонясь, и к тишине.
День золотистой пылью
Глаза отводит мне.

5 июля 1913
Тойла

* * *

Не надо долгого веселья,
Лишь забавляющего лень.
Пусть размышлений строгих тень
Перемежает нам веселья.
Тревожный праздник новоселья
Пусть нам дарует каждый день.
Отвергнем долгие веселья,
Лишь забавляющие лень.

19 июля 1913
Тойла

* * *

С вами я, и это — праздник, потому что я — поэт.
Жизнь поэта — людям праздник, несказанно-сладкий дар.
Смерть поэта — людям горе, разрушительный пожар.
Что же нет цветов привета, если к вам идет поэт?
Разве в песнях вам не виден разлитой пред вами свет?
Или ваша дань поэту — только скучный гонорар?
Перед вами открывает душу верную поэт.
В песнях, в былях и в легендах — несказанно-сладкий дар.

2 августа 1913

Тойла

* * *

Вот так придешь и станешь на камнях над рекою,
Глядишь, как удит рыбу эстонское дитя,
Как воды льются, льются, журча и шелестя.
Пласты лиловой глины нависли над рекою,
А сердце, — сердце снова упоено тоскою,
И бьется в берег жизни, тоской своей шутя.
Стоишь, стоишь безмолвно над быстрою рекою,
Где тихо струи плещет эстонское дитя.

7 августа 1913

Тойла

* * *

Откачнись, тоска моя, чудовище,
Не вались опять ко мне на грудь,
Хоть недолго вдалеке побудь.

Что ты хочешь, тяжкое чудовище?
Отдал я тебе мое сокровище,
Коротаю дни я как-нибудь.
Откачнись, косматое чудовище,
Не вались опять ко мне на грудь.

9 августа 1913
Тойла

* * *

Дошутился, доигрался, докатился до сугроба,
Так в сугробе успокойся и уж больше не шути.
Из сугроба в мир широкий все заказаны пути.
Доигрался, дошутился, докатился до сугроба,
Так ни слава, и ни зависть, и ни ревность, и ни злоба
Не помогут из сугроба в мир широкий уползти.
Дошутился, доигрался, докатился до сугроба,
Так в сугробе ляг спокойно и уж больше не шути.

7 сентября 1913
СПб

* * *

У меня сто тысяч теней.
С ними дни я коротал
И менять их не устал.
Вереницу легких теней
Я гирляндами цветений
Все по-новому сплетал.
У меня сто тысяч теней,
С ними дни я коротал.

11 сентября 1913
СПб

* * *

Пройдут все эти дни, вся жизнь совьется наша,
Как мимолетный сон, как цепь мгновенных снов.
Останется едва немного вещих слов,
И только ими жизнь оправдана вся наша,
Отравами земли наполненная чаша,
Кой-как слепленная из радужных кусков.
Истлеют наши дни, вся жизнь совьется наша,
Как ладан из кадил, как дым недолгих снов.

7 декабря 1913
Елисаветград Улицы

Земные просторы

* * *

Прекрасный Днепр, хохлацкая река,
В себе ты взвесил много ила.
В тебе былая дремлет сила,
Широкий Днепр, хохлацкая река.
Быль прежних дней от яви далека,
Былая песнь звучит уныло.
Прекрасный Днепр, хохлацкая река,
Несешь ты слишком много ила.

10 марта 1913
Вагон Екатеринослав — Запорожье

* * *

Зеленая вода гнилого моря,
Как отразится в ней высокая звезда?

Такая тусклая и дряхлая вода,
Зеленая вода гнилого моря,
С мечтою красоты всегда упрямо споря,
Она не вспыхнет блеском жизни никогда.
Зеленая вода гнилого моря,
Как отразится в ней высокая звезда?

24 марта 1913
Вагон Сальково — Джимбулук

* * *

В полдень мертвенно-зеленый
Цвет воды без глубины,
Как же ты в лучах луны
Светишь, мертвенно-зеленый?
Кто придет к тебе, влюбленный,
В час лукавой тишины,
О безумный, о зеленый
Цвет воды без глубины?

24 марта 1913
Вагон. Джимбулук — Чонгар

* * *

Лиловый очерк снежных гор
В тумане тонет на закате.
Душа тоскует об утрате.
Лиловый очерк снежных гор
Замкнул пленительный простор
Стеной в мечтательной палате.
Лиловый очерк снежных гор
В тумане тонет на закате.

8 апреля 1913
Вагон Ланчхуты -- Джуматы

* * *

Еще арба влечется здесь волами,
Еще в пыли и в лужах долгий путь,
Еще окрест томительная жуть,
А в небе над арбами, и волами,
И над папахами, и над ослами
Спешит Икар надкрылья развернуть,
И пусть арба, влекомая волами,
Проходит медленный и трудный путь.

11 апреля 1913
Вагон. Долляр — Шамхор

* * *

Веет ветер мне навстречу,
Вещий, вечный чародей.
Он быстрее лошадей
Веет, светлый, мне навстречу.
Что ж ему противоречу
Тусклой жизнью площадей?
Веет ветер мне навстречу,
Вековечный чародей.

2 июня 1913
Тойла — Иеве

* * *

На него еще можно смотреть,
На дорогу не бросило теней.
Поднялось чуть повыше растений
И дает на себя посмотреть,

Как неяркая желтая медь.
В облаках, в кудесах раздвоений,
На него еще можно смотреть,
От себя не отбросивши теней.

3 июня 1913

Орро — Тойла

* * *

Ну что ж, вздымай свою вершину,
Гордись пред нами, камень гор, —
Я твой читаю приговор:
Дожди, омывшие вершину,
Творят на ней песок и глину,
Потом смывают их, как сор.
Так воздвигай свою вершину,
Гордись, невечный камень гор.

5 июня 1913

Орро

* * *

Огонек в лесной избушке
За деревьями мелькнул.
Задымился росный луг.
Огонек поник в тумане.
Огороженная мглою,
За холмом стоит луна.
Огонек в лесной избушке
За туманами потух.

11 июля 1913

Иеве — Тойла Дорога

* * *

Долина пьет полночный холод.
То с каплей меда райских сот,
То с горькой пустотой высот,
Долина пьет полночный холод.
Долга печаль, и скучен голод,
Тоска обыденных красот.
Долина пьет полночный холод
Тоской синеющих высот.

13 июля 1913
Иеве Дорога

* * *

Земли смарагдовые блюда
И неба голубые чаши,
Раскройте обаянья ваши.
Земли смарагдовые блюда,
Творите вновь за чудом чудо,
Являйте мир светлей и краше, —
Земли смарагдовые блюда
И неба голубые чаши.

30 июля 1913
Тойла

* * *

Лежали груды мха на берегу морском,
Обрезки рыжих кос напоминая цветом.
Белели гребни волн, и радостным приветом
Гудел их шумный хор в веселии морском.
Легко рассыпанным береговым песком

Еще мы раз прошли, обрадованы светом,
Вдыхая соль волны в дыхании морском,
Любуясь этих мхов забавно-рыжим цветом.

7 октября 1913
Вагон Вильна — Минск

* * *

Увидеть города и веси,
Полей простор и неба блеск,
Услышать волн могучий плеск,
Заметить, как несходные веси,
Как разны тени в каждом лесе,
Как непохожи конь и меск, —
Какая радость — эти веси,
Весь этот говор, шум и блеск!

7 октября 1913
Вагон Вильна — Минск

* * *

Снег на увядшей траве
Ярко сверкающей тканью
Пел похвалы мирозданью,
Белый на рыжей траве.
Стих за стихом в голове,
Не покоряясь сознанью,
Встали, — на мертвой траве
Ярко живущею тканью.

2 декабря 1913
Вагон Попельня – Бровки

* * *

Дачный домик заколочен,
Тропки снегом поросли,
Все отчетливо вдали.
Жаль, что домик заколочен, —
Лед на тихой речке прочен,
Покататься бы могли,
Да уж домик заколочен,
Тропки снегом поросли.

2 декабря 1913
Вагон Бровки -- Чернорудка

* * *

Ржавый дым мешает видеть
Поле, белое от снега,
Черный лес и серость неба.
Ржавый дым мешает видеть,
Что там, радость или гибель,
Пламя счастья или гнева.
Ржавый дым мешает видеть
Небо, лес и свежесть снега.

2 декабря 1913
Вагон Казатин - Глуховцы

Проносящиеся

* * *

Все зеленее и светлее,
Все ближе счастье и тепло.
К чему же ненависть и зло!

Все зеленее, и светлее,
И откровенней, и нежнее
Через вагонное стекло.
Все зеленее и светлее,
Все ближе счастье и тепло.

10 марта 1913
Вагон Новоукраинка — Помошная

* * *

Все чаще девушки босые
Возносят простодушный смех,
Отвергнув обувь, душный грех.
Все чаще девушки босые
Идут, Альдонсы полевые,
Уроки милые для всех.
Все чаще девушки босые
Возносят простодушный смех.

10 марта 1913
Новоукраинка -- Помошная

* * *

Не увлекайтесь созерцаньем
Луж голубых и белых хат,
Что мимо вас назад скользят.
Не увлекайтесь созерцаньем,
И не любуйтеся мельканьем
Кустов, колодцев и ребят.
Не увлекайтесь созерцаньем
Луж голубых и белых хат.

20 марта 1913
Вагон Бирзула Балта

* * *

Займитесь чтением в вагоне,
Чтоб не дразнил вас внешний блеск,
Чтоб не манили гул и плеск.
Займитесь чтением в вагоне
Иль куйте в дремном перезвоне
За арабеском арабеск.
Займитесь чтением в вагоне,
Чтоб не дразнил вас внешний блеск.

20 марта 1913
Вагон Бирзула – Балта

* * *

Дивлюсь всему тому, что вижу,
Уродство ль это, красота ль.
За далью раскрываю даль,
Дивлюсь всему тому, что вижу,
И землю вкруг себя я движу,
Как движу радость и печаль.
Дивлюсь всему тому, что вижу,
Уродство ль это, красота ль.

21 марта 1913
Полтава Улицы

* * *

Вон там, за этою грядою,
Должно быть, очень мило жить,
Венки свивать и ворожить.
За невысокою грядою,
Над тихо движимой водою,
И очи бы навек смежить.

Вон там, за этою грядою,
Должно быть, очень мило жить.

24 марта 1913
Вагон Тащенак

* * *

Как же огня не любить!
Радостно вьется и страстно.
Было уродливо, стало прекрасно.
Как же огня не любить!
Раз только душу с пыланием слить, —
Жизнь прожита не напрасно.
Как же огня не любить!
Радостно, нежно и страстно!

8 апреля 1913
Вагон Саджевахо — Нигойты

Вечера

* * *

Томилось небо так светло,
Легко, легко, легко темнея.
Звезда зажглась, дрожа и мрея.
Томилось небо так светло,
Звезда мерцала так тепло,
Как над улыбкой вод лилея.
Томилось небо так светло,
Легко, легко, легко темнея.

18 марта 1913
Одесса Вечер на улицах

* * *

Иду по улицам чужим,
Любуясь небом слишком синим,
И к вечереющим пустыням
По этим улицам чужим
Я душу возношу, как дым, —
Но стынет дым, и все мы стынем.
Иду по улицам чужим,
Любуясь небом слишком синим.

18 марта 1913
Одесса Вечер на улицах

* * *

Вот ухожу я от небес,
Как бы спасаясь от погони,
В лавчонку, где спрошу мацони.
Так ухожу я от небес
Под светлый каменный навес,
Скрываясь в рукотворном лоне.
Да, ухожу я от небес,
Как бы спасаясь от погони.

18 марта 1913
Одесса Вечер на улицах

* * *

Вечерний мир тебя не успокоил,
Расчетливо-мятущаяся весь,
Людских истом волнуемая смесь.
Вечерний мир тебя не успокоил,
Он только шумы толп твоих утроил
И раздражил ликующую спесь.

Вечерний мир тебя не успокоил,
Расчетливо-мятущаяся весь.

18 марта 1913
Одесса Вечер на улицах

* * *

Итальянец в красном жилете
Для нас Sole mio пропел.
За окном закат пламенел,
Когда певец в красном жилете
Пел нам в уютном кабинете
И жилетом своим алел.
Ах, как сладко в красном жилете
Певец Sole mio нам пел!

2 июня 1913

* * *

Тихий свет отбросив вверх, на потолок,
Желтыми воронками зажглася люстра.
Разговор запаужен, но льется быстро.
Лишь один мечтатель смотрит в потолок,
Бороды седой вперед поставив клок.
В комнате духами пахнет слишком пестро.
Желтый свет бросает вверх, на потолок,
На цепях раздвинутых повиснув, люстра.

23 октября 1913

* * *

Матово-нагие плечи
У девицы кремных лент
Пахнут, точно пеперменг.

На ее нагие плечи
Сыплет ласковые речи
Удивительный студент.
Девственно-нагие плечи
Оттолкнули плены лент.

23 октября 1913
СПб

* * *

Глядит высокая луна
На легкий бег автомобилей.
Как много пережитых былей
Видала бледная луна,
И все ж по-прежнему ясна,
И торжеству людских усилий
Вновь не завидует луна,
Смеясь на бег автомобилей.

30 декабря 1913
СПб

Личины

* * *

Дрожат круги на потолке.
Писец нотариуса кисел.
Над вечной пляской слов и чисел
Дрожат круги на потолке.
О, если б от него зависел
Удел кататься по реке!
Все та же дрожь на потолке,
И поневоле бедный кисел.

21 марта 1913
Полтава

* * *

Над плесом маленькой реки
Стоит колдунья молодая,
Глядит, кого-то поджидая
На плоском берегу реки.
Глаза горят, как угольки,
И шепчет про себя, гадая,
Над плесом маленькой реки,
Колдунья знойно-молодая.

24 марта 1913
Вагон Большой Утмой — Сокологорное

* * *

Утонул я в горной речке,
Захлебнулся мутною водой,
Захлестнулся жаркою рудой.
Утонул я в горной речке,
Над которою овечки
Резво щиплют вереск молодой.
Утонул я в горной речке,
Захлебнулся мутною водой.

7 апреля 1913
Вагон Дзеруды

* * *

Молодой босой красавец
Песню утреннюю пел.
Солнце встретить он успел.
Молодой босой красавец,

Жизнелюбец, солнцеславец,
Смуглой радостью алел.
Молодой босой красавец
Песню утреннюю пел.

8 апреля 1913
Вагон Рион

* * *

Бесконечный мальчик, босоножка вечный
Запада, востока, севера и юга!
И в краях далеких я встречаю друга
Не в тебе ли, мальчик, босоножка вечный,
Радости сердечной, шалости беспечной,
Неустанных смехов солнечная вьюга?
Бесконечный мальчик, босоножка вечный
Севера, востока, запада и юга!

8 апреля 1913
Вагон Ланчхуты — Джуматы

* * *

Прачка с длинною косою,
Хочешь быть царицей мира
И венчаться в блеске пира?
Прачка с длинною косою,
С бриллиантовой росою
Хороша ль тебе порфира?
Прачка с длинною косою,
Хочешь быть царицей мира?

8 апреля 1913
Вагон Батум

* * *

Провинциалочка восторженная.
Как ты, голубушка, мила!
Ты нежной розой расцвела
В немой глуши, душа восторженная,
И жизнь, такая замороженная,
Тебе несносно тяжела.
Провинциалочка восторженная,
Как ты, голубушка, мила!

11 апреля 1913
Вагон Тифлис — Акстафа

* * *

Плачьте, дочери земли!
Плачьте горю Айседоры,
Отуманьте ваши взоры.
Плачьте, дочери земли, —
Счастья вы не сберегли
Той, кто нежно тешит взоры.
Плачьте горю Айседоры,
Плачьте, дочери земли!

11 апреля 1913
Вагон Елизаветполь — Даль Маметлы

* * *

Вспомни слезы Ниобеи, —
Что изведала она!
Айседоре суждена
Злая доля Ниобеи.
Налетели суховеи,
Жатва жизни сожжена.

Вспомни слезы Ниобеи,
Что изведала она!

12 апреля 1913
Вагон Гудермес — Грозный

* * *

Поэт, привыкший к нищете,
Не расточитель и не скряга,
Он для себя не ищет блага.
Привыкший к горькой нищете,
Он верен сладостной мечте,
Везде чужой, всегда бродяга,
Поэт, привыкший к нищете,
Не расточитель и не скряга.

3 мая 1913
Венден

* * *

Люди вежливы и кротки,
Но у всех рассудок туп,
В голове не мозг, а суп.
Да, и вежливы, и кротки,
Но найдите в околотке
Одного хоть, кто не глуп.
Что же в том, что люди кротки,
Если весь народ здесь туп!

* * *

Спозаранку две служанки
Шли цветочки собирать

И веночки завивать.
На полянку две служанки
Принесли четыре банки
Незабудок накопать.
Спозаранку две служанки
Ходят цветики сбирать.

18 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Я ничего не знаю, какая радость есть.
Я тихо умираю, одна среди людей.
Моя дорога к раю — по остриям гвоздей.
Я ничего не знаю, какая радость есть.
Я только ожидаю, придет ли с неба весть,
Я только созерцаю небесных лебедей.
Я ничего не знаю, какая радость есть.
Я тихо умираю, одна среди людей.

25 июня 1913
Тойла

* * *

Цветными шелками по белому шелку я вышила милый и сложный узор
Карминных, шарлаховых, вишнево-алых, пунцовых, златистых и палевых роз.
Что может быть краше, что слаще волнует, в смарагдовой зелени брошенных роз!
По белому шелку цветными шелками я вышила сложный и милый узор.
Пусть милый, далекий, меня позабывший, хоть раз поглядел бы на этот узор.

О скорби моей и о слезах пролитых ему рассказали б сплетения роз.
Цветными по белому шелку шелками я вышила милый и хитрый узор
Пунцовых, шарлаховых, вишнево-алых, карминных, златистых и кремовых роз.

13 сентября 1913
СПб

* * *

Твоя душа — немножко проститутка.
Ее друзья — убийца и палач,
И сутенер, погромщик и силач,
И сводня старая, и проститутка.
Когда ты плачешь, это — только шутка,
Когда смеешься, смех твой словно плач,
Но ты невинная, как проститутка,
И дивно-роковая, как палач.

11 октября 1913
Вагон Орел — Тула

* * *

Кто же кровь живую льет?
Кто же кровь из тела точит?
Кто в крови лохмотья мочит?
Кто же кровь живую льет?
Кто же кровь из тела пьет
И, упившийся, хохочет?
Кто же кровь живую льет?
Кто же кровь из тела точит?

11 октября 1913
Вагон Тула — Серпухов

Я и ты

* * *

Ни человека, ни зверя
До горизонтной черты, —
Я, и со мною лишь ты.
Ни человека, ни зверя!
Вечно изменчивой веря,
Силой нетленной мечты
Буду губителем зверя
Я до последней черты.

24 марта 1913
Ново-Алексеевка — Сальково

* * *

По неизведанным путям
Ходить не ты ль меня учила?
Не ты ль мечты мои стремила
К еще не пройденным путям?
Ты чародейный фимиам
Богам таящимся курила.
По неизведанным путям
Ходить меня ты научила.

11 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Я верен слову твоему,
И все я тот же, как и прежде.
Я и в непраздничной одежде

Все верен слову твоему.
Гляжу в безрадостную тьму
В неумирающей надежде
И верю слову твоему
И в этот день, как верил прежде.

11 июня 1913
Тойла - Иеве Дорога

* * *

Святых имен твоих не знаю,
Земные ж все названья — ложь,
Но ты пути ко мне найдешь.
Хотя имен твоих не знаю,
Тебя с надеждой призываю,
И верю я, что ты придешь.
Пусть я имен твоих не знаю, —
Не все ль слова на свете — ложь!

11 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Ночь, тишина и покой. Что же со мной? Кто же со мной?
Где ты, далекий мой друг? Изредка бросишь мне бедный цветок
И улыбаясь уйдешь, нежно-застенчив иль нежно-жесток.
В дремной истоме ночной кто же со мной? Что же со мной?
Как мне мой сон разгадать, чудный и трудный, безумно-земной?
Как перебросить мне мост через поток на желанный восток?

Ночь, тишина и покой, вы безответны, но снова со мной,
А предо мной на столе брошенный другом увядший цветок.

27 июня 1913
Тойла

* * *

Ласкою утра светла,
Ты не умедлишь в пустыне,
Ты не уснешь, не остынешь.
Ласкою утра светла,
Ладан росы собрала
Ты несказанной святыне.
Ласкою утра светла,
Ты не умедлишь в пустыне.

13 июля 1913
Иеве — Тойла Дорога

Цветы

* * *

Ландыши, ландыши, бедные цветы!
Благоухаете, связанные мне.
Душу сжигаете в радостном огне.
Ландыши, ландыши, милые цветы!
Благословенные, белые мечты!
Сказано светлое вами в тишине.
Ландыши, ландыши, сладкие цветы!
Благоухаете, связанные мне.

8 апреля 1913
Вагон Сунса – Нотаюба

* * *

Цвети, безумная агава,
Цветеньем празднуй свой конец.
Цветочный пышный твой венец
Вещает смерть тебе, агава.
Твоя любовь тебе отрава,
Твой сахар — жесткий леденец.
Цвети, безумная агава,
Цветеньем празднуй свой конец.

10 апреля 1913
Около Батума Зеленый мыс

* * *

Слова так странно не рифмуют, —
Елена, роза, ландыш, ты.
Обыкновенной красоты
Слова хотят и не рифмуют,
Когда тревожат и волнуют
Слова привета и мечты.
Слова так странно не рифмуют, —
Елена, ландыш, роза, ты.

11 апреля 1913
Вагон

* * *

Приветом роз наполнено купе,
Где мы вдвоем, где розам две купели.
Так радостно, что розы уцелели
И в тесноте дорожного купе.

Так иногда в стремительной толпе
Есть голоса пленительной свирели.
Шептаньем роз упоено купе,
И мы вдвоем, и розам две купели.

11 апреля 1913
Вагон Сангачан — Эйбат

* * *

Обдувайся, одуванчик,
Ты, фиалочка, фиоль,
Боль гони ты, гоноболь,
Развевайся, одуванчик,
Ландыш, дай росе стаканчик,
Мак, рассыпься, обезволь.
Разлетайся, одуванчик,
Ты, фиалочка, фиоль.

2 июня 1913

* * *

Венок из роз и гиацинтов
Мне сплел великодушный маг,
Чтоб светел был мой путь и благ.
В венок из роз и гиацинтов
Цветы болот и лабиринтов
Вплести пытался хитрый враг.
Венок из роз и гиацинтов
Оберегает мудрый маг.

12 июня 1913
Тойла

* * *

Незабудки вдоль канавки
Возле дома лесника.
Загоревшая слегка,
К незабудкам у канавки
Уронила в зелень травки
Пальцы узкая рука, —
К незабудкам вдоль канавки
Перед хатой лесника.

18 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Перванш и сольферино
В одежде и в цветках,
В воде и в облаках.
Перванш и сольферино, —
Вершина и долина,
Все в этих двух тонах.
Перванш и сольферино
В улыбках и в цветках.

15 июля 1913
Тойла

* * *

Как на куртине узкой маки,
Заря пылает. Сад расцвел
Дыханьем сладким матиол.
Прохлады росной жаждут маки,
А за оградой сада злаки

Мечтают о лобзаньях пчел.
Заря пылает. Дремлют маки.
Сад матиолами расцвел.

19 июля 1913
Тойла

Мечта

* * *

Я был в лесу и сеял маки
В ночном саду моей сестры.
Чьи очи вещи и остры?
Кто хочет видеть эти маки,
Путеводительные знаки
В ущелья дремные горы?
Я был в лесу, я сеял маки
В ночном саду моей сестры.

25 мая 1913
СПб

* * *

Пурпуреа на закате расцвела,
Цвет багряный и надменный лишь на час,
В час, как Демон молвит небу ярый сказ.
Пурпуреа на закате расцвела,
Прижимаясь к тонкой пыли у стекла.
Яркий призрак, горний отблеск ты для нас.
Нам ты в радость, пурпуреа, расцвела,
Будь нам в радость, пурпуреа, хоть на час.

27 мая 1913
Тойла

* * *

Лес и в наши дни, как прежде,
Тайны вещие хранит.
Та же песня в глубине
Летом солнечным поется.
Леший кружит и обходит
Там и нынче, как и встарь.
Лес не все, что знает, скажет,
Тайну вещую храня.

11 июля 1913
Иеве — Тойла Дорога

* * *

Та святая красота
Нам являлась по равнинам,
Нам смеялась по долинам.
Та святая красота,
Тайнозвучная мечта,
Нам казала путь к вершинам.
Та святая красота
Нам являлась по равнинам.

13 июля 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Я иду, печаль тая.
Я пою, рассвет вещая.
Ясен в песнях облик мая.
Я иду, печаль тая.

Я устал, но светел я,
Яркий праздник призывая.
Я иду, печаль тая.
Я пою, рассвет вещая.

13 июля 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

О ясных днях мечты блаженно строя
И яркоцветность славя бытия,
И явь приму, мечты в нее лия.
О ясных днях мечтанья нежно строя,
О ясная! мне пой о днях покоя,
И я приду к тебе, венок вия,
О ясных днях мечты блаженно строя
И яркоцветность славя бытия.

13 июля 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Луна взошла, и дол вздохнул
Молитвой рос в шатре тяжелом.
Моя любовь в краю веселом.
Луна взошла, и дол вздохнул.
Лугам приснится грозный гул,
Морям — луна над тихим долом.
Луна взошла, и дол вздохнул
Молитвой рос в шатре тяжелом.

14 июля 1913
Тойла

Земная свобода

* * *

Господь прославит небо, и небо — благость Божью, но чем же ты живешь?
Смотри, леса, и травы, и звери в темном лесе, все знают свой предел,
И кто в широком мире, как ты, как ты, ничтожный, бежит от Божьих стрел?
Господь ликует в небе, все небо — Божья слава, но чем же ты живешь?
Отвергнул ты источник, и к устью не стремишься, и все, что скажешь — ложь.
Ты даже сам с собою в часы ночных раздумий бессилен и несмел.
Все небо — Божья слава, весь мир — свидетель Бога, но чем же ты живешь?
Учись у Божьих птичек, узнай свою свободу, стремленье и предел.

10 июня 1913
Тойла Дорога

* * *

В очарованье здешних мест
Какой же день не встанет ясен?
И разве путь мой не прекрасен
В очарованье здешних мест?
Преображаю все окрест,
И знаю, — подвиг не напрасен.
В очарованье здешних мест
Какой же день не будет ясен!

12 июня 1913
Тойла

* * *

Рождает сердце в песнях и радость и печаль.
Земля, рождай мне больше весельем пьяных роз,
Чтоб чаши их обрызгать росою горьких слез.
Рождает сердце в песнях и радость и печаль.
Я рад тому, что будет, и прошлого мне жаль,
Но встречу песней верной и грозы и мороз.
Рождает сердце в песнях и радость и печаль.
Земля, рождай мне больше весельем пьяных роз!

14 июня 1913
Тойла — Иеве Дорога

* * *

Я возвращаюсь к человеку,
К его надеждам и делам.
Душа не рвется пополам, —
И весь вернусь я к человеку.
Как тот, кто бросил тело в реку
И душу отдает волнам,
Так возвращаюсь к человеку,
К его надеждам и делам.

11 июля 1913
Иеве — Тойла Дорога

* * *

Но не затем к тебе вернуся,
Чтобы хвалить твой тусклый быт.
Я не над щелями корыт
К тебе, согодник мой, вернуся,
И не туда, где клювом гуся

Давно весь сор твой перерыт.
Я лишь затем к тебе вернуся,
Чтобы сжигать твой темный быт.

11 июля 1913
Иеве — Тойла Дорога

* * *

Давно создать умел я перлы,
Сжигая тусклой жизни бред.
В обычности пустынных сред
Без счета рассыпал я перлы,
Смарагды, яхонты и шерлы.
Пора настала, — снова пред
Собой рассыплю лалы, перлы,
Сжигая тусклой жизни бред.

11 июля 1913
Иеве — Тойла Дорога

Нежити

* * *

Неживая, нежилая, полевая, лесовая, нежить горькая и злая,
Ты зачем ко мне пришла, и о чем твои слова?
Липнешь, стынешь, как смола, не жива и не мертва.
Нежилая, вся земная, низовая, луговая, что таишь ты, нежить злая,
Изнывая, не пылая, расточая чары мая, темной ночью жутко лая,

Рассыпаясь, как зола, в гнусных чарах волшебства?
Неживая, нежилая, путевая, пылевая, нежить темная и злая,
Ты зачем ко мне пришла, и о чем твои слова?

10 июня 1913
Тойла

* * *

Две лесные старушки и лесной старичок
Поболтать полюбили с проходящими там,
Где дорога без пыли залегла по лесам.
Две лесные старушки и лесной старичок
На холме у опушки развели огонек
И к костру пригласили легкомысленных дам.
Две лесные старушки и лесной старичок
Щекотать полюбили заблудившихся там.

21 июня 1913
Тойла

* * *

Защекочут до смеха, защекочут до дрожи,
Защекочут до корчи, защекочут до смерти.
Старичку и старушке вы не верьте, не верьте.
Бойтесь нежной щекотки и пленительной дрожи,
Закрестите с молитвой неумытые рожи, —
Это — злые, лесные, подколодные черти.
Защекочут до смеха, защекочут до дрожи,
Защекочут до корчи, защекочут до смерти.

21 июня 1913
Тойла

* * *

В пути, многократно измеренном
И пройденном множество раз,
Есть некий таинственный лаз.
В пути, многократно измеренном,
Пройдешь под задуманным деревом
И видишь таящийся глаз.
В пути, многократно измеренном,
Встречаешь чужое не раз.

5 июля 1913
Тойла

* * *

Гулял под зонтиком прекрасный кавалер,
И черт ему предстал в злато-лиловом зное.
Подставил кресло черт складное, расписное.
На кресло черта сел прекрасный кавалер,
И черт его умчал в кольцо своих пещер,
Где пламя липкое и тление сквозное.
Так с зонтиком погиб прекрасный кавалер,
Гулявший по полям в злато-лиловом зное.

19 июля 1913
Тойла

Поэты

* * *

Стихия Александра Блока —
Мятель, взвивающая снег.
Как жуток зыбкий санный бег

В стихии Александра Блока.
Несемся, — близко иль далеко? —
Во власти цепенящих нег.
Стихия Александра Блока —
Мятель, взвивающая снег.

28 декабря 1913
СПб

* * *

Розы Вячеслава Иванова —
Солнцем лобызаемые уста.
Алая радость святого куста —
Розы Вячеслава Иванова!
В них яркая кровь полдня рдяного,
Как смола благовонная, густа.
Розы Вячеслава Иванова —
Таинственно-отверстые уста.

29 декабря 1913
СПб

* * *

Мерцает запах розы Жакмино,
Который любит Михаил Кузмин.
Огнем углей приветен мой камин.
Благоухает роза Жакмино.
В углах уютных тихо и темно.
На россыпь роз ковра пролит кармин.
Как томен запах розы Жакмино,
Который любит Михаил Кузмин!

28 декабря 1913
СПб

* * *

Зальдивши тайный зной страстей, Валерий,
Ты назвал сам любимый свой цветок.
Он ал и страстен, нежен и жесток.
Во всем тебе подобен он, Валерий.
И каждый день одну из криптомерий
Небрежно ты роняешь на песок.
Сковавши тайный зной страстей, Валерий,
Ты назвал сам любимый свой цветок.

29 декабря 1913
СПб

* * *

Дарованный тебе, Георгий,
Ночной, таинственной тайгой,
Цветок, для прелести другой
Ты не забыл его, Георгий?
Но в холоде эфирных оргий
С тобой сопутник твой благой,
Цветок ночей, тебе, Георгий,
Во мгле взлелянный тайгой.

29 декабря 1913
СПб

Творчество

* * *

Будетлянка другу расписала щеку,
Два луча лиловых и карминный лист,

И сияет счастьем кубофутурист.
Будетлянка другу расписала щеку,
И, морковь на шляпу положивши сбоку,
Повела на улицу послушать свист,
И глядят, дивясь, прохожие на щеку, —
Два луча лиловых и карминный лист.

7 октября 1913
Вагон Жлобин — Гомель

* * *

На щеке прекрасной будетлянки
Ярки два лиловые пятна,
И на лбу зеленая луна,
А в руках прекрасной будетлянки
Три слегка раскрашенных поганки,
Цель бумажной стрелки шалуна.
На щеке прекрасной будетлянки
Рдеют два лиловые пятна.

7 октября 1913
Вагон Жлобин — Гомель

* * *

Позолотила ноготки
Своей подруге Маргарите.
Вы, проходящие, смотрите
На золотые ноготки
И от завистливой тоски
В оцепенении замрите
Иль золотите ноготки,
Как будетлянка Маргарите.

7 октября 1913
Вагон Жлобин — Гомель

* * *

Пусть будет все не так, как было,
Пусть будет все, как я хочу.
Я дам по красному лучу
Всему, что прежде белым было.
Все яркоцветное мне мило,
Себе я веки золочу,
Чтоб было все не так, как было,
Чтоб было все, как я хочу.

7 октября 1913
Вагон Жлобин — Гомель

* * *

Кто увидит искру? Виден только след.
Как ее напишешь? Начерти черту.
Пусть она разрежет лунную мечту,
Пусть горит кроваво, точно рана, след.
В этом зыбком мире острых точек нет.
Я из лент горящих ткань мою плету.
Я не вижу искры, вижу только след,
Огненную в черном, быструю черту.

7 октября 1913
Вагон Жлобин — Гомель

II

Разные стихотворения 1913 года

* * *

Малыш, отцу послушный,
Зеленый шар несет, —
На нитке равнодушной
Порывный газолет.

Шалун, махнувши ручкой,
Пускает красный шар,
Чтоб скрылся он за тучкой,
На тусклом небе яр.

А девочка на синий
Уставила глаза, —
Над пестрою пустыней
Мечта и бирюза.

15 января 1913

* * *

И этот день такой же будничный,
Такой же серый и безрадостный.
Засыпан мелкой пылью уличной
Короткий стебель травки радостной.

И только есть одно различие,
Что я бежал приюта малого
В снега, где бело безразличие
К трудам и радостям усталого.

Короткий срок мне сердце тешило
Небес безоблачных молчание.
Оно парчой снегов завешало
Мою печаль, мое молчание.

Прошли минуты слишком краткие,
Предстали снова будни серые,
Но сердце кроткое обрадую
Привычкой к вам, о будни серые.

17 февраля 1913

* * *

Лиловато-розовый закат
Нежно мглист и чист в окне вагона.
Что за радость нынче мне сулят
        Стенки тонкие вагона?

Унесусь я, близко ль, далеко ль,
От того, что называю домом,
Но к душе опять все та же боль
        Приползет путем знакомым.

В день, когда мне ровно пятьдесят
Лет судьба с насмешкой отсчитала,
На пленительный смотрю закат,
        И все то же в сердце жало.

То, о чем сказать не смею сам,
Потому что слово слишком больно,
Пусть заря расскажет небесам.
Ей не трудно и не больно.

17 февраля 1913

* * *

Не надо скорби, не надо злости.
Живи под солнцем, цвети утрами
В нерукотворном Господнем храме.
Счастливый путник не сломит трости,
Уже надломленной ветрами.

Пусть будет в жизни все переменно,
Все ненадежно, как сон мгновенный, —
Счастливый путник в стране невинной
Поет в дороге пустой и длинной
Беззаботно и вдохновенно.

Белеют ночью в полях туманы,
И к небу всходят, как облак горний,
И улетают в иные страны,
И вновь дымятся росой поляны.
Кто счастливей и кто покорней?

Цветет и вянет цветок умильный
На радость людям, на пользу пчелам.
Медвяны росы в стране обильной.
Счастливый путник, в пути веселом
Цветам и травам ты — свой, ты — сильный.

Росою травной омывши ноги,
Счастливый странник, слагай же песни
Про облак горний, про пыль дороги,
И про лачуги, и про чертоги.
Что слаще песни, и что чудесней?

Любовь, ты скажешь? Любовь земная,
Счастливый путник, тебе услада,
Как за оградой гроздья винограда,
Как в сенях сада плеск водопада,
Как после зноя тень лесная.

Но не печалься, когда покинет,
Когда устанет, когда остынет.
Счастливый путник, твой дом далеча,
Но путь твой верен, — тебя не минет
Твоя награда, святая встреча.

27 июня 1913
Тойла

* * *

Волна морская — веселый шум.
Еще ль мне надо каких-то дум?
Опять ли буду умнее всех?
Ужель забуду, что думать — грех?

27 июня 1913
Тойла

* * *

Иду, цветы сбираю.
Зачем же их гублю?

Цветущими играю.
Которых так люблю.

Сорвал немного веток
И бросил в поле. Нет,
Губить цветущих деток
Не должен ты, поэт.

Цветите в ясном поле,
Невинные цветы,
В моей и в Божьей воле
Возникшие мечты.

27 июня 1913
Тойла

* * *

Жизни, которой не надо,
Но которая так хороша,
Детски-доверчиво рада
Каждая в мире душа.

Чем же оправдана радость?
Что же нам мудрость дает?
Где непорочная сладость,
Достойная горних высот?

Смотрим в горящие бездны,
Что-то хотим разгадать,
Но усилья ума бесполезны, —
Нам ничего не узнать.

Съевший в науках собаку
Нам говорит свысока,

Что философии всякой
Ценнее слепая кишка,

Что благоденствие наше
И ума плодотворный полет
Только одна простокваша
Нам несомненно дает.

Разве же можно поверить
В эту слепую кишку?
Разве же можно измерить
Кишкою всю нашу тоску?

20--21 июля 1913
Тойла

* * *

Мудрец мучительный Шакеспеар,
Ни одному не верил ты обману.
Макбету, Гамлету и Калибану
Во мне зажег ты яростный пожар,

И я живу, как встарь король Леар.
Лукавых дочерей моих, Регану
И Гонерилью, наделять я стану,
Корделии отвергнув верный дар.

В мое, труду послушливое тело,
Толпу твоих героев я вовлек,
И обманусь, доверчивый Отелло,
И побледнею, мстительный Шейлок,

И буду ждать последнего удара,
Склонясь над вымыслом Шакеспеара.

24 июля 1913
Тойла

* * *

По дорожке солнечного сада
Вкруг лужайки медленно иду.
Вянут маки. Желтая досада
Угнездилась в солнечном саду,

И пчела жужжать уже не рада,
И уж горечь есть в ее меду,
И дрожат незримо капли яда,
Растворясь в лазоревом бреду.

Сердце ноет. Ах, счастливый жребий
Мне игра полночная дала!
И от зависти в безумном небе
Стала Венус мраморно-бела,

И, пролив таинственные слезы,
Сходит долу исполнять угрозы.

31 июля 1913
Тойла

* * *

Беден дом мой пасмурный
Нажитым добром,

Не блестит алмазами,
Не звенит сребром,
Но зато в нем сладостно
Плакать о былом.

За мое убожество
Милый дар мне дан
Облекать все горести
В радужный туман
И целить напевами
Боль душевных ран.

Жизнь влача печальную,
Вовсе не тужу.
У окошка вечером
Тихо посижу,
Проходящим девушкам
Сказку расскажу.

Под окном поставил я
Длинную скамью.
Там присядут странницы, —
Песню им спою,
Золото звенящее
В души их пролью.

Только чаще серая
Провлечется пыль,
И в окно раскрытое
На резной костыль
Тихо осыпается, —
Изжитая быль.

4 сентября 1913
Тойча

* * *

Березка над морем
На высокой скале
Улыбается зорям,
Потонувшим во мгле.

Широко, широко
Тишина, тишина.
Под скалою глубоко
Закипает волна.

О волны! о зори!
Тихо тающий сон
В вашем вечном просторе
Над скалой вознесен.

Сентябрь 1913
Тойла

АЛЕКСАНДРУ ТАМАМШЕВУ

Путь над морем вдруг обманет.
Он сползет немного вниз,
И на выступ скал он станет, —
Зеленеющий карниз.

Только с краю, точно срезан,
Ряд уже непрочных плит
С диким скрежетом железа
На морской песок слетит.

Ты замрешь в неловком жесте,
Но за их паденьем вслед

Полетит с тобою вместе
Прыткий твой велосипед.

5 сентября 1913
Тойла

* * *

Только забелели поутру окошки,
Мне метнулись в очи пакостные хари.
На конце тесемки профиль дикой кошки,
Тупоносой, хищной и щекатой твари.

Хвост, копытца, рожки мреют на комоде.
Смутен зыбкий очерк молодого черта.
Нарядился бедный по последней моде,
И цветок алеет в сюртуке у борта.

Выхожу из спальни, — три коробки спичек
Прямо в нос мне тычет генерал сердитый,
И за ним мордашки розовых певичек.
Скоком вверх помчался генерал со свитой.

В сад иду поспешно, — машет мне дубинкой
За колючей елкой старичок лохматый.
Карлик, строя рожи, пробежал тропинкой,
Рыжий, красноносый, весь пропахший мятой.

Все, чего не надо, что с дремучей ночи
Мне метнулось в очи, я гоню аминем.
Завизжали твари хором, что есть мочи:
«Так и быть, до ночи мы тебя покинем!»

6 сентября 1913
Тойла

* * *

Две проститутки и два поэта,
Екатерина и Генриета,
Иван Петрович Неразумовский
И Петр Степаныч Полутаковский,

Две проститутки и два поэта
Сошлись однажды, — не странно ль это? —
У богомолки княжны Хохловой
В ее уютной квартире новой.

Две проститутки и два поэта
Мечтали выпить бокал Моэта,
Но богомолка их поит чаем,
И ведь не скажут: «Ах, мы скучаем!»

Две проститутки и два поэта,
Как вам противна диета эта!
Но что же делать? Княжна вам рада,
В ее гостиной скучать вам надо.

Две проститутки и два поэта,
Чего вы ждете? Зачем вам это?
Зачем в гостиной у доброй княжны
Вы так приличны и тошно-важны?

Две проститутки и два поэта,
И тот и этот, и та и эта,
Вновь согрешите в стихах, и в прозе,
И в ресторане, и на морозе.

15 сентября 1913
СПб

* * *

По силе поприще едино
Пройди со мной
В пути, где яркая кручина
И темный зной.

Хотя одно пройди со мною,
А сможешь, два.
Юдолью бедственной земною
Иду едва.

А может быть, с тобой прошли бы
До склона дней
Мы вместе жесткие изгибы
Моих путей.

Навстречу пламенному Змею
Рука с рукой?
Но разве я просить посмею
Любви такой!

Не я ли выбрал эту долю
И этот страх?
Не я ли девственную волю
Повергнул в прах?

Пройди ж со мною хоть немного,
Хоть малый круг,
И это я, как милость Бога,
Приму, мой друг.

15 сентября 1913
СПб

* * *

Еврей боится попасть в шеол, как христианин в ад.
Сказать по правде, а я порой шеолу был бы рад.
В докучной смуте, во тьме ночной, в мельканье наших дней
Напиток мерзкий и лжи и зла, хоть и не хочешь, пей.
И разве горше или темней в безумных муках дна,
Чем в этих жутких, немых навек силках земного сна?

16 сентября 1913
СПб

* * *

Ты живешь безумно и погано,
Улица, доступная для всех, —
Грохот пыльный, хохот хулигана,
Пьяной проститутки ржавый смех.

Копошатся мерзкие подруги, —
Злоба, грязь, порочность, нищета.
Как возникнуть может в этом круге
Вдохновенно-светлая мечта?

Но возникнет! Вечно возникает!
Жизнь народа творчеством полна,
И над мутной пеной воздвигает
Красоту всемирную волна.

18 сентября 1913
СПб

* * *

Призрак моей гувернантки
Часто является мне.

Гнусные звуки шарманки
Слышу тогда в тишине.

Все уже в доме заснули,
Ночь под луною светла;
Я не пойму, наяву ли
Или во сне ты пришла.

Манишь ты бледной рукою
В сумрак подлунный, туда,
Где над холодной водою
Тусклая тина пруда.

Разве же я захотела,
Чтоб разлюбил он тебя?
В буйном неистовстве тела
Что же мы знаем, любя?

Помню, — захожий шарманщик
Ручку шарманки вертел.
Помню, — в беседке обманщик
Милый со мною сидел.

Мимо прошла ты, взглянула
С бледной улыбкою губ...
Помню смятение гула,
Помню твой жалостный труп.

Что же земные все реки?
Из-за предельной черты
В нашем союзе навеки
Третья останешься ты.

18 сентября 1913

* * *

Любви томительную сладость неутолимо я люблю.
Благоухающую прелесть слов поцелуйных я люблю.

Лилею соловей прославит, — в прохладе влажной льется трель.
А я прославлю тех, кто любит, кто любит так, как я люблю.

Об утолении печалей взыграла легкая свирель.
Легко, легко тому, кто любит, кто любит так, как я люблю.

Плясуньи на лугу зеленом, сплетаясь, пляски завели.
Гирлянды тел, влекомых пляской к лесным прогалинам, люблю.

Улыбки, ласки и лобзанья в лесу и в поле расцвели.
Земля светла любовью, — землю в веселье милом я люблю.

20 сентября 1913
СПб

* * *

Продукты сельского хозяйства
Не хуже поместятся в стих,
Чем описанья негодяйства
Нарядных денди и франтих.

Морковки, редьки и селедки
Годны не только для еды.
Нам стих опишет свойства водки,
Вина и сельтерской воды.

Дерзайте ж, юные поэты,
И вместо древних роз и грез

Вы опишите нам секреты
Всех ваших пакостных желез.

22 сентября 1913

* * *

Не снова ли слышны земле
Вещания вечно святые?
Три девушки жили в селе,
        Сестрицы родные.

И в холод, и в дождик, и в зной
Прилежно работали вместе
С другими над нивой родной, —
        Но вот, заневестясь,

Оставили дом свой и мать,
Босые пошли по дорогам,
Отправились Бога искать
        В смирении строгом.

Пришли в монастырь на горе
В веселии тенистой рощи.
Там рака в чеканном сребре,
В ней скрыты нетленные мощи.

Умильные свечи горят,
И долгие служат молебны,
Но девушки грустно стоят, —
Ведь им чудеса не потребны.

Обычность для них хороша,
Весь мир непорочен для взора,
Еще не возносит душа
За скорбь и за слезы укора,

Покров безмятежных небес
Хранит их от вражеской встречи,
Зачем же им чары чудес,
        И ладан, и свечи!

Покинули светлый чертог,
Воскресшего Бога мы ищем.
В тоске бесконечных дорог
Откройся же странницам нищим!

И долго скитались оне
В томленьях тоски вавилонской.
Не в сени церковной, а вне
Им встретился старец афонский.

Он был неученый простец,
Не слышал про Канта и Нитче,
Но правда для верных сердец
Открылася в старческой притче.

И мир для исканий не пуст,
И вот наконец перед ними
В дыхании старческих уст
Звучит живоносное имя,

Которым в начале веков,
В надмирном ликующем дыме
Воздвиглись круженья миров, —
        Святейшее имя!

Святейшее имя, в веках
Омытое жертвенной кровью,
Всегда побеждавшее страх
        И злобу любовью.

И снова пред ними миры
Воздвигнуты творческим словом
В блаженном восторге игры,
В веселии новом.

И радостны сестры, — в пути
Нашли воплощенного Бога.
Домой бы идти, —
Но нет, бесконечна дорога.

Просторам воскресшей земли
Вещают святые надежды.
Склоняйтесь пред ними в пыли!
Лобзайте края их одежды!

23 сентября 1913
СПб

* * *

«Конь Аполлона!
Я недостойна
Твоих копыт.
Ведь не такую
Скует подкову
Тебе Гефест». —

«Молчи, подкова!
Тебя я выбрал,
Тебя хочу.
Я Аполлона
Стремлю с Олимпа
К земным путям».

25 сентября 1913
СПб

* * *

Бай, люби ребенка, баюшки-баю!
Беленькую рыбку, баюшки-баю,

Зыбко убаюкай моего бебе
В белой колыбели, баюшки-баю.

Будешь, будешь добрый, улыбнусь тебе.
Позабудь про буку, баюшки-баю.

Бьется в колыбельку басня о судьбе.
Зыбок твой кораблик, баюшки-баю.

Бури ты не бойся, белый мой бебе,
Бури разбегутся, баюшки-баю.

26 сентября 1913
СПб

ЖУТКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Не болтай о том, что знаешь,
Темных тайн не выдавай.
Если в ссоре угрожаешь,
Я пошлю тебя бай-бай.
Милый мальчик, успокою
            Болтовню твою,
И уста тебе закрою.
            Баюшки-баю.

Чем и как живет воровка,
Знает мальчик, — ну так что ж!
У воровки есть веревка,

У друзей воровки — нож.
Мы, воровки, не тиранки:
Крови не пролью.
В тряпки вымакаю ранки.
Баюшки-баю.

Между мальчиками ссора
Жуткой кончится игрой.
Покричи, дитя, и скоро
Глазки зоркие закрой.
Если хочешь быть нескромным,
Ангелам в раю
Расскажи о тайнах темных.
Баюшки-баю.

Освещу ковер я свечкой.
Посмотри, как он хорош.
В нем завернутый, за печкой,
Милый мальчик, ты уснешь.
Ты во сне сыграешь в прятки,
Я ж тебе спою,
Все твои собрав тетрадки:
«Баюшки-баю!»

Нет игры без перепуга.
Чтоб мне ночью не дрожать,
Ляжет добрая подруга
Здесь у печки на кровать,
Невзначай ногою тронет
Колыбель твою, —
Милый мальчик не застонет.
Баюшки-баю.

Из окошка галерейки
Виден зев пещеры той,

Над которою еврейки
Скоро все поднимут вой.
Что нам, мальчик, до евреек!
  Я тебе спою
Слаще певчих канареек:
  «Баюшки-баю!»

Убаюкан тихой песней,
Крепко, мальчик, ты заснешь.
Сказка старая воскреснет,
Вновь на правду встанет ложь,
И поверят люди сказке,
  Примут ложь мою.
Спи же, спи, закрывши глазки,
  Баюшки-баю.

12 октября 1913
Вагон СПб – Москва

* * *

Восстановители из рая
В земной ниспосланы предел:
Холодный снег, вода живая
И радость обнаженных тел.

Когда босые алы ноги
И хрупкий попирают снег,
На небе голубеют боги
И в сердце закипает смех.

Когда в пленительную воду
Войдешь, свободный от одежд,

Вещают милую свободу
Струи, прозрачнее надежд.

А тело, радостное тело,
Когда оно обнажено,
Когда веселым вихрем смело
В игру стихии увлечено,

Какая бодрость в нем и нега!
Какая чуткость к зовам дня!
Живое сочетанье снега
И вечно-зыбкого огня!

12 ноября 1913
СПб

* * *

Хорошо, когда так снежно.
Все идешь себе, идешь.
Напевает кто-то нежно,
Только слов не разберешь.

Даже это не напевы.
Что же? Ветки ль шелестят?
Или призрачные девы
В хрупком воздухе летят?

Ко всему душа привычна,
Тихо радует зима.
А кругом все так обычно,
И заборы, и дома.

Сонный город дышит ровно,
А природа вечно та ж.

Небеса глядят любовно
На подвал, на бельэтаж.

Кто высок, тому не надо
Различать, что в людях ложь.
На земле ему отрада
Уж и та, что вот, живешь.

10 декабря 1913

Чернигов

* * *

Приходи, мой мальчик гадкий,
К самой кроткой из подруг.
Я смущу тебя загадкой,
Уведу на светлый луг.

Там узнаешь ты, как больно
Жить рабыням бытия,
Кто мечтает своевольно
И безумно, так, как я.

Расскажу я, что любила
Я другого, не тебя,
Что другому изменила,
Все ж тебя не полюбя.

Новый милый мой способен
Оттолкнуть меня ногой.
Мы с другой прекрасны обе,
Но мечты его — другой.

И твоей любви мне надо,
Чтоб любимому отмстить,

Чтобы горькая досада
Стала грудь его томить.

Ну не плачь, мой мальчик. Делай
Все со мной, что хочешь ты,
Разорви одежды смело,
Брось нагую на цветы.

11 декабря 1913
Вагон Жлобин — Орша

* * *

Люблю я все соблазны тела
И все очарованья чувств,
Все грани дольнего предела
И все создания искусств.

Когда-нибудь в немом эфире
Моя охолодеет кровь,
Но Ты, Господь, живущий в мире,
Благослови мою любовь.

Прости грехи моей печали
И муку страстную мою
За то, что на Твои скрижали
Порою слезы я пролью.

И ныне, в этой зале шумной,
Во власти смеха и вина,
К Тебе, Отец, в мольбе бездумной
Моя душа обращена.

Ночь на 1 января 1914

ВОЙНА

ГИМН

Да здравствует Россия,
Великая страна!
Да здравствует Россия!
Да славится она!

Племен освободитель,
Державный русский меч,
Сверкай, могучий мститель,
В пожаре грозных сеч.

Да здравствует Россия,
Великая страна!
Да славится Россия!
Да процветет она!

Не в силе Бог, не в силе,
А только в правде Он.
Мы правдой освятили
Свободу и закон.

Да славится Россия,
Великая страна!
Да здравствует Россия!
Да славится она!

НА НАЧИНАЮЩЕГО БОГ

На начинающего Бог!
Вещанью мудрому поверьте.
Кто шлет соседям злые смерти,
Тот сам до срока изнемог.

На начинающего Бог!
Его твердыни станут пылью,
И обречет Господь бессилью
Его, зачинщика тревог.

На начинающего Бог!
Его кулак в броне железной,
Но разобьется он над бездной
О наш незыблемый чертог.

РОССИЯ — ЛЮБОВЬ

Небо наше так широко,
Небо наше так высоко, —
О Россия, о любовь!
Побеждая, не ликуешь,
Умирая, не тоскуешь.
О Россия, о любовь,
Божью волю славословь!

Позабудь, что мы страдали.
Умирают все печали.
Ты печалей не кляни.
Не дождешься повторений
Для минувших обольщений.

Ты печалей не кляни,
Полюби все Божьи дни.

МАРШ

Барабаны, не бейте слишком громко, —
Громки будут отважные дела.
О них отдаленные вспомнят потомки
В те дни, когда жизнь засияет светла.

Вспомнят угрозы нового Атиллы
И дикую злобу прусских юнкеров,
Вспомнят, как Россия дружно отразила
Движущийся лес стальных штыков.

Вспомнят, как после славной победы
Нация стала союзом племен
И бодро позабыла минувшие беды,
Как приснившийся ночью тяжелый сон.

ЕДИНЕНИЕ ПЛЕМЕН

Перед подвигом великим
Единеньем многоликим
Под святые знамена
Призывай, страна родная,
Все, от края и до края,
Без различий племена.

Загремят на славу бои,
И возникнут вновь герои,

И судьба дракона — пасть.
Доблесть — смелым оборона.
Поражайте же дракона
Прямо в пламенную пасть.

Крепки мужеством великим,
В злой борьбе с драконом диким,
В яром вое смертных сеч,
Отражайте, поражайте.
Побеждайте, — увенчайте
Новой славой русский меч.

СВЕТЛЫЙ ПИР

Пора скликать народы
На светлый пир любви!
Орлов военной непогоды
Зови,

В торжестве святого своеволья
Развернуть пылающие крылья
Над зеркальностью застойных вод,
Унестись из мутной мглы бессилья
В озаренные раздолья,
Где уже багрян восход.

НЕВЕСТЕ ВОИН

Не десять солнц восходит здесь над нами,
А лишь одно,

И лишь одну прожить под небесами
Нам жизнь дано.

Но если враг наполнил содроганьем
Мой край родной,
Не надо жизни с милым расцветаньем
Мне и одной.

И как ни плачь, свой взор в часы разлуки
К земле клоня,
Но не удержат ласковые руки
Твои меня.

Когда к тебе вернусь, меня героем
Ты не зови:
Исполнил я, стремясь к жестоким боям,
Завет любви.

А если я паду за синей далью
В чужом краю,
Ты говори, горда своей печалью:
«Сражен в бою».

ЗАПАСНОМУ ЖЕНА

Милый друг мой, сокол ясный,
Едешь ты на бой опасный, —
Помни, помни о жене.
Будь любви моей достоин.
Как отважный, смелый воин,

Бейся крепко на войне.
Если ж только из-под пушек
Станешь ты гонять лягушек,
Так такой не нужен мне!

Что уж нам Господь ни судит,
Мне и то утехой будет,
Что жила за молодцом.
В плен врагам не отдавайся.
Умирай иль возвращайся
С гордо поднятым лицом,
Чтоб не стыдно было детям
В час, когда тебя мы встретим,
Называть тебя отцом.

Знаю, будет много горя.
Бабьих слез прольется море.
Но о нас ты не жалей.
Бабы русские не слабы, —
Без мужей подымут бабы
Кое-как своих детей.
Обойдемся понемногу, —
Люди добрые помогут.
Много добрых есть людей.

ОБСТРЕЛЯН

Душа была тревогами томима
До первого решительного дня,
До первой пули, пролетевшей мимо,
Пронзившей воздух где-то близ меня.

Как будто в сердце мне она вонзилась,
Лишь для меня свершая свой полет,
И странно все во мне переменилось,
И знаю я, что я уже не тот.

И строй природы дивно перестроен,
И стал иным весь образ бытия,
И где же мирный я? Я — только воин.
Всегда передо мною смерть моя.

Ползет ко мне за каждою горою
И стережет меня за каждым пнем,
И каждый раз я утренней зарею
Встречаюся как бы с последним днем.

Все то, что было прежде непонятно,
Здесь понял я, склонившийся к ружью,
И потому, сраженный многократно,
Теперь врага бестрепетно убью.

И никогда тоскующая совесть
Не будет мне когтями сердце рвать,
Хотя бы дел моих отважных повесть
Мне правнукам пришлося рассказать.

НА ПОДВИГ

Какой я был бессильный!
Никому я не мог помочь.
На меня тоской могильной
Веяла лютая ночь.

Я вышел в ратное поле,
Сражаюсь за святую Русь.
Вся жизнь моя в Божьей воле,
И я ничего не страшусь.

В ратном поле не боится
Тело мое трудных дней,
И у сердца не гнездится,
Не томит его тихий змей.

Что мне Господь ни судит,
Умру ли, домой ли вернусь,
Сердце мое биться будет
Любовью к тебе, моя Русь.

ВИЛЬГЕЛЬМ ВТОРОЙ

Он долго угрожал, безумно смел,
Бренча мечом, он вызвал бурю мщенья.
Вокруг своей страны сковать сумел
Вильгельм кольцо холодного презренья.

На землю падает кровавый дождь,
И многих рек от крови темны воды.
Жестокость и разбой! Безумный вождь!
На что же он ведет свои народы?

В неправедно им начатой войне
Ему мечтается какая слава?
Что обещает он своей стране?
Какая цель? Париж или Варшава?

Для прусских юнкеров земля славян,
И для германских фабрикантов рынки?
Нет, близок час, — и он, от крови пьян,
Своей империи свершит поминки.

ДУХ БЕРЛИНА

Ты ли, пасмурный Берлин,
Хочешь, злобствуя неутомимо,
Притязать на блеск Афин
И на славу царственного Рима?

О мещанская страна!
Все, что совершается тобою, —
Труд, наука, мир, война,
Уж давно осуждено судьбою.

Принужденность долгих дней,
Плен души и скучные обряды,
Равнодушный блеск огней
На задвижках и замках ограды, —

Божий гнев отяготел
На твоих неправедных границах.
Сила — только сила тел.
Правда — лишь в украшенных гробницах.

То, что было блеск ума,
Облеклося тусклою рутиной,
И Германия сама
Стала колоссальною машиной.

ФРИДРИХШТРАССЕ

Здесь не надо мечтать, ни к чему размышлять
О тихом часе.
Ни одна из богинь не сойдет погулять
На Фридрихштрассе.

И на что бы могла простереть свою власть
Мечта в Берлине?
Нет, я даже готов и природу проклясть,
Идя in's Grüne*.

ПОБЕЖДАЙТЕ

Побеждайте Сатану!
Сатана безумства хочет,
И порочит он войну,
И бессилие пророчит.

Правда, радость и любовь
Не погибнут в лютом бое.
Мы даем войне иное,
Проливая нашу кровь.

Что Господь нам заповедал?
В ад сходил и Сам Господь
И земле и казни предал
Он божественную плоть.

Кровь, и подвиг, и страданье,
И дерзанье до конца,
И тернового венца
...... лобзанье.

* На природу *(нем.)*

БЕЛЬГИЕЦ

Я — мирный гражданин страны родной,
Торгую в Конго я слоновой костью,
Но дерзостно нарушен мой покой
Тевтонскою воинственною злостью.

Кирпичный дом, построенный отцом,
Угрозами мрачат аэропланы,
А на дорогах пыль стоит столбом,
И нагло мчатся прусские уланы.

Заклятье смерти снова разлито
На веси и поля родного края,
Но в чем же виноват я? сделал что?
И в чем повинна сторона родная?

Я не хочу войны, но воевать
С презрителем границ я крепко буду,
Хотя б его тьмочисленная рать
Несла смятение и смерть повсюду.

Бестрепетно я встречу дни тревог,
Воинственных отцов я вспомню песни.
Благослови мой труд, великий Бог!
Ты, доблесть прадедов моих, воскресни!

УТЕШЕНИЕ БЕЛЬГИИ

Есть в наивных предвещаньях правда мудрая порой.
То, чему поверит сердце, совершит народ-герой.

Вот Сивилла развернула книгу темную судеб,
И прочла одну страницу в книге той гадалка Тэб.

Прежде, чем весна откроет ложе влажное долин,
Будет нашими войсками взят заносчивый Берлин,

И, награбленной добычей поживиться не успев,
Злой народ, который грабит, испытает Божий гнев.

О герой, народ бельгийский! испытаний час настал.
Вся земля взята врагами, и Антверпен крепкий пал,

И спешат к союзным ратям утомленные полки.
Кто измерит, сколько в душах славных рыцарей тоски!

А в Берлине ликованье, песни, смех, колокола,
И толпа опять победой и пьяна, и весела.

Но я знаю, не трепещет дух Альберта короля.
Он свободными увидит скоро милые поля.

Уж плетет ему победа вечный лавровый венец.
Он торжественно вернется в свой разграбленный дворец

На полях, омытых кровью, розы мира расцветут,
И к его державе светлой Кельн и Ахен отойдут.

Только правда — путь к победе, только верность — верный щит.
Так наивность предвещаний, так и мудрость говорит.

СТАНСЫ ПОЛЬШЕ

Ты никогда не умирала, —
Всегда пленительно жива,
Ты и в неволе сохраняла
Твои...... права.

Тебя напрасно хоронили, —
Себя сама ты сберегла,
Противоставив грозной силе
Надежды, песни и дела.

Твоих поэтов, мать родная,
Всегда умела ты беречь,
Восторгом сердца отвечая
На их пророческую речь.

Не заслужили укоризны
Твои сыны перед тобой, —
Их каждый труд был для отчизны,
Над Вислой, как и над Невой.

И ныне, в год великой битвы,
Не шлю проклятие войне.
С твоими и мои молитвы
Соединить отрадно мне.

Не дли ее страданий дольше, —
Молю небесного Отца, —
Перемени великой Польше
На лавры терния венца.

БРАТЬЯМ

На милый край, где жизнь цвела,
До Вислы на равнины наши,
Тевтонов ярость разлила
Огонь и смерть из полной чаши.

Как в день Последнего Суда,
Сверкал огонь, гремели громы,

Пылали наши города,
И разрушались наши домы.

Когда ожесточенный бой
К иным пределам устремлялся,
На наших улицах разбой
Тевтонской рати начинался.

Презревши страх детей и дев,
На слезы отвечая смехом,
В бесстыдство перешедший гнев
К безумным тяготел потехам.

И кровь струилася, и вновь
Вставал угарный дым пожара,
И пеплом покрывала кровь
Родных и милых злая кара.

Из милых мест нас гонит страх,
Но говорим мы нашим детям:
«Не бойтесь: в русских городах
Мы все друзей и братьев встретим».

ОЛЕГОВ ЩИТ

Олег повесил щит на медные ворота
Столицы цезарей ромейских, и с тех пор
Олегова щита нам светит позолота
И манит нас к себе на дремлющий Босфор.

Века бегут на нас грозящими волнами,
Чтобы отбросить нас на север наш немой

И скрыть от наших глаз седыми облаками
Олегов светлый щит, блистающий звездой.

Но не сдержать в горах движенья снежной лавы,
Когда, подтаяв, вдруг она летит на дол, —
И Русь влечет на щит не звонкий голос славы,
Но ложно-медленной судьбины произвол.

ИМЕНИ ТВОЕМУ

Еще сражаться надо много
И многим храбрым умирать,
Но все ж у нашего порога
Чужая разобьется рать.

В победу мы смиренно верим
Не потому, что мы сильней.
Мы нашей верою измерим
Святую правду наших дней.

Когда над золотою рожью
Багряные текли ручьи,
Не опозорили мы ложью
Дела высокие свои.

Да, не одною сталью бранной
Народ наш защититься мог:
Он — молот, Господом избранный!
Не в силе, только в правде Бог.

Разрушит молот козни злые,
Но слава Господу, не нам, —

Он дал могущество России,
Он даст свободу племенам.

БОЙ-СКОУТУ

Двух отважных расстреляли
Беспощадные враги.
Голоса их замолчали,
Отзвучали их шаги.

И на мир уже не взглянет
Смелый взор, но память их
Сохранять историк станет
И поэта верный стих.

Так не бойся вражьей мести,
Милой жизни не жалей
Для победы и для чести
Славной родины твоей.

Чтобы ты, не зная страха,
Светлой жизни не берег,
Вот зачем тебя из праха
В наши дни восставил Бог

И послал на поле брани,
Чтоб и наш увидел век,
До какой высокой грани
Может прянуть человек.

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Поднимаются туманы
Над болотом и рекой,

И деревья великаны
Зачарованы тоской.

Я один иду дорогой.
Притворяться надо мне:
Я — мальчишка босоногий,
В здешней вырос я стране.

Там, где вражья рать засела,
Обойду я город весь.
Повторять я буду смело:
«Старый дед остался здесь».

Лунный свет струится ложный.
Все, что встречу, словно бред.
Вижу я в пыли дорожной
Чей-то странный, зыбкий след.

Пронизал мне холод кости, —
Мертвый воин под кустом.
Не на дедовском погосте
Он нашел свой вечный дом.

Страшно мне, что я случайно
Наступил на мертвый след.
Сердце мне пророчит тайно
Завтра много зол и бед.

Но удастся ли мне, нет ли,
Я назад не побегу.
Не боюсь я вражьей петли,
Кончу дело, как смогу.

НОЧНОЙ ПРИКАЗ

Шаг за шагом, осторожно
Я в полях чужих иду, —
Все тревожно, все возможно,
Все в тумане и в бреду.

Росы холодны и белы,
Дремны росные кусты.
Все забылися пределы
Пустоты и суеты.

Нет в душе иной заботы,
Как, найдя укрытый лаз,
Принести в другие роты
Мне доверенный приказ.

ЧАСОВОЙ

Я один на перекрестке.
Ночь безмолвна и грустна.
Подо мною камни жестки,
Надо мной луна бледна.

Там, за лесом, враг таится.
Зарядил и я ружье.
Близкой смерти не боится
Сердце смелое мое.

Резко крикнул ворон черный,
Предвещающий беду.
Я, спокойный и покорный,
Чутко слушаю и жду.

Слышу легкий, дальний шорох.
Враг таится, знаю я.
Вот в кустах он. Вспыхни, порох,
В дуле меткого ружья.

ВРАЖИЙ СТРАЖ

Он стережет враждебный стан.
Бесстрашный воин он и верный.
В полях колышется туман.
Часы скользят чредою мерной.
Разведать путь приказ мне дан.
Крадусь во мгле болотной и пещерной,
Где запах злой, тяжелый, серный.
Ползу, как змей угарных стран.

Вот близок он. Стоит. Заслышал шорох.
Я весь прилег к земле, в траву я вник.
Я вижу блеск луны на вражьих взорах,
Усы колючие и серый воротник.
Вот успокоился. Идет. Сейчас он ляжет.
Но что пред смертью он мне скажет?

ОСЕННЯЯ МОГИЛА

Осень холод привела.
Листья на землю опали,
Мгла в долинах залегла,
И в лесу нагие дали.

Долго бились и ушли.
Там, где брошена лопата,

Под бугром сырой земли
Труп бельгийского солдата.

Безвременник луговой
Распускает цвет лиловый,
Стебель ломкий и нагой
Над могилою суровой.

Где-то плачет, плачет мать
И жена в тоске унылой.
Но придут они сломать
Цвет, возникший над могилой.

ЛИХОРАДКА ОКОПОВ

Томителен жар лихорадки.
В окопах по горло вода.
Под пологом серой палатки
Приляжешь — иная беда.

Предстанет вечерняя нежить
И станет обманчиво жить,
То сладкою негою нежить,
То горькой истомой томить.

Нет, лучше скорее в штыки бы,
Прогнать бы подальше врагов,
Проникнуть туда б, за изгибы
Врага укрывающих рвов.

ДОЖДЬ И СОН

Мы могучи и упрямы,
Враг упорен и могуч.
Как и он, копаем ямы
Под дождем из серых туч.

Так томительно сиденье
Здесь в окопах под горой!
Друг мой сладкий, сновиденье,
Посети меня порой,

Унеси от злобы бранной,
От полей, где льется кровь,
В край весны благоуханной,
Где увенчана любовь!

БРЕД В ОКОПАХ

Огоньки за огоньками
Золотыми мотыльками
Задрожали в мутной мгле.
Точно с неба угольками
Кто-то сеет...
Ты ошибся. Где ты видишь
Огоньки и угольки?
Это враг твой чары деет,
Враг твой ходит по земле
В несказанном, смутном виде,

Шорох ног его ты слышишь
На бессильных травах,
Шум протянутой руки.
Дольный воздух весь в отравах, —
Ты отравой вражьей дышишь.

В ОГНЕ

Лежу я в холодном окопе.
        В какую-то цель
        Враг дальний торопит
                Шрапнель.

Сражаюсь упорно и смело,
        Врага не боюсь, —
        За правое дело,
                За Русь!

Внезапным пыланием света
        Пронизана твердь.
        Я знаю, что это —
                Ты, смерть.

Подобно грозящей комете,
        Ты мчишься ко мне
        В немеркнущем свете,
                В огне.

Мой подвиг окончивши яркий,
        Приму наконец
        Сверкающий, жаркий
                Венец.

ПЫЛАЮЩИЙ КОНЬ

Там за рекою
Грозный огонь.
Близко с грозой боевою
Мчится пылающий конь.

В красной лампаде
Красный огонь.
Что же молить о пощаде!
Близок пылающий конь.

Грозные громы.
Грозный огонь.
Вот, разрушающий домы,
Мчится пылающий конь.

Блещет и льется
Красный огонь.
Сердце томительно бьется, —
Близок пылающий конь.

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Святой Георгий
Победоносец

Идолам не поклонился,
Славу Господу воздал.
Злой правитель разъярился,
Палача с мечом призвал.

Меч тяжелый раздробился,
И Георгий светел встал.

Мечом тяжелым
Сраженный трижды,
Воскрес трикраты
Святой Георгий
Победоносец!

Слезы льет народ в восторге,
Но тиран не вразумлен,
И в четвертый раз Георгий
Умирает, поражен.

Он Богом призван
Для вечной жизни,
Для вечной славы,
Святой Георгий
Победоносец!

И, нетлением венчанный,
На горе небес стоит,
И на каждый подвиг бранный,
Ясно радуясь, глядит.
День победы, день желанный
Славным ратям он сулит,

Святой Георгий
Победоносец!

ВОСТОРГИ СЛЕЗ

Вошла, вздыхая, в светлый храм,
Устало стала на колени.

Звучали царские ступени,
Синел отрадный фимиам.

Горели пред Распятьем свечи,
И благостно глядел Христос.
Не обещал он с милым встречи,
Но утешал восторгом слез.

И Он терпел за раной рану,
И был безумными убит.
Я биться головой не стану
О тихий холод темных плит.

Стояла долго и молилась,
Склонившись у пронженных ног.
Тоска в покорность претворилась.
Да будет так, как хочет Бог.

В ЛАЗАРЕТЕ

Вынес я дикую тряску
 Трудных дорог.
Сделали мне перевязку.
 Я изнемог.

Стены вокруг меня стали,
 С тьмою слиты.
Очи твои засияли, —
 Здесь, милосердная, ты.

В тихом забвении жизни,
 Зла и страстей,

Рад я вернуться к отчизне
Вечной моей.

Но от меня заслоняя
Муку и зной,
Тихой улыбкой сияя,
Ты предо мной.

Тихо шепнула три слова:
«Ты не умрешь».
Сердце поверить готово
В нежную ложь.

ГЕНРИЕТА

Генриета, Генриета!
Я зову.
Спряталась ли где-то
Ты в траву?
Стариков не видно,
Сад их нем,
Дом — глядеть обидно! —
Кем разрушен, кем?

Генриета, Генриета,
Где же ты?
Помнишь это лето,
Как с тобою мы гуляли
В чистом поле и сбирали
Там цветы?

Где дорога
Вдаль вела,

У порога
Ты меня ждала,
Так светла и весела.

Генриета, Генриета,
Ты была легко одета,
В белый шелк одета.
Жемчуг был на шее,
Но твоя краса
Жемчуга милее.

Ты беспечно улыбалась,
Звонко, звонко ты смеялась,
И по ветру развевалась
За спиной твоя коса.
Ты любила быть простою,
Как весна,
Так светла душою,
Так ясна.

Мы играли,
Мы шутили,
Мы друг друга догоняли
И ловили,
И сбирали
В это лето мы цветы.
Генриета, Генриета,
Где же ты?

Генриета знала
Все дороги, все пути.
Где и как пройти,
Генриета знала.
Ей пруссак сказал: «Веди!»

Генриета побежала
Впереди,
Путь пруссакам указала
Под шрапнели,
На штыки,
Но убить успели
Генриету пруссаки.

Генриета, Генриета,
Если есть у Бога лето,
Если есть у Бога рай,
Ты в раю играй.

НЕБО ГОЛУБОЕ

Измотал я безумное тело,
Расточитель дарованных благ,
И стою у ночного предела,
Изнурен, беззащитен и наг,

И прошу я у милого Бога,
Как никто никогда не просил:
«Подари мне еще хоть немного
Для земли утомительной сил!

Огорченья земные несносны,
Непосильны земные труды,
Но зато как пленительны весны!
Как прохладны объятья воды!

Как пылают багряные зори!
Как мечтает жасминовый куст!
Сколько ласки в лазоревом взоре
И в лобзании радостных уст!

И еще вожделенней лобзанья,
Ароматней жасминных кустов
Благодатная сила мечтанья
И певучая сладость стихов.

У Тебя, милосердного Бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил».

13 июня 1917

Утомительные дали

* * *

Мне боги праведные дали,
Сойдя с лазоревых высот,
И утомительные дали,
И мед укрепный дольных сот.

Когда в полях томленье спело,
На нивах жизни всхожий злак,
Мне песню медленную спело
Молчанье, сеющее мак.

Когда в цветы впивалось жало
Одной из медотворных пчел,
Серпом горящим солнце жало
Созревшие колосья зол.

Когда же солнце засыпало
На ложе облачных углей,
Меня молчанье засыпало
Цветами росными полей,

И вкруг меня ограды стали,
Прозрачней чистого стекла,

Но тверже закаленной стали,
И только ночь сквозь них текла,

Пьяна медлительными снами,
Колыша ароматный чад.
И ночь, и я, и вместе с нами
Мечтали рои вешних чад.

1 июня 1919

* * *

Я люблю весной фиалки
Под смеющейся росой.
В глубине зеленой балки
Я люблю идти босой.

Забывая пыль дороги
И лукавые слова,
Высоко открывши ноги,
Чтоб ласкала их трава.

Опустившись по ложбинкам,
Через речку вброд брести,
Выбираться по тропинкам
На далекие пути,

Где негаданны и новы,
Как заветная земля,
И безмолвные дубровы,
И дремотные поля.

17 июня 1914
Тойла Эстония

* * *

На свете много благоуханной и озаренной красоты.
Забава девам, отрада женам — весенне-белые цветы.
Цветов весенних милее жены, желанней девы — о них мечты.
Но кто изведал уклоны жизни до вечно-темной, ночной черты,
Кто видел руку над колыбелью у надмогильной, немой плиты,
Тому понятно, что в бедном сердце печаль и радость навек слиты.
Ликуй и смейся над вещей бездной, всходи беспечно на все мосты,
А эти стоны: «Дышать мне нечем, я умираю!» —
поймешь ли ты?

4 мая 1916

* * *

Спокойно и просто
Иду в неоглядную даль.
У каждого моста
Ручейно проблещет печаль.

Но верную сладость
Познал я в просторе дорог,
Где умная радость
Таится в круженье тревог.

И если морока
Совьет перелетную пыль,
Я с властью пророка
Подъемлю дорожный костыль.

Всю нечисть земную
Сберет ли грохочущий гром,

Врага зачарую
Моим кипарисным крестом.

22 июня 1916

* * *

Дорожки мокрые бегут,
Свиваяся по рыжеватым травам,
И небеса о вечности не лгут,
Завешаны туманом ржавым.

Глотая мимолетный дым
Неторопливого локомотива,
Поля молчат, а мы скользим
По неуклонным рельсам мимо, мимо.

Как бессознателен их тусклый сон,
Так слепо и стремленье наше,
Но если цели нет в дали времен,
То есть напиток в дивной чаше,

Что опрокинута в творящий миг
Над милою землею нашей,
Которую сам Бог воздвиг,
Неистощимою любуясь чашей.

1 октября 1916

* * *

Улыбались, зеленея мило, сосенки
Октябрю и Покрову,
А печальные березыньки
Весь убор сронили в ржавую траву.

Ах, зеленые, веселые бессмертники,
Позавидую ли вам?
Разве листья-кратколетники
Наклонять не слаще к свежим муравам?

И не слаще ль вместе с нашей темной матерью
Умирать и воскресать?
Разве сердцу не отраднее
О былом, о вешнем втайне помечтать?

2 октября 1916

* * *

Пробегают грустные, но милые картины,
Сотни раз увиденный аксаковский пейзаж.
Ах, на свете все из той же самой глины,
И природа здесь всегда одна и та ж!

Может быть, скучает сердце в смене повторений,
Только что же наша скука? Пусть печалит, пусть!
Каждый день кидает солнце сети теней,
И на розовом закате тишь и грусть.

Вместе с жизнью всю ее докучность я приемлю,
Эти речки и проселки я навек избрал,
И ликует сердце, оттого что в землю
Солнце вновь вонзилось миллионом жал.

5 октября 1916

* * *

Как ярко возникает день
В полях оснеженных, бегущих мимо!

Какая зыбкая мелькает тень
От беглых, белых клочьев дыма!

Томившая в ночном бреду
Забыта тягость утомлений,
И память вновь приводит череду
Давно не мной придуманных сравнений.

И сколько б на земле ни жить,
Но радостно над каждым утром
Все тем же неизбежным перламутром,
И тою ж бирюзою ворожить.

Людей встречать таких же надо снова,
Каких когда-то знал Сократ,
А к вечеру от счастия земного
Упасть в тоске у тех же врат

И, так же заломивши руки
И грудью жадною вдыхая пыль,
Опять перековать в ночные муки
Земную сладостную быль.

4 февраля 1917

* * *

На все твое ликующее лето
Ложилась тень осенних перемен,
И не было печальнее предмета,
Чем ожидаемый подснежный плен.

Но вот земля покрылась хрупким снегом,
Покорны реки оковавшим льдам,

И вновь часы земные зыбким бегом
Весенний рай пророчествуют нам.

А зимний холод? Сил восстановитель.
Как нектар, полной грудью воздух пей.
А снежный плен? Засеянных полей
Он — верный друг, он — жизни их хранитель.

8 августа 1918

* * *

В норе темно и мглисто,
Навис тяжелый свод,
А под норою чисто
Стремленье горных вод.

Нору мою оставлю,
Построю крепкий дом
И не простор прославлю,
Не светлый водоем,

Прославлю я ограды,
И крепость новых стен,
И мирные отрады,
И милый сердцу плен.

Тебя, оград строитель,
Прославить надо мне.
Ликующий хранитель,
Живи в моем огне.

Все ночи коротая
В сырой моей норе

И утром насекая
Заметки на коре.

Скитаяся в пустыне,
В пыли дневных дорог,
В безрадостной гордыне
Я сердцем изнемог.

Устал я. Сердцу больно.
Построить дом пора.
Скитаний мне довольно!
Прощай, моя нора!

Хочу я новоселья,
Хочу свободных слов,
Цветов, огней, веселья,
Вина, любви, стихов!

3 июля 1920

* * *

Людская душа — могила,
Где сотворивший мирно спит.
Жизнь живую земля покрыла,
Травами, цветами она говорит.

Приходи помечтать над могилой,
Если сам не умер давно.
Проснется с несказанною силой
Все, что казалось темно.

И травы приклонятся к травам,
Цветы улыбнутся цветам,

И ветер зашепчет дубравам,
Нивам, полям и кустам.

7 июня 1920

* * *

Когда я стану умирать,
Не запоет ли рядом птичка
И не проснется ли привычка
В бессилье силы собирать?

Мой вздох последний замедляя,
Не встанет ли передо мной
Иная жизнь, иной весной
Меня от смерти откликая?

Не в первый раз рожденный, я
Смерть отклоню упрямой волей
И отойду от смертных болей
Еще послушать соловья.

30 июля 1920

* * *

Пройдет один, пройдет другой,
И перекресток снова пуст,
Лишь взвеется сухая пыль
Дыханием далеких уст,

И над пустынною душой
Синея, тают небеса,
И тучи переносят быль
Томления за те леса,

Где кто-то светлый и благой
Благословляет нашу грусть.
Безмолвная душа, не ты ль
Запомнила все наизусть,

Как шел один, как шел другой,
И как вокруг обычность вся
Металася, степной ковыль
Медлительным дождем рося.

17 ноября 1920

* * *

Снова саваны надели
Рощи, нивы и луга.
Надоели, надоели
Эти белые снега,

Эта мертвая пустыня,
Эта дремлющая тишь!
Отчего ж, душа-рабыня,
Ты на волю не летишь,

К буйным волнам океана,
К шумным стогнам городов,
На размах аэроплана,
В громыханье поездов

Или, жажду жизни здешней
Горьким ядом утоля,
В край невинный, вечно вешний,
В Элизийские поля?

18 февраля 1921

* * *

Порозовевшая вода
О светлой лепетала карме,
И, как вечерняя звезда,
Зажегся крест на дальнем храме,

И вспомнил я степной ковыль,
И путь Венеры к горизонту,
И над рекой туман, как пыль,
Легко навеивал дремоту,

И просыпалася во мне
Душа умершего в Египте,
Чтобы смотреть, как при луне
Вы, люди нынешние, спите.

Какие косные тела!
И надо ли бояться смерти!
Здесь дым, и пепел, и зола,
И вчеловеченные звери.
15 мая 1921

Утешные ночи

* * *

В прозрачной тьме прохладный воздух дышит,
Вода кругом, но берег недалек,
Вода челнок едва-едва колышет
И тихо зыблет легкий поплавок.

Я — тот, кто рыбу ночью тихо удит
На озере, обласканном луной.

Мне дрозд поет. С чего распелся? Будит
Его луна? Иль кто-нибудь иной?

Смотрю вокруг. Как весело! Как ясно!
И берег, и вода, — луне и мне
Все улыбается, и все прекрасно.
Да уж и мне не спеть ли в тишине?
22 июня 1914
Тойла Эстония

* * *

Призрак ели с призраком луны
Тихо ткут меж небом и землею сны.

Призрак хаты с призраком реки
Чуть мерцающие зыблют огоньки.

А над зыбко ткущимися снами,
И над тихо зыблемыми огоньками,

И над призраками бедных хат
Ночь развертывает чародейный плат,

Опрокидывает черный щит
И о свете незакатном ворожит.
1 октября 1916

* * *

Как незаметно подступила
Успокоительница ночь!
Но где же все твои светила?
«Я тучею заворожила
Мои светила», — шепчет ночь.

Одна ты радоваться хочешь
Тому, что есть, вещунья ночь.
О чем же тьмой ты мне пророчишь?
«Еще ты много стрел отточишь,
Ликуй, но бойся», — шепчет ночь.

Зачем и чем меня тревожишь
Ты, предвещательница ночь?
Судеб ты изменить не можешь.
«Ты сам томления умножишь,
Но не печалься», — шепчет ночь.

Ночным вещаньям чутко внемлю
И вопрошаю снова ночь:
«Какую радость я приемлю?» —
«Свой жезл вонзи в родную землю,
Вновь расцветет он», — шепчет ночь.

Мне внятен твой утешный шепот,
Тебе я верю, верю, ночь,
Но что же значит дальний топот?
«Иди спокойно. Что твой ропот?
Все в Божьей воле», — шепчет ночь.

1 октября 1916

* * *

Только мы вдвоем не спали,
Я и бледная луна.
Я был темен от печали,
А луна была ясна.

И луна, таясь, играя
Сказкой в зыблемой пыли,

Долго медлила у края
Тьмою дышащей земли.

Но, восторгом опьяненный,
Я взметнул мою луну
От земли, в нее влюбленной,
Высоко на крутизну.

Что порочно, что безгрешно,
Вместе все луна сплела, —
Стала ночь моя утешна
И печаль моя светла.

7 октября 1916

* * *

Ты хочешь, девочка луна,
Идущая с крутого неба,
Отведать горнего вина
И нашего земного хлеба.

Одежды золотая сеть
Пожаром розовым одела
Так не привыкшее гореть
Твое медлительное тело.

Вкусив таинственную смесь
Того, что в непонятном споре
Разделено навеки здесь,
Поешь ты в благодатном хоре.

Твой голос внятен только мне,
И, опустив глаза, я внемлю,

Как ты ласкаешь в тишине
Мечтательною песней землю.

12 августа 1917

* * *

И это небо голубое,
И эта выспренняя тишь!
И кажется, — дитя ночное,
К земле стремительно летишь

И радостные взоры клонишь
На безнадежную юдоль,
Где так мучительно застонешь,
Паденья ощутивши боль.

А все-таки стремиться надо
И в нетерпении дрожать.
Не могут струи водопада
Свой бег над бездной задержать,

Не может солнце стать незрячим,
Не расточать своих лучей,
Чтобы, рожденное горячим,
Все становиться горячей.

Порыв, стремленье, лихорадка, —
Закон рожденных солнцем сил.
Пролей же в землю без остатка
Все, что от неба получил.

6 июня 1918

* * *

Пал на небо серый полог,
Серый полог на земле.
Путь во мгле безмерно долог,
Долог путь в туманной мгле.
Веет ветер влажный, нежный,
Влажно-нежный, мне в лицо.
Ах, взошел бы, безмятежный,
На заветное крыльцо!

Постоял бы у порога,
У порога в светлый дом,
Помечтал бы хоть немного,
Хоть немного под окном
И вошел бы, осторожный,
Осторожно в тот приют,
Где с улыбкой бестревожной
Девы мудрые живут!

20 июля 1920

* * *

Час ворожбы и гаданья.
Солнце в далекой стране,
Но не его ли сиянья
На безмятежной луне?

И не его ли очами
Жизнь на земле зажжена?

И не о нем ли ночами
Томно мечтает она?

В ясную ночь полнолунья
Над колыханием трав
Пляшет нагая колдунья,
Золото кос разметав.

Пан ли играет на флейте?
Звучно ль падение вод?
Девушки резвые, рейте,
Вейте за ней хоровод.

Вкруг одинокой березы,
Дикого духа моля,
Лейте горючие слезы,
Смехом будите поля.

Тело стихиям откройте.
Пыль полуночных дорог
Росами травными смойте
С голых стремительных ног.

Вот, под луною мелькая
Длинной и светлой косой,
В белом покрове Иная
С вашей сплелась чередой.

Словно возникла из праха,
Мчится, как вихорь легка.
В зыбком томлении страха
Веет от дивной тоска.

Смейтесь, и плачьте, и рейте,
Вейте одна за другой,
Страх и тоску одолейте
Буйной ночною игрой.

16 ноября 1920

* * *

Яро длился милый день
И склонился под плетень.
Тот, кто любит жить со мглой,
Проводил его хулой.

Страстным пьяная вином,
Ночь маячит за окном,
Шепчет ветру: «Помолчи!
Потеряла я ключи».

Всходит томная луна,
Как невольница бледна,
Шепчет ветру: «Будет срок,
Раскует мой брат замок».

Что же делать ночью мне?
Посидеть ли на окне,
Помечтать ли о былом,
Погадать ли об ином?

Добрый день погас давно.
Затворить пора окно,
И тебе, хмельная мать,
Доброй ночи пожелать.

5 февраля 1921

Милая Волга

* * *

Плыву вдоль волжских берегов.
Гляжу в мечтаньях простодушных
На бронзу яркую лесов,
Осенней прихоти послушных,

И тихо шепчет мне мечта:
«Кончая век уже не долгий,
Приди в родимые места
И догорай над милой Волгой».

И улыбаюсь я, поэт,
Мечтам, сложивший много песен,
Поэт, которому весь свет
Для песнопения стал тесен.

Скиталец вечный, ныне здесь,
А завтра там, опять бездомный,
Найду ли кров себе и весь,
Где положу мой посох скромный?
21 сентября 1915

ЦАРИЦА ЛЕВКОЙ

Левкой благоухала нежно
Пол стрекотание стрекоз
И улыбалась безмятежно
Дыханию усталых роз.

И все, что вкруг нее дышало,
Вкушая сладостный покой,

Хвалой согласною венчало
Благоуханную Левкой.

И уж не ты, о роза мая,
Тогда царицею была,
Когда, зарницами пылая,
С востока поднималась мгла.

Пускай пылающие бои
Затмят высокую лазурь,
Но в безмятежности Левкои
Победа над безумством бурь.

* * *

Кукушка кукует.
Забавится сердце приметами.
Весна поцелует
Устами, едва разогретыми,
Лесные опушки
Цветеньем мечты обнесет, —
К чему же кукушки
Протяжный, медлительный счет?

Зарею вечерней
Поет соловей, заливается.
Душа суеверней.
Светло и отрадно мечтается.
Нездешняя радость
Наполнила даль бытия.
К чему ж эта сладость
В призывной тоске соловья?

3 июля 1920

СОНЕТ
триолето-октавный

Нисходит милая прохлада,
В саду не шелохнется лист,
Простор за Волгой нежно-мглист.
Нисходит милая прохлада

На задремавший сумрак сада,
Где воздух сладостно-душист.

Нисходит милая прохлада,
В саду не шелохнется лист.

В душе смиряется досада,
И снова облик жизни чист,
И вновь душа беспечно рада,
Как будто соловьиный свист

Звучит в нерукотворном храме,
Победное колебля знамя.

19 июля 1920

* * *

Узнаешь в тумане зыбком
Все, чем сердце жило прежде,
Возвращаешься к улыбкам
И к мечтательной надежде.

Кто-то в мочки пару серег,
Улыбаясь, продевает
И на милый, светлый берег
Тихой песней призывает.

Посидеть на куче бревен,
Где тихонько плещут волны,
Где песочный берег ровен,
Поглядеть рыбачьи челны.

Рассказать, чем сердце жило,
Чем болело и горело,
И кого оно любило,
И чего оно хотело.

Так мечтаешь хоть недолго
О далекой, об отцветшей.
Имя сладостное Волга
Сходно с именем ушедшей.

В тихий день воспоминанья
Так утешны эти дали,
Эти бледные мерцанья,
Эти мглистые вуали.

11 (24) июля 1920

* * *

Знойно туманится день,
Гарью от леса несет,
Тучи лиловая тень
Тихо над Волгой ползет.

Знойное буйство, продлись!
Длися, верховный пожар!
Чаша земная, курись
Неистощимостью чар!

Огненным зноем живу,
Пламенной песней горю,
Музыкой слова зову
Я бирюзу к янтарю.

Тлей и алей, синева,
В буйном кружении вьюг!
Я собираю слова,
Как изумруд и жемчуг.

1 августа 1920

* * *

Туман и дождь. Тяжелый караван
Лохматых туч влачится в небе мглистом.
Лесною гарью воздух горько пьян,
И сладость есть в дыхании смолистом,
И радость есть в уюте прочных стен,
И есть мечта, цветущая стихами.
Печальный час, и ты благословен
Любовью, сладкой памятью и снами.

24 июля 1920

* * *

Туманы над Волгою милой
Не спорят с моею мечтой,
И все, что блистая томило,
За мглистою никнет чертой.

Туманы над милою Волгой
В забвении тусклых болот

Пророчат мне счастья недолгий,
Но сладостно-ясный полет.

3 августа 1920

Свирель

В стиле французских бержерет

* * *

Амур — застенчивое чадо.
Суровость для него страшна.
Ему свободы сладкой надо.
Откроет к сердцу путь она.

Когда ничто не угрожает,
Как он играет, как он рад!
Но чуть заспорь с ним, улетает
И не воротится назад.

И как ни плачь, и как ни смейся,
Уже его не приманить.
Не свяжешь снова, как ни бейся,
Однажды порванную нить.

Поймите, милые, что надо
Лелеять нежную любовь.
Амур — застенчивое чадо.
К чему нахмуренная бровь?

19 апреля 1921

* * *

«Бойся, дочка, стрел Амура.
Эти стрелы жал больней.
Он увидит, — ходит дура,
Метит прямо в сердце ей.

Умных девушек не тронет,
Далеко их обойдет,
Только глупых в сети гонит
И к погибели влечет».

Лиза к матери прижалась,
Слезы в три ручья лия,
И, краснея, ей призналась:
«Мама, мама, дура я!

Утром в роще повстречала
Я крылатого стрелка
И в испуге побежала
От него, как лань легка.

Поздно он меня заметил,
И, уж как он ни летел,
В сердце мне он не уметил
Ни одной из острых стрел,

И, когда к моей ограде
Прибежала я, стеня,
Он махнул крылом в досаде,
И умчался от меня».

20 апреля 1921

* * *

За цветком цветет цветок
Для чего в тени дубравной?
Видишь, ходит пастушок.
Он в венке такой забавный.

А зачем, скажи, лужок?
На лужке в начале мая
Ходит милый пастушок,
Звонко на рожке играя.

Для чего растет лесок?
Мы в леску играем в прятки.
Там гуляет пастушок.
С пастушком беседы сладки.

А песочный бережок?
Он для отдыха годится.
Там гуляет пастушок,
В воды светлые глядится.

А прозрачный ручеек?
Хорошо в ручье купаться.
Близко ходит пастушок,
Хочет милую дождаться.

22 апреля 1921

* * *

Цветков благоуханье,
И птичье щебетанье,
И ручейков журчанье,
Все нам волнует кровь,

И сказывает сказки
Про радостные ласки,
Про сладкую любовь.

Прекрасна, как цветочек,
Легка, как мотылечек,
Иди ко мне в лесочек,
Иди ко мне смелей.
Чего тебе бояться?
Не долго улыбаться
Весне в тени ветвей.

Поспешно мчатся Оры.
И дни, и ночи скоры.
Замолкнут птичьи хоры,
Все милое пройдет,
Настанет час истомный,
Увянет ландыш скромный,
Фиалка отцветет.

К чему терять мгновенья
На ложные сомненья,
На скуку размышленья?
Целуй меня, целуй!
Любви отдайся нежной
И ласке безмятежной
У этих звучных струй.

21 апреля 1921

* * *

Нет, я тому не верю, что шепчет мне Колен,
Как радостен для сердца любовный милый плен.

Перед Клименой отчего же
Климен в слезах,
И вечно все одно и то же,
То ох, то ах!

О нет, я не поверю, как ни шепчи Колен,
Что сладостен для сердца любовный нежный плен.

Тогда зачем же все моленья
У милых ног,
И столько горести, томленья,
Тоски, тревог?

О нет, о нет, не верю, как ни шепчи Колен,
Что для сердец отраден любовный хмельный плен!
23 апреля 1921

* * *

Тирсис под сенью ив
Мечтает о Нанетте,
И, голову склонив,
Выводит на мюзетте:
«Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь».

И эхо меж кустов,
Внимая воплям горя,
Не изменяет слов,
Напевам томным вторя:

«Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь».

И верный пес у ног
Чувствителен к напасти,
И вторит, сколько мог
Усвоить грубой пасти:
«Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,
К могиле я — тра, та, там, та, — клонюсь».

Овечки собрались, —
Ах, нежные сердечки! —
И вторить принялись,
Как могут петь овечки:
«Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь».

Едва от грусти жив
Тирсис. Где ты, Нанетта?
Внимайте, кущи ив!
Играй, взывай, мюзетта:
«Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь».

10 июня 1921

* * *

Румяным утром Лиза, весела,
Проснувшись рано, в лес одна пошла.

Услышав пенье пташек по кустам,
Искала гнезд она и здесь, и там,

И что же взор прекрасной подстерег?
То был Амур, любви крылатый бог.

Она дрожит, в огне жестоком кровь,
Лицо горит, и к сердцу льнет любовь.

Корсаж Амуру сделавши тюрьмой,
Она несет его к себе домой,

И говорит отцу, едва дыша:
«Смотри, отец, как птичка хороша!»

Ждала улыбки Лиза от отца.
Отец ворчит: «Узнал я молодца».

Амуру крылья вмиг обрезал он,
И в клетке бог, попался в злой полон.

20 апреля 1921

* * *

Скоро крылья отрастут
У плененного Амура,
И фиалки зацветут
В сладких песнях трубадура.

Прутьев клетки не разбить
Соловью иль робкой кенке,
Но Амура полонить
Разве могут эти стенки?

Ах, придет, придет весна,
Засмеются гибко ветки,

И, проснувшийся от сна,
Улетит Амур из клетки.
20 апреля 1921

* * *

Не пойду я в лес гулять одна, —
Тень лесная мне теперь страшна.

Накануне повстречалась
Там я с милым пастушком,
Но лишь только обменялась
С ним приветливым словцом,
Уже он меня лобзает
В щеки, в губы и в плечо,
И о чем-то умоляет,
Что-то шепчет горячо.

Не пойду я больше в лес одна, —
Мне страшна лесная тишина.

Поняла, о чем он стонет,
Что стремится он найти
И к чему он речи клонит.
Как мне честь мою спасти?
Уж смыкаются объятья,
В бездну жуткую влача.
Развязался пояс платья,
Лямка падает с плеча.

Нет, уж не пойду я в лес одна, —
Мне лесная тишина страшна.

Так бы я совсем пропала,
Но на счастие мое
В том лесу Филис гуляла.
Мы увидели ее,
И в смущенье, и в испуге
Он умчался, как стрела.
Побежала я к подруге.
«Хорошо, что ты пришла!»

Не пойду вперед я в лес одна, —
Мне страшна лесная тишина.

28 апреля 1921

* * *

Как мне с Коленом быть, скажи, скажи мне, мама.
О прелестях любви он шепчет мне упрямо.

Колен всегда такой забавный.
Так много песен знает он.
У нас в селе он самый славный,
И знаешь, он в меня влюблен,

И про любовь свою он шепчет мне упрямо.
Что мне сказать ему, ах, посоветуй, мама!

Меня встречая у опушки,
Он поднимает свой рожок,
И кукованию кукушки
Он вторит, милый пастушок.

Он про любовь свою все шепчет мне упрямо.
Но что же делать с ним, скажи, скажи мне, мама.

Он говорит: «Люби Колена.
Душа влюбленная ясна,
А время тает, словно пена,
И быстро пролетит весна».

Все про любовь свою он шепчет мне упрямо.
Что мне сказать ему, ах, посоветуй, мама.

Он говорит: «Любви утехам
Пришла пора. Спеши любить
И бойся беззаботным смехом
Мне сердце томное разбить».

Люблю ли я его, меня он спросит прямо.
Тогда что делать с ним, скажи, скажи мне, мама.

24 апреля 1921

* * *

Не знают дети,
Зачем весна,
Какие сети
Плетет она.

И я не знала,
Зачем весна,
И я срывала
Цветы одна.

Но наступила
Моя весна

И разбудила
Меня от сна.

О чем, какою, —
Скажи, весна, —
Душа тоскою
Упоена?

О чем мечтаю?
Скажи, весна.
В кого, не знаю,
Я влюблена.

Ручей струится, —
Тобой, весна,
Он веселится,
Согрет до дна.

Иду я в воды
К тебе, весна,
И речь природы
Мне вдруг ясна.

Люблю Филена —
Узнай, весна!
Мои колена
Ласкай, волна!
27 апреля 1921

* * *

Весна сияла ясно.
Фиалка расцвела.

Филис, легка, прекрасна,
Гулять в поля пришла.

И думает фиалка:
«О дева, ты — весна,
И как мне, бедной, жалко,
Что слишком я скромна!

Увы, мой венчик малый
Что даст ее мечте?
Цвести бы розой алой
На пышном мне кусте.

Она меня взяла бы,
Мой аромат вдохнуть,
И я тогда могла бы
К ее груди прильнуть».

Фиалкиным мечтаньям
Не внемлешь ты, весна.
Иным очарованьем
Филис упоена.

Мечтает о Филене.
Филен сюда придет
И о любовном плене
Ей песенку споет.

Она ступила белой
И легкою ногой,
Еще не загорелой,
На цветик полевой.

На травке увядает
Помятый стебелек.

Фиалка умирает.
Увы! жестокий рок!

Любовь неодолима,
Проносится, губя.
Филис проходит мимо,
Мечтая и любя.

23 апреля 1921

* * *

Скупа Филис, но пыл мятежный
Сильвандру надо утолить.
Баранов тридцать деве нежной
Он дал, чтоб поцелуй купить.

Наутро согласилась рано
И к пастушку щедрей была, —
Лобзаний тридцать за барана
Пастушка милому дала.

День ото дня Филис нежнее,
Боится, — пастушок уйдет.
Баранов тридцать, не жалея,
За поцелуй ему дает.

Потом Филис умней не стала
И всех баранов и собак
На поцелуи променяла,
А он целует Лизу так.

22 апреля 1921

* * *

В лугу паслись барашки.
Чуть веял ветерок.
Филис рвала ромашки,
Плела из них венок.
Сильвандра
Она ждала.
Филис Сильвандру,
Сильвандру
Венок плела.

А в роще недалекой
Сильвандр один гулял.
Для Лизы черноокой
Фиалки он сбирал.
Сильвандра
Филис ждала.
Она Сильвандру,
Сильвандру
Венок плела.

Вдруг видит, — Лиза входит
Украдкою в лесок.
Ее к ручью выводит
Коварный пастушок.
Сильвандра
Филис ждала.
Филис Сильвандру.
Сильвандру
Венок плела.

Таясь в кустах ревниво,
Увидела она,

Как Лиза шаловлива
И как она нежна.
Сильвандра
Филис ждала.
Она Сильвандру,
Сильвандру
Венок плела.

К траве склонившись низко,
И плачет, и дрожит,
Но утешенье близко, —
К Филис Филен бежит.
Сильвандра
Она ждала.
Она Сильвандру,
Сильвандру
Венок плела.

«Филис, к чему же слезы? —
Ей говорит Филен. —
В любви не только розы.
Бояться ли измен?»
Сильвандра
Филис ждала,
Но не Сильвандру,
Филену
Венок дала.

22 апреля 1921

* * *

В лес пришла пастушка,
Говорит кукушке:

«Погадай, кукушка,
Сколько лет пастушке
Суждено прожить».

Кукушка кукует: раз, два, три, четыре, пять, шесть, —
Кукует, кукует так долго, что Лизе не счесть.

И, смеясь, пастушка
Говорит с кукушкой:
«Что же ты, кукушка?
Неужель старушкой
Весело мне быть!»

Кукушка кукует: раз, два, три, четыре, пять, шесть, —
Кукует, кукует так долго, что Лизе не счесть.

Вздумала пастушка
Так спросить кукушку:
«Погадай, кукушка,
Сколько лет пастушку
Будет друг любить».

Кукушка кукукнула раз, и молчит, и молчит,
А Лиза смеется: «Так что же, хоть год!» — говорит.

24 апреля 1921

* * *

«Вижу, дочь, ты нынче летом
От Колена без ума,
Но подумай-ка об этом,
Что тебе сулит зима.

У Амура стрелы метки,
Но еще грозит беда:
Был же аист у соседки,
Не попал бы и сюда».

«Мама, я не унываю.
Чтобы ту беду избыть,
Я простое средство знаю:
Надо аиста убить.

Что же мне тужить о ране!
Как она ни тяжела,
У Амура есть в колчане
И на аиста стрела».

25 апреля 1921

* * *

Небо рдеет.
Тихо веет
Теплый ветерок.
Близ опушки
Без пастушки
Милый пастушок.

Где ж подружка?
Ах, пастушка
Близко, за леском,
Вдоль канавки
В мягкой травке
Бродит босиком,

И овечки
Возле речки

Дремлют на лужку,
        Знаю, Лиза
        Из каприза
Не идет к дружку.

        Вот решился
        И спустился
К быстрой речке он.
        Ищет тени,
        По колени
В струи погружен.

        Еле дышит
        Лиза, — слышит
Звучный лепет струй.
        Друг подкрался,
        И раздался
Нежный поцелуй.

        Славить радость,
        Ласки сладость,
Где найду слова?
        До заката
        Вся измята
Мягкая трава.

20 апреля 1921

* * *

        Соловей
        Средь ветвей
Для подружки трели мечет,
        И ручей

Меж камней
Ворожит, журчит, лепечет.

Не до сна!
Ах! Весна
И любовь так сладко ранят.
Тишина
И луна
Лизу в рощу к другу манят.

Мама спит, —
И спешит
Лиза выскочить в окошко,
И бежит,
И шуршит,
И шуршит песком дорожка.

У ручья
Соловья
Слушай, милому внимая.
«Жизнь моя!»
«Я — твоя!»
О, любовь в начале мая!

26 апреля 1921

* * *

Ах, лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки.
Как пастушке с ними быть?
Как бежать под влажной мглою,
Чтобы голою ногою
На лягушку не ступить?

Хоть лягушки ей не жалко, —
Ведь лягушка — не фиалка, —
Но, услышав скользкий хруст
И упав неосторожно,
Расцарапать руки можно
О песок или о куст.

Сердце милую торопит,
И в мечтах боязни топит,
И вперед ее влечет.
Пусть лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки, —
Милый друг у речки ждет.

25 апреля 1921

* * *

Не дождь алмазный выпал,
То радугу рассыпал
Веселый Май в росу.
Вдыхая воздух чистый,
Я по траве росистой
Мечты мои несу.

Я не с высоких башен.
Моим ногам не страшен
Твой холодок, роса.
Не нужны мне рубины, —
Фиалками долины
Осыпана коса.

Не пышные, простые,
Цветочки полевые,

Но все они в росе,
Как бриллианты, блещут,
Сляют и трепещут
В густой моей косе.

28 апреля 1921

* * *

Солнце в тучу село, —
Завтра будет дождь,
Но пойду я смело
Под навесы рощ.

Стану для забавы
У седой ольхи,
Где посуше травы
И помягче мхи.

Хорошо, что дождик
Вымочит весь луг, —
Раньше или позже
К роще выйдет друг.

29 апреля 1921

* * *

Солнце от востока
Зажигает в росах
Травных огоньки.
Друг мой одиноко,
Опершись на посох,
Дремлет у реки.

В утренней прохладе
Мягко тонут звуки
Бега моего.
Побегу я сзади,
Положу я руки
На глаза его,

И ему шепну я
На ухо: «Не мешкай,
Угадай, кто я!»
Руки мне целуя,
Скажет он с усмешкой:
«Ты — Филис моя!»

28 апреля 1921

* * *

Дождик, дождик, перестань,
По ветвям не барабань,
От меня не засти света.
Надо мне бежать леском,
Повидаться с пастушком,
Я же так легко одета.

Пробежать бы мне лесок, —
Близко ходит мой дружок,
Слышу я, — кричит барашек.
Уж давно дружок мой ждет,
И меня он проведет
Обсушиться в свой шалашик.

И тогда уж, дождик, лей,
Лей, дождинок не жалей, —

Посидеть я с милым рада.
С милым рай и в шалаше.
Свежий хлеб, вода в ковше, —
Так чего же больше надо!

29 апреля 1921

* * *

Погляди на незабудки,
Милый друг, и не забудь
Нежной песни, звучной дудки,
Вздохов, нам теснивших грудь.

Не забудь, как безмятежно
Улыбался нам Апрель,
Как зарей запела нежно
Первый раз твоя свирель.

Не забудь о сказках новых,
Что нашептывал нам Май,
И от уст моих вишневых
Алых уст не отнимай,

И, когда на дно оврага
Убежишь от зноя ты,
Где накопленная влага
Поит травы и цветы,

Там зашепчут незабудки:
«Не забудь ее любви!»
Ты тростник для новой дудки,
Подзывать меня, сорви.

27 апреля 1921

* * *

Посмотри, какие башмачки!
Как удобно в них ходить и ловко!
Высоки и тонки каблучки!
Разве же не славная обновка?

Чтоб совсем была нарядна я
И тебе понравилась, дружочек,
Набери цветочков у ручья,
Подари мне свеженький веночек.

А когда журчащий ручеек
Перед нами на дорогу прянет,
Башмачки сниму я, а венок
Сохраню, пока он не завянет.
30 апреля 1921

* * *

Лизу милый друг спросил:
«Лиза, не было ль оплошки?
Не сеньор ли проходил
По песочной той дорожке?
Не сеньор ли подарил
И цепочку, и сережки?»

Говорит она: «Колен!
Мой ревнивец, как не стыдно!
Отдала я сердце в плен,
Да ошиблася я, видно.
Ты приносишь мне взамен
То, что слышать мне обидно.

Ревность друга победить
Знаю я простое средство.
Уж скажу я, так и быть:
Старой бабушки наследство
Не дает мне мать носить.
Это, видишь ли, кокетство.

И надела я тайком
И цепочку, и сережки,
Чтоб с тобой, моим дружком,
По песочной той дорожке
Тихим, теплым вечерком
Прогуляться без оплошки.

Не люблю сеньоров я,
Их подарков мне не надо.
Рвать цветочки у ручья,
Днем пасти отцово стадо,
Ночью слушать соловья, —
Вот и вся моя отрада.

На твоих кудрях венок,
У тебя сияют взоры,
Твой пленительный рожок
Будит в рощах птичьи хоры,
Я люблю тебя, дружок, —
Так на что мне все сеньоры!»

25 апреля 1921

* * *

За кустами шорох слышен.
Вышел на берег сеньор.

Губы Лизы краше вишен,
Дня светлее Лизин взор.

Поклонилась Лиза низко
И, потупившись, молчит,
А сеньор подходит близко
И пастушке говорит:

«Вижу я, стоит здесь лодка,
Ты умеешь ли гребсти?
Можешь в лодочке, красотка,
Ты меня перевезти?» —

«С позволенья вашей чести,
Я гребсти обучена».
И в ладью садятся вместе,
Он к рулю, к веслу она.

«Хороша, скажу без лести.
Как зовут тебя, мой свет?» —
«С позволенья вашей чести,
Имя мне — Елизабет». —

«Имя славное, без лести.
Кем же взято сердце в плен?» —
«С позволенья вашей чести,
Милый мой — пастух Колен». —

«Где же он? Ушел к невесте?
Знать, ему ты не нужна». —
«С позволенья вашей чести,
Я — Коленова жена».

Стукнул он о дно ботфортом.
Слышно звякание шпор.

Наклонившися над бортом,
Призадумался сеньор.

«С позволенья вашей чести,
Я осмелюся спросить,
Мы причалим в этом месте,
Или дальше надо плыть?» —

«Погулять с тобой приятно,
Но уж вижу, — ты верна,
Так вези ж меня обратно
Ты, Коленова жена».

И, прощаяся, лобзает
Лизу прямо в губы он
И, смеяся, опускает
За ее корсаж дублон.

26 апреля 1921

Из сборника

«ОДНА ЛЮБОВЬ»

Посвящаю Анастасии Сологуб-Чеботаревской

Amor

* * *

Ты только для меня. На мраморах иссечен
Двойной завет пути, и светел наш удел.
Здесь наш союз несокрушимо вечен,
Он выше суетных, земных, всегдашних дел.

В веках тебе удел торжественный и правый.
Кто скажет, что цветы стихов моих умрут?
Любовью внушены и осиянны славой,
Цветы бессмертные, нетленные цветут.

Повсюду вел меня мой страннический посох,
И в рай земной, и в ад, стремительно крылат.
И я нашел цветы в неиспаримых росах, —
Века не истощат их сладкий аромат.

Ты только для меня. Судьба нам не лукава.
Для светлого венца, по верному пути
Подруги верные, любовь моя и слава,
Нас радостно ведут. Не страшно нам идти.

Ты только для меня. Таинственно отмечен
Блистающий наш путь, и ярок наш удел.

Бессмертием в веках союз наш будет встречен.
Кто скажет, что венец поэта потускнел?

* * *

В моем безумии люби меня.
Один нам путь, и жизнь одна и та же.
Мое безумство манны райской слаже.
Наш рдяный путь в метании огня,
Архангелом зажженного на страже.
В моем горении люби меня.

Только будь всегда простою,
Как слова моих стихов.
Будь мне алою зарею,
Вся обрызгана росою,
Как сплетеньем жемчугов.

В моем пылании люби меня,
Люби в безумстве, и в бессилье даже.
Всегда любовь нам верный путь укажет,
Пыланьем вечным рай наш осеня.
Отвергнут я, но ты люби меня.
Нам путь один, нам жизнь одна и та же.

Отворю я все дворцы,
И к твоим ногам я брошу
Все державы и венцы, —
Утомительную ношу, —
Все, что могут дать творцы.

4 мая 1921

* * *

Не весна тебя приветит,
Не луна тебе осветит
Полуночные мечты.
Не поток тебя ласкает,
Не цветок тебя венчает,
Даришь радость только ты.

Без тебя все сиротеет,
Не любя все каменеет,
Никнут травы и цветы.
Вешний пир им не отрада,
Здешней неги им не надо,
Жизнь даруешь только ты.

Не судьбе земля покорна,
Лишь в тебе живые зерна
Безмятежной красоты.
Дочь высокого пыланья,
В ночь земного пребыванья
Льешь святое пламя ты.

* * *

Твоя любовь — тот круг магический,
Который нас от жизни отделил.
Живу не прежней механической
Привычкой жить, избытком юных сил.

Осталось мне безмерно-малое,
Но каждый атом здесь объят огнем.

Неистощимо неусталое
Пыланье дивное, — мы вместе в нем.

Пойми предел, и устремление,
И мощь вихреобразного огня,
И ты поймешь, как утомление
Безмерно-сильным делает меня.
11 июля 1920

* * *

Имя твое — воскресение,
Имя мое — Божий дар.
Их роковое сплетение —
Сладостный вешний угар.

Божьи дары не растрачены,
Я их ревниво сберег.
Их разгораньем означены
Все перекрестки дорог.

Нет для огней угасания.
Тают бессильные сны.
Верные дни воскресания
Верному сердцу даны.

* * *

Снова покачнулись томные качели.
Мне легко и сладко, я люблю опять.
Птичьи переклички всюду зазвенели.
Мать Земля не хочет долго тосковать.

Нежно успокоит в безмятежном лоне
Всякое страданье Мать сыра Земля
И меня утешит на последнем склоне,
Простодушным зельем уберет поля.

Раскачайтесь выше, зыбкие качели!
Рейте, вейте мимо, радость и печаль!
Зацветайте, маки, завивайтесь, хмели!
Ничего не страшно, ничего не жаль.

24 мая 1920
Москва

* * *

Душа опять звучит стихами.
Пришла весна, и в сердце вновь,
Чаруя радостными снами,
Воскресла милая любовь.

Устал, устал я жить в затворе,
То ненавидя, то скорбя.
Хочу забыть про зло и горе
И повторять: «Люблю тебя!»

Пойми, пойми, — пока мы живы,
Пока не оскудела кровь,
Все обещания не лживы,
И не обманет нас любовь.

* * *

Приди ты поздно или рано,
Все усложни или упрость

Словами правды иль обмана, —
Ты мне всегда желанный гость.

Люблю твой взор, твою походку
И пожиманье тонких плеч,
Когда в мечтательную лодку
Тебя стремлюся я увлечь,

Чтобы, качаяся на влаге
Несуществующей волны,
Развивши паруса и флаги,
На остров плыть, где реют сны,

Бессмертно-ясные навеки,
Где радость розовых кустов
Глубокие питают реки
Среди высоких берегов,

Где весело смеются дети,
Тела невинно обнажа,
Цветами украшая эти
Твои чертоги, госпожа.

<2 сентября 1920
Бологое — Вишера Вагон>

* * *

Горит заря умильная,
Паденье дня тая.
За нами вьется пыльная
Лиловая змея.

Тележка наша катится
Дорогою пустой.
Не жаль, что время тратится
Лазурною мечтой.

Смеется в небе алая
На холмы, лес и луг,
И тает тень усталая,
Но ясно все вокруг.

К чему тоске томительной
Предался б ныне я?
В закатный час медлительный
Со мной любовь моя.

* * *

Мы покидали милый дом,
Мы с тем приютом расставались,
Где с утомленьем и трудом
Минуты сладкие сплетались,

И все, что оставалось там,
Что было для тебя так мило,
Все эти вещи, — старый хлам, —
Смеясь и плача, ты крестила,

Благословляя тот приют,
Где радость нам дарило лето,
Где духи мудрые живут,
Очаровавшие поэта.

* * *

Любви неодолима сила.
Она не ведает преград,
И даже то, что смерть скосила,
Любовный воскрешает взгляд.

Светло ликует Евридика,
И ад ее не полонит,
Когда багряная гвоздика
Ей близость друга возвестит,

И не замедлит на дороге,
И не оглянется Орфей,
Когда в стремительной тревоге
С земли нисходит он за ней.

Не верь тому, что возвестили
Преданья темной старины,
Что есть предел любовной силе,
Что ей ущербы суждены.

Хотя б лукавая Психея
Запрету бога не вняла
И жаркой струйкою елея
Плечо Амуру обожгла,

Не улетает от Психеи
Крылатый бог во тьме ночей.
С невинной белизной лилеи
Навеки сочетался змей.

Любви неодолима сила.
Она не ведает преград.

Ее и смерть не победила,
Земной не устрашает ад.

Альдонса грубая сгорает,
Преображенная в любви,
И снова Дон Кихот вещает:
«Живи, прекрасная, живи!»

И возникает Дульцинея,
Горя, как юная заря,
Невинной страстью пламенея,
Святой завет любви творя.

Не верь тому, что возвестили
Преданья, чуждые любви.
Слагай хвалы державной силе
И мощь любви благослови.

<3 мая 1921>

* * *

Две пламенные вьюги
В безумстве бытия,
То были две подруги,
Любовь и Смерть моя.

Они кружились обе,
Огонь и дым вия.
Влеклась за ними в злобе
Бессильная змея.

Когда они теснее
Сплетались предо мной,

Душе моей яснее
Являлся мир иной.

Пространств холодных бремя
Свивалось пеленой,
И умирало время
Для жизни неземной.

Разбиты ледяные
Оковы бытия.
В обители иные
Восхищен снова я.

Ликуют две подруги,
Любовь и Смерть моя,
Стремительные вьюги
В блаженстве бытия.

* * *

С весною вновь приемлю
Я благостную весть:
Росе лелеять землю,
Цветам невинно цвесть,

Зарытым в землю зернам
Не пропустить свой срок:
В стремлении упорном
На волю дать росток.

И всякой малой твари
Плодиться и любить,

В пленительном угаре
Самозабвенно жить,

И мне крылатой песней,
Весной воскресшей вновь,
Все слаще, все чудесней
Тебя хвалить, любовь!

* * *

Пламеннее солнца сердце человека,
И душа обширней, чем небесный свод,
И живет от века до иного века,
Что в душе созреет в урожайный год.

Как луна, печальна, как вода, текуча,
В свете переменном зыблется мечта.
Пусть ее закроет непогодой туча, —
Сквозь века нетленна, светит красота.

* * *

Стремит таинственная сила
Миры к мирам, к сердцам сердца,
И ты напрасно бы спросила,
Кто разомкнет обвод кольца.

Любовь и Смерть невинны обе,
И не откроет нам Творец,
Кто прав, кто нет в любви и в злобе,
Кому хула, кому венец.

Но все правдиво в нашем мире,
В нем тайна есть, но нет в нем лжи.
Мы — гости званые на пире
Великодушной госпожи.

Душа, восторгом бесконечным
Живи, верна одной любви,
И, силам предаваясь вечным,
Закон судьбы благослови.

<29 апреля 1921>

* * *

Предвестие отрадной наготы
В твоей улыбке озаренной встречи,
Но мне, усталому, пророчишь ты
Заутра после нег иные речи.

И я скольжу над вьюгой милых ласк
Мечтой, привыкнувшей ко всем сплетеньям,
И, не спеша войти в святой Дамаск,
На перекрестке медлю за куреньем.

Ты подожди, прелестница, меня,
Займись хитросплетенною косою.
Я в твой приют войду на склоне дня,
Когда поля задремлют под росою.

А ранним утром мне расскажешь ты,
Смущенная, наивно хмуря брови,
Что предвещают алые цветы,
О чем пророчит знойный голос крови.

* * *

О чем щебечут птицы
Так звонко по весне?
Какие небылицы
Рассказывают мне?

Забавно, словно в сказке,
О чем звенят ручьи?
Чьи шепоты и ласки
Перепевают, чьи?

Ответа мне не надо.
Ответ я знаю сам.
Душа беспечно рада
Веселым голосам.

Под всякою личиной
Я узнавать привык
Любви, всегда единой,
Непостижимый лик.

<3 мая 1921>

* * *

Насладился я жизнью, как мог,
Испытал несказанные пытки,
И лежу, изнемогши, у ног
Той, кто дарит страданья в избытке.

И она на меня не глядит,
Но уста ее нежно-лукавы,

И последнюю, знаю, таит,
И сладчайшую чашу отравы

Для меня. Не забудет меня
И меня до конца не оставит,
Все дороги последнего дня
Нежной лаской своей излукавит.

<3 июня 1918
Петроград — Кострома Вагон>

* * *

Душа моя, благослови
И упоительную нежность,
И раскаленную мятежность,
И дерзновения любви.

К чему тебя влечет наш гений,
Твори и в самый темный день,
Пронзая жуть, и темь, и тень
Сияньем светлых вдохновений.

Времен иных не ожидай, —
Иных времен и я не стою, —
И легкокрылою мечтою
Уродства жизни побеждай.

<30 ноября 1916>

* * *

Гори, гори, моя любовь!
Я не боюсь твоих пыланий.

Светлее воскресайте вновь
Вы, сонмы яркие желаний!

Ты погасай, моя тоска,
Хотя б с моею вместе кровью,
Стрелою меткого стрелка
Сраженная, — моей любовью.

Мне стала наконец ясна
Давно томившая загадка.
Как прежде, смерть мне не страшна,
И жить, как никогда, мне сладко.

AMOR

Тринадцать раз в году больная,
Устала я от жизни этой.
Хочу лежать в гробу нагая,
Но не зарытой, не отпетой.

И будет гроб мой — белый мрамор,
И обовьют его фиалки,
И надпись золотая «AMOR»
У ног на черном катафалке.

Поставят гроб в высокой башне,
В торжественном большом покое,
И там ничто тоской вчерашней
Мне не напомнит про былое.

Аканты легких капителей
И своды голубой эмали

Меня закроют от мятелей
И от тревожной звездной дали.

Увижу в полночь сквозь ресницы
На ступенях алмазных лестниц
В одеждах алых вереницы
Блаженных элизийских вестниц

И отроков в крылатых латах,
Превосходящих блеском солнцы,
На страже у дверей заклятых
Чеканенной тяжелой бронзы.

И мне к челу с венчальным гимном
Рубиновая диадема
Прильнет, и фимиамом дымным
Упьюсь я, как вином Эдема.

Улыбкой слабой дрогнут губы,
И сладко потеплеют чресла,
Когда серебряные трубы
Мне возвестят: «Любовь воскресла!»

И запылает надпись «AMOR»,
Пасхальные зажгутся свечи,
И встану я, и белый мрамор
Покину для последней встречи.

Дон Кихот

* * *

Бессмертною любовью любит
И не разлюбит только тот,

Кто страстью радости не губит,
Кто к звездам сердце вознесет,
Кто до могилы пламенеет, —
Здесь на земле любить умеет
Один безумец Дон Кихот.

Он видит грубую Альдонсу,
Но что ему звериный пот,
Который к благостному солнцу
Труды земные вознесет!
Пылая пламенем безмерным,
Один он любит сердцем верным,
Безумец бедный, Дон Кихот.

Преображает в Дульцинею
Он деву будничных работ
И, преклоняясь перед нею,
Ей гимны сладкие поет.
Что юный жар любви мгновенной
Перед твоею неизменной
Любовью, старый Дон Кихот!

<26 октября 1920>

* * *

Порой томится Дульцинея,
От темной ревности бледна,
Но кто ей скажет: «Дульцинея,
Ты Дон Кихоту не верна!»

Изменит грубая Альдонса,
Любой приманкою взята,
Но кто же скажет ей: «Альдонса,
Для Дон Кихота ты свята!»

Душою прилепляясь к многим,
Одну прославил Дон Кихот.
Даруя милости убогим,
Не изменяет Дон Кихот.

<28 апреля 1921>

* * *

Кругом насмешливые лица, —
Сражен безумный Дон Кихот.
Но знайте все, что есть светлица,
Где Дон Кихота дама ждет.

Рассечен шлем, копье сломалось,
И отнят щит, и порван бант,
Забыв про голод и усталость,
Лежит убитый Росинант.

В изнеможении, в истоме
Пешком плетется Дон Кихот.
Он знает, что в хрустальном доме
Царица Дон Кихота ждет.

<2 мая 1921>

ФИМИАМЫ

* * *

На что мне пышные палаты
И шелк изнеженных одежд?
В полях мечты мои крылаты,
Подруги сладостных надежд.

Они летят за мной толпами,
Когда, цветам невинным брат,
Я окрыленными стопами
Иду, куда глаза глядят.

Слагать стихи и верить смело
Тому, Кто мне дарует свет,
И разве есть иное дело,
Иная цель, иной завет?

* * *

В ясном небе — светлый Бог Отец,
Здесь со мной — Земля, святая Мать.
Аполлон скует для них венец,
Вакх их станет хмелем осыпать.

Вечная качается качель,
То светло мне. то опять темно.
Что сильнее, Вакхов темный хмель
Или Аполлоново вино?

Или тот, кто сеет алый мак,
Правду вечную один хранит?
Милый Зевс, подай мне верный знак,
Мать, прими меня под крепкий щит.

* * *

Бывают дивные мгновенья,
Когда насквозь озарено
Блаженным светом вдохновенья
Все, так знакомое давно.

Все то, что сила заблужденья
Всегда являла мне чужим,
В блаженном свете вдохновенья
Опять является моим.

Смиряются мои стремленья,
Мои безбурны небеса.
В блаженном свете вдохновенья
Какая радость и краса!

<21 октября 1896>

* * *

В пути томительном и длинном,
Влачась по торжищам земным,

Хоть на минуту стать невинным,
Хоть на минуту стать простым,

Хоть краткий миг увидеть Бога,
Хоть гневную услышать речь,
Хоть мимоходом у порога
Чертога Божия прилечь!

А там пускай затмится пылью
Святая Божия тропа,
И гнойною глумится былью
Ожесточенная толпа.

* * *

Скифские суровые дали,
Холодная, темная родина моя,
Где я изнемог от печали.
Где змея душит моего соловья!

Родился бы я на Мадагаскаре,
Говорил бы наречием, где много «а»,
Слагал бы поэмы о любовном пожаре,
О нагих красавицах на острове Самоа.

Дома ходил бы я совсем голый,
Только малою алою тканью бедра объяв,
Упивался бы я, бескрайно веселый,
Дыханьем тропических трав.

* * *

Благодарю тебя, перуанское зелие!
Что из того, что прошло ты фабричное ущелие!

Все же мне дарит твое курение
Легкое томное головокружение.

Слежу за голубками дыма и думаю:
Если бы я был царем Монтезумою,

Сгорая, воображал бы я себя сигарою,
Благоуханною, крепкою, старою.

Огненной пыткой вконец истомленному
Улыбнулась бы эта мечта полусожженному.

Но я не царь, безумно сожженный жестокими.
Твои пытки мне стали такими далекими.

Жизнь мне готовит иное сожжение.
А пока утешай меня, легкое тление,

Отгоняй от меня, дыхание папиросное,
Наваждение здешнее, сердцу несносное,

Подари мне мгновенное, зыбкое веселие.
Благословляю тебя, перуанское зелие!

<25 марта 1919>

* * *

Лежу и дышу осторожно
В приюте колеблемых стен.
Я верю, я знаю, как можно
Бояться внезапных измен.

Кто землю научится слушать,
Тот знает, как зыблемо здесь,

Как стены нетрудно обрушить
Из стройности в дикую смесь.

И вот предвещательной дрожью
Под чьей-то жестокой рукой
Дружится с бытийскою ложью
Летийский холодный покой.

* * *

Все земные дороги
В разделениях зла и добра,
Всеблаженные боги,
Только ваша игра!

Вы беспечны и юны,
Вам бы только играть,
И ковать золотые перуны,
И лучами сиять.

Оттого, что Вас трое,
Между Вами раздор не живет.
И одно, и другое,
К единению Воля ведет.

* * *

Когда с малютками высот
Я ополчался против гадов,
Ко мне пришел посланник адов.
Кривя улыбкой дерзкой рот,
Он мне сказал: «Мы очень рады,

Что издыхают эти гады, —
К Дракону сонм их весь взойдет.

И ты, когда придешь в Змеиный,
Среди миров раскрытый рай,
Там поздней злобою сгорай, —
Ты встретишь там весь сонм звериный.
И забавляться злой игрой
Там будет вдохновитель твой,
Он, вечно сущий, Он единый».

* * *

При ясной луне,
В туманном сиянии,
Замок снится мне
И в парчовом одеянии
Дева в окне.

Лютни печальной рыдания
Слышатся мне в отдалении.
Как много обаяния
В их пении!
Светит луна,
Дева стоит у окна
В грустном томлении.

Песня ей слышится.
Томно ей дышится.
Вечно одна,
Грустна, бледна, —
Ни подруги, ни матери нет.

Лунный свет
Сплетает
Чудные сны
И навевает
Жажду новизны.

Жизнь проводит тени в скуке повторений,
Грустно тени мрачные скользят.
Песни старых бед и новых сожалений
Загадочно звучат.

Звучат загадочно
Трепетные сны.
Бьется лихорадочно
Жажда новизны.
Желаний трепет,
Страсть новизны
И новизна страстей, —

Вот о чем печальной песни лепет
В сострадательном мерцании луны
Говорит тихонько ей
И в душе моей.

О.А. ГЛЕБОВОЙ-СУДЕЙКИНОЙ

Не знаешь ты речений скверных,
Душою нежною чиста.
Отрада искренних и верных —
Твои веселые уста.

Слова какие ж будут грубы,
Когда их бросит милый рок

В твои смеющиеся губы,
На твой лукавый язычок!

* * *

Я испытал превратности судеб
И видел много на земном просторе,
  Трудом я добывал свой хлеб,
  И весел был, и мыкал горе.

На милой, мной изведанной земле
Уже ничто теперь меня не держит,
  И пусть таящийся во мгле
  Меня стремительно повержет.

Но есть одно, чему всегда я рад
И с чем всегда бываю светло-молод, —
  Мой труд. Иных земных наград
  Не жду за здешний дикий холод.

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
  «Что сделал ты?» — меня он вниз
  Железным посохом не сбросит.

Скажу: «Слагал романы и стихи
И утешал, но и вводил в соблазны,
  И вообще мои грехи,
  Апостол Петр, многообразны

Но я — поэт». — И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье.
  И смело в рай войду, прощен,
  Внимать святое ликованье.

Не затеряется и голос мой
В хваленьях ангельских, горящих ясно.
  Земля была моей тюрьмой,
  Но здесь я прожил не напрасно.

Горячий дух земных моих отрав,
Неведомых чистейшим серафимам,
  В благоуханье райских трав
  Вольется благовонным дымом.

<8 апреля 1919>

* * *

Один свершаю долгий путь
И не хочу с него свернуть
Туда, где мечется толпа,
Самолюбива и тупа.

Для тех, кто хочет побеждать
И блага жизни отнимать,
Оставил долю я мою
И песню вольную пою.

* * *

Радуйся, радуйся, Ева,
Первая и прекраснейшая из жен!
Свирепый Адонаи
Лишил тебя земной жизни,
За то что ты преступила
Его неправый завет.
Свирепый Адонаи

Поразил твое нежное тело
И обрек его смерти,
Темной и смрадной, —
Но твое потомство
Населило землю.

Радуйся, радуйся, Ева,
Всеблагий Люцифер с тобою,
Люцифер с тобою и с нами!

Приветствуем Еву,
Мать человеческого рода.

Люцифер тебя создал
Дивными руками
Из сладкого сока
Благоуханнейших земных цветов.

Привет тебе, Ева,
Первая и прекраснейшая из жен!

Ты — первая святая жертва
Злого Адонаи,
Излившего свою ярость
На эту землю.

Привет тебе, Ева,
Преблагий Люцифер с тобою!

Он, злой Адонаи,
Обрек тебя смерти,
Тебя, и Адама,
И твое потомство,
Потому что ты носила

Под сердцем
Благословенный плод
Небесной любви.

Привет тебе
В радостях
И в печалях!

Злой Адонаи
Обрек тебя смерти, —
Но твое потомство
Он не мог уничтожить
Всею злостью
Буйных стихий.

Привет тебе, Ева,
Привет!

* * *

«Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

Прошлый раз тебя я видел, —
Ты был горд,
Кто ж теперь тебя обидел,
Бог иль черт?

«Хнык, хнык, хнык! —
Хныкать маленький привык. —

Ах, куда, куда ни скочишь,
Всюду ложь.

Поневоле, хоть не хочешь,
  Заревешь.

  Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

Что тебе чужие бредни,
  Милый мой,
Ведь и сам ты не последний,
  Крепко стой!

  «Хнык, хнык, хнык! —
Хныкать маленький привык. —

Знаю, надо бы крепиться,
  Да устал,
И придется покориться.
  Кончен бал!

  «Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

Ну так что же! Вот и нянька
  Для потех.
Ты на рот старухи глянь-ка, —
  Что за смех!

  «Хнык, хнык, хнык! —
Хныкать маленький привык. —

Этой старой я не знаю,
  Не хочу,
Но дверей не запираю,
  И молчу.

Хнык, хнык, хнык!» —
Хныкать маленький привык.

<5 сентября 1916
Княжнино>

* * *

Как же богат я слезами!
Падают с неба дождем,
Тихо струятся ручьями,
Бьют и сверкают ключом.

Только глазам недосужно
Слезы еще проливать,
Да и не нужно, не нужно
Солнечный свет затмевать.

* * *

Замолкнули праздные речи,
Молитвой затеплился храм,
Сияют лампады и свечи,
Восходит святой фимиам.

Возносим пасхальные песни
От слезно сверкающих рос.
Воскресни, воскресни,
Воскресни, Христос.

Вливаются светлые вести
В ответный ликующий стих;
К сберегшей венец свой невесте
Нисходит небесный Жених.

* * *

Печальный друг, мой путь не прокляни,
Лукавый путь веселого порока.
К чему влачить безрадостные дни?
Желания обуздывать жестоко.

Не хочешь ли загробного венца?
Иль на земле отрадна долговечность?
Греши со мной, люби мою беспечность, —
Нам далеко до темного конца.

Смотри, сняла я медленные платья
И радостной сияю наготой.
Познай любовь, познай мои объятья,
Насыть и взор, и душу красотой.

Настанет срок, прекрасное увянет,
Тогда молись и плачься о грехах,
И если плоть твоя грешить устанет,
Мечтай о счастье в вечных небесах.

* * *

Знаю знанием последним,
Что бессильна эта тьма,
И не верю темным бредням
Суеверного ума.

Посягнуть на правду Божью —
То же, что распять Христа,

Заградить земною ложью
Непорочные уста.

Но воскресший вновь провещит,
Будет жизнь опять ясна,
И, дымяся, затрепещет
Побежденный Сатана.

* * *

Мой милый друг! я прежде был
        Такой же, как и ты,
И простодушно я любил
        Весну, цветы, мечты.

Любил ночные небеса
        С задумчивой луной,
Любил широкие леса
        С их чуткой тишиной,

Мечтал один, и ждал один
        Каких-то светлых дней,
Каких-то сладостных годин
        И радостных огней.

* * *

Небо — моя высота,
Море — моя глубина.
Радость легка и чиста,
Грусть тяжела и темна.

Но, не враждуя, живут
Радость и грусть у меня,
Если на небе цветут
Лилии светлого дня, —

Волны одна за одной
Тихо бегут к берегам,
Радость царит надо мной,
Грусти я воли не дам.

Если же в тучах скользят
Змеи, звеня чешуей, —
Волны кипят и гремят,
Дерзкой играя ладьей,

Буйная радость дика,
Биться до смерти я рад,
Разбушевалась тоска,
Нет ей границ и преград.

КЛЕВЕТА

Лиловая змея с зелеными глазами,
Я все еще к твоим извивам не привык,
Мне страшен твой, с лукавыми речами,
Раздвоенный язык.

Когда бы в грудь мою отравленное жало
Вонзила злобно ты, не возроптал бы я.
Но ты всегда не жалом угрожала,
Коварная змея.

Медлительный твой яд на землю проливая
И отравляя им невинные цветы,

Шипела, лживая и неживая,
О гнусных тайнах ты.

Поднявши от земли твоим холодным ядом
Среди немых стволов зелено-мглистый пар,
Ты в кровь мою лила жестоким взглядом
Озноб и гнойный жар.

И лес, где ты ползла, был чудищами полон.
Дорога, где я шел, свивалася во мгле.
Ручей, мне воду пить, клубился, солон,
И мох желтел в золе.

* * *

Знаю правду, верю чуду
И внимаю я повсюду
Тихим звукам тайных сил.
Тот просвет в явленье всяком,
Что людей пугает мраком,
Я бесстрашно полюбил.

Я не ваш, я бесполезный.
Я иду над вечной бездной
Вдаль от блага и от зла.
Мне всегда несносно-чужды
Все земные ваши нужды,
Преходящие дела.

* * *

Зачем любить? Земля не стоит
Любви твоей.

Пройди над ней, как астероид,
Пройди скорей,

Среди холодной атмосферы
На миг блесни,
Яви мгновенный светоч веры
И схорони.

НИНЕ КАРАТЫГИНОЙ

Вы любите голые девичьи руки,
И томно на теле шуршащие бусы,
И алое, трепетно-знойное тело,
И животворящую, буйную кровь.

И если для сердца есть терпкие муки,
И совесть глубокие терпит укусы,
И только жестокость не знает предела,
Так что ж, и такою любите любовь.

* * *

Дай мне эфирное тело,
Дай мне бескровные вены!
К милому б я полетела,
Мимо затворы и стены!

Дай мне прозрачное тело, —
Сбросить бы тесные платья!
К милому б я полетела
Пасть, замирая, в объятья.

Дай мне крылатое тело,
Трепетно-знойные очи!
К милому б я полетела
Яркою молнией ночи.

* * *

Не думай, что это — березы,
А это — холодные скалы.
Все это — порочные души.

Печальны и смутны их думы,
И тягостна их неподвижность,
И нам они чужды навеки,
И люди вовек не узнают
Заклятой и страшной их тайны.

И мудрому только провидцу
Открыто их темное горе
И тайна их скованной жизни.

<29 августа 1897>

* * *

Как лук, натянутый не слишком туго,
Я животом и грудью встречу друга
И уж потом в объятья упаду.
Но и тогда, когда темны ресницы,
Я сохраню тот выгиб поясницы,
С которым я в дневных лучах иду.

Пряма в толпе, я вовсе не другая
И в час, когда пред ним лежу нагая,

Простершися во весь надменный рост.
С покорностью любовь не познакомит,
И обнимающий меня не сломит
Стремительного тела крепкий мост.

* * *

Под сению Креста рыдающая Мать.
Как ночь пустынная, мрачна Ее кручина.
Оставил Мать Свою, — осталось Ей обнять
Лишь ноги бледные измученного Сына.

Хулит Христа злодей, распятый вместе с Ним:
«Когда Ты Божий Сын, так как же Ты повешен?
Сойди, спаси и нас могуществом Твоим,
Чтоб знали мы, что Ты всесилен и безгрешен».

Любимый ученик сомнением объят,
И нет здесь никого, в печали или злобе,
Кто верил бы, что Бог бессильными распят
И встанет в третий день в Своем холодном гробе.

И даже Сам Христос, смутившись наконец,
Под гнетом тяжких дум и мук изнемогая,
Бессильным естеством медлительно страдая,
Воззвал: «Зачем меня оставил Ты, Отец!»

В Христа уверовал и Бога исповедал
Лишь из разбойников повешенных один.
Насилья грубого и алчной мести сын,
Он Сыну Божьему греховный дух свой предал.

И много раз потом вставала злоба вновь,
И вновь обречено на казнь бывало Слово,
И неожиданно пред ним горела снова
Одних отверженцев кровавая любовь.

* * *

Муж мой стар и очень занят, всё заботы и труды,
Ну а мне-то что за дело, что на фраке три звезды!
Только пасынок порою сердце мне развеселит,
Стройный, ласковый и нежный, скромный мальчик Ипполит.

Я вчера была печальна, но пришел любезный гость,
Я все горе позабыла, утопила в смехе злость.
Что со мной случилось ночью, слышал только Ипполит,
Но я знаю, скромный мальчик эту тайну сохранит.

Утром, сладостно мечтая, я в мой светлый сад вошла,
И соседа молодого я в беседку позвала.
Что со мной случилось утром, видел только Ипполит,
Но я знаю, скромный мальчик эту тайну сохранит.

В полдень где найти прохладу? Только там, где есть вода.
Покатать меня на лодке Ипполиту нет труда.
Что со мной случилось в полдень, знает только Ипполит.
Но, конечно, эту тайну скромный мальчик сохранит.

* * *

Все, что вокруг себя знаю, —
Только мистический круг.

Сам ли себя замыкаю
В темное зарево вьюг?

Или иного забавит
Ровная плоскость игры,
Где он улыбчиво ставит
Малые наши миры?

Знаю, что скоро открою
Близкие духу края.
Миродержавной игрою
Буду утешен и я.

* * *

Близ ключа в овраге
Девы-небылицы
Жили, нагло наги,
Тонки, бледнолицы.

Если здешний житель,
Сбившийся с дороги,
К ним входил в обитель,
Были девы строги.

Страхи обступали
Бедного бродягу
И его гоняли
По всему оврагу.

Из чужого ль края
Путник, издалеча,

Для того другая,
Ласковая встреча.

Вдруг на дне глубоком
Девы молодые,
С виноградным соком
Чаши золотые,

Светлые чертоги,
Мягкие ложницы,
В легкой пляске ноги
Голой чаровницы,

Звон и ликованье,
Радостное пенье,
Сладкое мечтанье,
Тихое забвенье.

* * *

Моя верховная Воля
Не знает внешней цели.
Зачем же Адонаи
Замыслил измену?
Адонаи
Взошел на престолы,
Адонаи
Требует себе поклоненья, —
И наша слабость,
Земная слабость
Алтари ему воздвигала.

Но всеблагий Люцифер с нами,
Пламенное дыхание свободы,
Пресвятой свет познанья,
Люцифер с нами,
И Адонаи,
Бог темный и мстящий,
Будет низвергнут
И развенчан
Ангелами, Люцифер, твоими,
Вельзевулом и Молохом.

* * *

Упрекай меня в чем хочешь,
Слез моих Ты не источишь,
И в последний, грозный час
Я пойду Тебе навстречу
И на смертный зов отвечу:
«Зло от Бога, не от нас!»

Он смесил с водою землю,
И смиренно я приемлю,
Как целительный нектар,
Это Божье плюновенье,
Удивительное бренье,
Дар любви и дар презренья,
Малой твари горний дар.

Этой вязкой, теплой тины,
Этей липкой паутины
Я сумел презреть полон.
Прожил жизнь я, улыбаясь,

Созерцаньям предаваясь,
Все в мечты мои влюблен.

Мой земной состав изношен,
И куда ж он будет брошен?
Где надежды? Где любовь?
Отвратительно и гнило
Будет все, что было мило,
Что страдало, что любило,
В чем живая билась кровь.

Что же, смейся надо мною!
Я слезы Твоей не стою,
Хрупкий делатель мечты.
Только знаю, Царь Небесный,
Что голгофской мукой крестной
Человек страдал, не Ты.

<28 мая 1914
Арчь>

* * *

На тихом берегу мы долго застоялись.
Там странные цветы нам сладко улыбались,
Лия томительный и пряный аромат.

Фелонь жреца небес прохладно голубела.
Долина томная зарею пламенела,
Ровна и холодна в дыханье горьких мят.

Донесся к нам наверх рожка призыв далекий.
Бренчали вдалеке кутасы мирных стад.

Какой забавный звон! В безмолвности широкой.
Янтарный звон зари смирил полдневный яд.

* * *

Грести устали мы, причалили
И вышли на песок.
Тебя предчувствия печалили,
Я был к тебе жесток.

Не верил я в тоску прощания,
Телесных полный сил,
Твою печаль, твое молчание
Едва переносил.

Безумный полдень, страстно дышащий,
Пьянящий тишину,
И ветер, ветви чуть колышащий
И зыблющий волну.

Завесой шаткой, обольстительной
Весь мир обволокли,
И грех мне сладок был пленительной
Прохладою земли.

МАРГРЕТА И ЛЕБЕРЕХТ
Шутливая песенка

С милой, ясной
Девой красной,
С этой бойкою Маргретой,

Знойным летом разогретой,
Песни пел в лесочке кнехт,
Разудалый Леберехт.

Звонко пели,
Как свирели.
Леберехт твердил Маргрете:
«Краше девки нету в свете!
Но, Маргрета, вот что знай:
Ты с другими не гуляй!»

Ах, Маргрета
В это ж лето,
Не нарочно, так, случайно,
С подмастерьем Куртом тайно
Обменяла поцелуй
На брегу веселых струй.

Но от кнехта
Леберехта
Не укрылася Маргрета, —
Леберехт все видел это.
Только лишь слились уста,
Леберехт из-за куста.

Курт умчался,
Кнехт остался.
Слов не тратил на угрозы.
Кнехту смех, а Грете слезы.
Но уж с той поры она
Кнехту так была верна!

Скоро с кнехтом
Леберехтом

Под венец пошла Маргрета.
Точно барышня одета, —
И уехал Леберехт
Вместе с Гретою в Утрехт.

‹19 июля 1914›

* * *

Новый человек во мне проснулся,
Свободный,
И радостно и чутко я на землю оглянулся,
Холодный.

Передо мной путей лежало разных
Так много,
Но чистая, средь многих злых и грязных,
Одна дорога.

* * *

В моих мечтах такое постоянство,
Какого в мире нет.
Весь мир — одно лишь внешнее убранство,
Одна мечта — и жизнь, и свет.

Мир не поймет мерцающего света,
Он только плоть, бездушная, как сон,
И в нем душа не обретет ответа, —
Молчаньем вечным скован он.

* * *

Кумир упал, разрушен храм,
И не дымится фимиам
Над пыльной грудою развалин.
Я в дальний путь иду, печален,
И не молюсь чужим богам.

Но если слышу я моленья,
Душа полна благоговенья,
И не с насмешкой брошу взгляд
На чуждый, суетный обряд,
А с тихой грустью умиленья.

* * *

Алый мак на желтом стебле,
Папиросный огонек.
Синей змейкою колеблясь,
Поднимается дымок.

Холодея, серый пепел
Осыпается легко.
Мой приют мгновенно-тепел,
И ничто не глубоко.

Жизнь, свивайся легким дымом!
Ничего уже не жаль.
Даль в тумане еле зрима, —
Что надежды! Что печаль!

Все проходит, все отходит,
Развевается, как дым;
И в мечтаньях о свободе
Улыбаясь, отгорим.

<20 марта 1919>

* * *

«Над землею ты высок,
Ярок, жарок и жесток,
Солнце, брат горящий наш,
Что возьмешь и что ты дашь?» —

«Унесу и принесу
За подарок лучший дар.
В чашу всю сберу росу,
Дам тебе живой загар.

Был ты робок, слаб и бел,
Будешь темен, тверд и смел;
Кровь смешаешь с влагой рос, —
Жаждет распятый Христос». —

«Солнце, наш горящий брат,
Низведи Христа с креста!
У твоих лазурных врат
Наша чаша налита».

* * *

Она безумная и злая,
Но хочет ласки и любви,

И сладострастие, пылая,
Течет, как яд, в ее крови.

На вид она совсем старуха,
Она согбенна и седа,
Но наущенья злого духа
Царят над нею навсегда.

Не презирай ее морщины,
Ее лобзаний не беги, —
Она посланница Судьбины.
Бессильны все ее враги.

* * *

Хотя сердца и ныне бьются верно,
    Как у мужей былых времен,
Но на кострах, пылающих безмерно,
    Мы не сжигаем наших жен.

И мертвые мы мудро миром правим:
    Благословив закон любви,
Мы из могилы Афродиту славим:
    «Живи, любимая, живи!»

И, если здесь оставленная нами
    Кольца любви не сбережет
И жадными, горящими устами
    К ночному спутнику прильнет, —

Не захотим пылающего мщенья,
    И, жертвенный отвергнув дым,

С улыбкою холодного презренья
Нам изменившую простим.

* * *

Забыв о счастье, о веселье,
Отвергнув равнодушный свет,
Один в своей унылой келье
Ты, чарователь и поэт.

Ты только сети сердцу вяжешь,
Печально голову клоня,
И все молчишь, и мне не скажешь
О том, как любишь ты меня.

А я — надменная царица.
Не знаю я свободных встреч.
Душна мне эта багряница,
Ярмо моих прекрасных плеч.

Бессильна я в томленьях страсти.
Соседний трон угрюмо пуст,
И только призрак гордой власти
Порой коснется алых уст.

О, если б снять венец двурогий,
И целовать, и обнимать!
Но все твердит мне кто-то строгий,
Что я — увенчанная мать.

* * *

Отражена в холодном зеркале,
Стою одна.
Вон там, за зеркалом, не дверка ли
В углу видна?

Я знаю, — там, за белой кнопкою,
Пружина ждет.
Нажму ль ее рукою робкою,
Открою ль ход?

Светлы мои воспоминания,
Но мне острей ножа.
Отвергла я вчера признания
Румяного пажа.

Упасть бы мне в его объятия!
Но нет! О нет! О нет!
Милее мне одно пожатие
Твоей руки, поэт!

* * *

На небе лунный рдеет щит, —
То не Астольф ли ночью рыщет,
Коня крылатого бодрит
И дивных приключений ищет?

Вон тучка белая одна, —
Не у скалы ли Анжелика
Лежит в цепях, обнажена,
Трепеща рыцарского лика?

И вот уж месяц рядом с ней, —
То не оковы ль рассекает
Астольф у девы и скорей,
Скорей с прекрасной улетает?

* * *

На разноцветных камнях мостовой
  Трепещут сизые голубки;
  На тротуаре из-под юбки,
Взметаемой походкой молодой,

  Сверкают маленькие пряжки,
Свинцовой отливая синевой,
И, словно угрожая нам бедой,
  Ломовиков копыта тяжки, —

Разрозненной, но все-таки слитой,
  Черты одной и той же сказки,
  Она стремление коляски
Обвеет легкой, хрупкой красотой.

* * *

Ты не весел и не болен,
Ты такой же, как и я,

Кем-то грубо обездолен
В дикой схватке бытия.

У тебя такие ж руки,
Как у самых нежных дам, —
Ими ты мешаешь муки
С легкой шуткой пополам.

У тебя такие ж ноги,
Как у ангелов святых, —
Ты на жесткие дороги,
Не жалея, гонишь их.

У тебя глаза такие ж,
Как у тех, кто ценит миг, —
Ты их мглой вечерней выешь
Над печатью старых книг.

Всем гетерам были б сладки
В тихий час твои уста,
Но темней ночной загадки
Их немая красота.

Ты не весел, не печален,
Ты, похожий на меня,
Тою ж тихою ужален
В разгорании огня.

* * *

Так величавы сосны эти,
В лесу такая тишина,

А мы шумливее, чем дети.
Как будто выпили вина.

Мы веселимся и ликуем,
В веселии создавши рай,
И наших девушек волнуем
Прикосновеньем невзначай.

Из сборника

«СОБОРНЫЙ БЛАГОВЕСТ»

РОССИЯ

Еще играешь ты, еще невеста ты.
Ты, вся в предчувствии высокого удела,
Идешь стремительно от роковой черты,
И жажда подвига в душе твоей зардела.

Когда поля твои весна травой одела,
Ты в даль туманную стремишь свои мечты,
Спешишь, волнуешься, и мнешь, и мнешь цветы
Таинственной рукой из горнего предела

Рассыпанные здесь, как дар благой тебе.
Вчера покорная медлительной судьбе,
Возмущена ты вдруг, как мощная стихия,

И чувствуешь, что вот пришла твоя пора,
И ты уже не та, какой была вчера,
Моя внезапная, нежданная Россия.

12 марта 1915

ШВЕЯ

Нынче праздник. За стеною
Разговор веселый смолк.

Я одна с моей иглою,
Вышиваю красный шелк.

Все ушли мои подруги
На веселый свет взглянуть,
Скоротать свои досуги,
Забавляясь как-нибудь.

Мне веселости не надо.
Что мне шум и что мне свет!
В праздник вся моя отрада,
Чтоб исполнить мой обет.

Все, что юность мне сулила,
Все, чем жизнь меня влекла,
Все судьба моя разбила,
Все коварно отняла.

«Шей нарядные одежды
Для изнеженных госпож!
Отвергай свои надежды!
Проклинай их злую ложь!»

И в покорности я никла,
Трепетала, словно лань,
Но зато шептать привыкла
Слово гордое: восстань!

Белым шелком красный мечу,
И сама я в грозный бой
Знамя вынесу навстречу
Рати вражеской и злой.

5 августа 1905

ЗЕМЛЕ

В блаженном пламени восстанья,
Моей тоски не утоля,
Спешу сказать мои желанья
Тебе, моя земля.

Производительница хлеба,
Разбей оковы древних меж
И нас, детей святого неба,
Простором вольности утешь.

Дыханьем бури беспощадной,
Пожаром ярым уничтожь
Заклятья собственности жадной,
Заветов хитрых злую ложь.

Идущего за тяжким плугом
Спаси от долга и от клятв
И озари его досугом
За торжествами братских жатв.

И засияют светлой волей
Труда и сил твои поля
Во всей безгранности раздолий
Твоих, моя земля.

20 ноября 1905

* * *

День безумный, день кровавый
Отгорел и отзвучал.

Не победой, только славой
Он героев увенчал.

Кто-то плачет, одинокий,
Над кровавой грудой тел.
Враг народа, враг жестокий
В битве снова одолел.

Издеваясь над любовью,
Хищный вскормленник могил,
Он святою братской кровью
Щедро землю напоил.

Но в ответ победным крикам
Восстает, могуч и яр,
В шуме пламенном и диком
Торжествующий пожар.

Грозно пламя заметалось,
Выметая, словно сор,
Все, что дерзко возвышалось,
Что сулило нам позор.

В гневном пламени проклятья
Умирает старый мир.
Славьте, други, славьте, братья,
Разрушенья вольный пир!

22 ноября 1905

* * *

Великого смятения
Настал заветный час.

Заря освобождения
Зажглася и для нас.

Недаром наши мстители
Восходят чередой.
Оставьте же, правители,
Губители, душители

Страны моей родной,
Усилия напрасные
Спасти отживший строй.
Знамена веют красные

Над шумною толпой,
И речи наши вольные
Угрозою горят.
И звоны колокольные
Слились в набат!

11 ноября 1905

ИСКАЛИ ДОЧЬ

Печаль в груди была остра,
Безумна ночь, —
И мы блуждали до утра,
Искали дочь.

Нам запомнилась навеки
Жутких улиц тишина,
Хрупкий снег, немые реки,
Дым костров, штыки, луна.

Чернели тени на огне
Ночных костров.

Звучали в мертвой тишине
        Шаги врагов.

Там, где били и рубили,
У застав и у палат,
Что-то чутко сторожили
Цепи хмурые солдат.

Всю ночь мерещилась нам дочь,
        Еще жива,
И нам нашептывала ночь
        Ее слова.

По участкам, по больницам
(Где пускали, где и нет)
Мы склоняли к многим лицам
Тусклых свеч неровный свет.

Бросали груды страшных тел
        В подвал сырой.
Туда пустить нас не хотел
        Городовой.

Скорби пламенной язык ли,
Деньги ль дверь открыли нам,—
Рано утром мы проникли
В тьму, к поверженным телам.

Ступени скользкие вели
        В сырую мглу, —
Под грудой тел мы дочь нашли
        Там, на полу.

25 ноября 1905

* * *

Тяжелыми одеждами
Закрыв мечту мою,
Хочу я жить надеждами,
О счастии пою.

Во дни святого счастия
Возникнет над землей
Великого безвластия
Согласный, вечный строй.

Не будет ни царящего
Надменного меча,
Ни мстящего, разящего
Безжалостно бича.

В пыли не зашевелится
Вопрос жестокий: чье?
И в сердце не прицелится
Безумное ружье.

Поверженными знаками
Потешится шутя
В полях, шумящих злаками,
Веселое дитя.

17 ноября 1905

* * *

Я спешил к моей невесте
В беспощадный день погрома.

Всю семью застал я вместе
        Дома.

Все лежали в общей груде...
Крови темные потоки...
Гвозди вбиты были в груди,
        В щеки.

Что любовью пламенело,
Грубо смято темной силой...
Пронизали гвозди тело
        Милой...

22 июня 1906

* * *

        Догорало восстанье, —
Мы врагов одолеть не могли, —
        И меня на страданье,
На мучительный стыд повели.

        Осудили, убили
Победители пленных бойцов,
        А меня обнажили
Беспощадные руки врагов.

        Я лежала нагая,
И нагайками били меня,
        За восстанье отмщая,
За свободные речи казня.

        Издевался, ругался
Кровожадный насильник и злой

И смеясь забавлялся
Беззащитной моей наготой.

Но безмерность мученья
И позора мучительный гнет
Неизбежности мщенья
Не убьет и в крови не зальет.

Дни безумия злого
Сосчитал уж стремительный рок
И восстанья иного
Пламенеющий день недалек.

27 июня 1906

ЖАЛОСТЬ

Пришла заплаканная жалость
И у порога стонет вновь:
«Невинных тел святая алость!
Детей играющая кровь!

За гулким взрывом лютой злости
Рыданья детские и стон.
Страшны изломанные кости
И шепот робкий: «Это — сон?»

Нет, надо мной бессильно жало
Твое, о жалость! Помню ночь,
Когда в застенке умирала
Моя замученная дочь.

Нагаек свист и визг мучений,
Нагая дочь и злой палач, —

Все помню. Жалость, в дни отмщений
У моего окна не плачь!

14 августа 1906

ПАРИЖСКИЕ ПЕСНИ

I

Раб французский иль германский
Все несет такой же гнет,
Как в былые дни спартанский,
Плетью движимый, илот,

И опять его подруга,
Как раба иных времен,
Бьется в петлях, сжатых туго,
Для утех рантьерских жен.

Чтоб в театр национальный
Приезжали, в Opéra,
Воры бандою нахальной,
Коротая вечера, —

Чтоб огни иллюминаций
Звали в каждый ресторан
Сволочь пьяную всех наций
И грабителей всех стран, —

Ты во дни святых восстаний
Торжество победы знал,
И, у стен надменных зданий
Умирая, ликовал.

Годы шли, — теперь взгляни же
И пойми хотя на миг,
Кто в Берлине и в Париже
Торжество свое воздвиг.

II

Здесь и там вскипают речи,
Смех вскипает здесь и там.
Матовы нагие плечи
Упоенных жизнью дам.
Сколько света, блеска, аромата!
Но кому же этот фимиам?
Это — храм похмелья и разврата,
Храм бесстыдных и продажных дам.

Вот летит за парой пара,
В жестах отметая стыд,
И румынская гитара
Утомительно бренчит.
Скалят зубы пакостные франты,
Тешит их поганая мечта, —
Но придут иные музыканты,
И пойдет уж музыка не та,

И возникнет в дни отмщенья,
В окровавленные дни,
Злая радость разрушенья,
Облеченная в огни.
Все свои тогда свершит угрозы
Тот, который ныне мал и слаб,
И кровавые рассыплет розы
Здесь, на эти камни, буйный раб,

23 мая 1914
Париж

* * *

Есть вдохновенье и любовь
И в этой долго длимой муке.
Люби трудящиеся руки
И проливаемую кровь.

Из пламени живого слитый,
Мы храм торжественный творим,
И расточается, как дым,
Чертог коснеющего быта.

14 апреля 1915

В ЭТОТ ЧАС

В этот час, когда грохочет в темном небе грозный гром,
В этот час, когда в основах сотрясается наш дом,
В этот час, когда в тревоге вся надежда, вся любовь
И когда сильнейший духом беспокойно хмурит бровь,
В этот час стремите выше, выше гордые сердца, —
Наслаждается победой только верный до конца,
Только тот, кто слепо верит, хоть судьбе наперекор,
Только тот, кто в мать не бросит камнем тягостный укор.

28 июня 1915

* * *

Не презирай хозяйственных забот,
Люби труды серпа в просторе нивы,
И пыль под колесом, и скрип ворот,
И благостные кооперативы.

Не говори: «Копейки и рубли!
Завязнуть в них душой — такая скука!»
Во мгле морей прекрасны корабли,
Но создает их строгая наука.

Молитвы и мечты живой сосуд,
Господень храм, чертог высокий Отчий,
Его внимательно расчислил зодчий,
Его сложил объединенный труд.

А что за песни спят еще в народе!
Какие силы нищета гнетет!
Не презирай хозяйственных забот, —
Они ведут к восторгу и к свободе.

11 июля 1915

* * *

Тяжелый и разящий молот
На ветхий опустился дом.
Надменный свод его расколот,
И разрушенье словно гром.

Все норы самовластных таин
Раскрыл ликующий поток,
И если есть меж нами Каин,
Бессилен он и одинок.

И если есть средь нас Иуда,
Бродящий в шорохе осин,
То и над ним всевластно чудо,
И он мучительно один.

Восторгом светлым расторгая
Змеиный ненавистный плен,
Соединенья весть благая
Создаст ограды новых стен.

В соединении — строенье,
Великий подвиг бытия.
К работе бодрой станьте, звенья
Союзов дружеских куя.

Назад зовущим дети Лота
Напомнят горькой соли столп.
Нас ждет великая работа
И праздник озаренных толп.

И наше новое витийство,
Свободы гордость и оплот,
Не на коварное убийство,
На подвиг творческий зовет.

Свободе ль трепетать измены?
Дракону злому время пасть.
Растают брызги мутной пены,
И только правде будет власть!

15 марта 1917

* * *

Народ торжественно хоронит
Ему отдавших жизнь и кровь,
И снова сердце стонет,
И слезы льются вновь.

Но эти слезы сердцу милы,
Как мед гиметских чистых сот.
Над тишиной могилы
Свобода расцветет.

22 марта 1917

* * *

Самый ясный праздник года —
День, когда несет в народ свобода
Первомайский милый цвет.

Развевающимся ало
Знаменам Интернационала
Утро года шлет привет.

Высоко поднявши знамя,
Проходите дружными рядами
С грозным вызовом судьбе.

Разделение — лукаво.
Лишь в одном свое найдешь ты право, —
В единенье и борьбе.

17 апреля 1917

* * *

Разрушать гнезда не надо.
Разгонять не надо стадо.
Бить, рубить. топтать и жечь, —
Это — злое вражье дело.

В ком заря любви зардела,
Тот стремится уберечь
Все, что светлой жизни радо,
Все, что слышит Божью речь.

Что живет по слову Божью,
Не пятнай людскою ложью,
Дни свои трудам отдай.
Вопреки земным досадам
Сотвори цветущим садом
Голый остров Голодай.
Над смиренной русской рожью
Храм вселенский созидай.

Разрушения не надо.
Все мы, люди, Божье стадо,
Каждый сам себе хорош.
Кто нам, дерзкий, руки свяжет?
Кто уверенно нам скажет,
Что в нас правда, что в нас ложь?
В кущах созданного сада
Правду сам себе найдешь.

1918

* * *

Плачет безутешная вдова,
Бледный лик вуалью черной кроя.
Что мои утешные слова
Для подруги павшего героя!

Для нее и той отрады нет,
Чтоб склониться тихо над могилой.
Не обряжен к смерти, не отпет,
Где-то брошен в яму, тлеет милый.

Истощатся злые времена,
Над землей заря иная встанет,
А теперь смятенная страна
За нее погибших не вспомянет.

Как же могут бедные слова
Боль стереть о гибели героя!
Плачет безутешная вдова,
Бледный лик вуалью черной кроя.

30 мая 1920

* * *

В лунном озарении,
В росном серебре
Три гадают отрока
На крутой горе.

Красный камень на руку
Положил один, —
Кровь переливается
В глубине долин.

Красный камень на руку
Положил второй, —

Пламя полыхается
В стороне родной.

Красный камень на руку
Третий положил, —
Солнце всходит ясное,
Вестник юных сил.

Странник, пробиравшийся
Ночью на восток,
Вопрошает отроков:
«Кто уставит срок?»

Отвечают отроки:
«Божий человек,
Мечут жребий ангелы,
День, и год, и век.

В землю кровь впитается,
Догорит огонь,
Колесницу вывезет
В небо светлый конь».

Январь 1920

БАЛЛАДА О ВЫСОКОМ ДОМЕ

Дух строителя немеет,
Обессиленный в подвале.
Выше ветер чище веет,
Выше лучше видны дали,
Выше, ближе к небесам.

Воплощенье верной чести,
Возводи строенье выше
На высоком, гордом месте,
От фундамента до крыши
Все открытое ветрам.
Пыль подвалов любят мыши,
Вышина нужна орлам.

Лист, ногою смятый, тлеет,
На песке томясь в печали.
Крот на свет взглянуть не смеет,
Звезды не ему мерцали.
Ты всходи по ступеням,
Слушай радостные вести,
Притаившись в каждой нише,
И к ликующей невесте
Приникай все ближе, тише,
Равнодушный к голосам
Петуха, коня и мыши.
Высота нужна орлам.

Сердце к солнцу тяготеет,
Шумы жизни замолчали
Там, где небо пламенеет,
Туч расторгнувши вуали.
Посмотри в долину, — там
Флюгер маленький из жести,
К стенкам клеятся афиши,
Злость припуталася к лести,
Люди серые, как мыши,
Что-то тащат по дворам.
Восходи же выше, выше,
Высота нужна орлам.

П о с л а н и е:
Поднимай, строитель, крыши
Выше, выше к облакам.
Пусть снуют во мраке мыши,
Высота нужна орлам.

14 июля 1920

Из сборника

«КОСТЕР ДОРОЖНЫЙ»

Внешний круг

ПЕРЕКРЕСТОК

Не знаю, почему опять влечет меня
 На тот же перекресток.
Иду задумчиво, и шум разгульный дня
 Мне скучен так и жесток.

Потрясена душа стремительной тоской,
 Тревогой суетливой,
И, как зловещий гром, грохочет надо мной
 Шум гулкий и гульливый.

Несется предо мной, как зыбкая волна,
 Толпа, толпу сменяя,
Тревожа душу мне, но обаянье сна
 От сердца не сгоняя.

Очарователь сон потупленный мой взор
 Волшебствами туманит,
И душу манит в даль, в пленительный простор,
 И сердце сладко ранит.

Но что мне грезится и что меня томит,
 Рождаясь, умирает, —
С безбрежной вечностью печальный сон мой слит,
 А жизнь его не знает.

И вот очнулся я и вижу, что стою
        На месте первой встречи,
Стараюсь выразить всю грусть, всю скорбь мою,
        Кипят на сердце речи, —

Но нет ее нигде, и я стою один
        В растерянности странной,
Как будто не пришел мой жданный властелин
        Иль спутник постоянный.

КАК ЗВЕЗДА

Видишь, милое дитя,
Как звезда горит над нами,
Между мелких звезд блестя
Разноцветными огнями?

Пусть бы жизнь твоя была,
Как звезда небес далеких,
Разноцветна и светла
Светом радостей высоких,

И осталась бы чиста,
Как звезда, краса ночная,
Гордых мыслей красота,
Не тускнея, не сгорая.

ДАЧНЫЕ МАЛЬЧИКИ

Босые, в одежде короткой,
Два дачные мальчика шли

С улыбкою милой и кроткой,
Но злой разговор завели.

«Суровских не видно здесь лавок.
Жуков удалось наловить,
Боюсь, не достанет булавок,
А папу забыл попросить». —

«Хотел бы поймать я кукушку
И сделать кукушкин скелет,
А то подарили мне пушку,
Скелета же птичьего нет». —

«Да сделать приятно скелетик,
Да пушкою птиц не набьешь.
Мне тетя сказала: «Букетик
Цветов полевых принесешь». —

«Ну что же, нарвем для забавы,
Хоть это немножко смешно». —
«Смотри-ка, вон там, у канавы,
Вон там, полевее, пятно.

Вон скачет, какая-то птица». —
«О, птица! А как ее звать?
Сорока?» — «Ворона». — «Синица!»
И стали камнями швырять.

БЕСЕДКА

Музыка мирно настроила
Нервы на праздничный лад.
Душу мою успокоила
Тень, обласкавшая сад.

Нет никого здесь. Беседкою
Старые липы сошлись,
Гибкою, зыбкою сеткою
Длинные ветки сплелись.

Там, за полями зелеными,
Алая пышет заря.
Музыка стройными стонами
Льется, зарею горя.

Знаю, чьи руки проворные
Звонкую будят рояль.
Знаю, чьи очи покорные
Смотрят мечтательно вдаль.

Знаю, чьи ноги поспешные
Скоро в мой сад прибегут,
Чьи поцелуи утешные
Губы мои обожгут,

Чье молодое дыхание
Радость мою возродит.
Сладкой тоской ожидания
Чуткое сердце болит.

РОЗА И ДЕВА

В томно-нагретой теплице
Алая роза цветет;
Рядом, в высокой светлице
Юная дева живет.

Роза, как дева-соседка,
Никнет, грустна и больна;
Юная дева нередко
Плачет, оставшись одна.

Розе мечтается поле,
Солнце, сияющий луг,
Деве — лазурная воля,
Счастье и любящий друг.

Роза сквозь окна теплицы
Видит простой василек,
А под окошком девицы
Бедный поет пастушок.

Краше цветков ароматных
Розе цветок полевой,
Лучше блестящих и знатных
Деве красавец босой.

ВЗЛЕТАЮЩИМ

Хотя б вы нам и обещали
Завоевание луны,
Но все еще небес скрижали
Для ваших крыл запрещены.

И все еще безумство радо
Ковать томительные сны
Над плитами земного ада
Под гулы тусклой глубины.

И все еще разумной твари
Века неволи суждены —
Томиться в длительном угаре
Всегда сжигаемой весны.

ДОДО

Бедная птица Додо!
Где ты построишь гнездо?

Было уютно в гнездышке старом, —
Сгублена роща ярым пожаром.

Птенчиков огненный шквал
Горькой золой заметал.

Весело было в гнездышке милом, —
Стала вся роща полем унылым.

Будет над рощей летать
И без конца тосковать

Бедная птичка! Только ль привычка —
Каждое утро писк-перекличка?

Плачет росою туман,
Сердце багряно от ран,

И под золою, пыль доедая,
Бегают искры, стая живая.

Бедная птица Додо!
Где же совьешь ты гнездо?

ПЕВИЦЕ

О.Н. Бутомо-Названовой

О, если б в наши дни гоненья,
Во дни запечатленных слов,
Мы не слыхали песнопенья
И мусикийских голосов,

Как мы могли бы эту муку
Безумной жизни перенесть!
Но звону струн, но песен звуку
Еще простор и воля есть.

Ты, вдохновенная певица,
Зажги огни и сладко пой,
Чтоб песня реяла, как птица,
Над очарованной толпой,

А я прославлю звук звенящий,
Огонь ланит, и гордый взор,
И песенный размах, манящий
На русский сладостный простор!

Я ЛЮБИЛА

«Я любила, я любила,
Потому и умерла».
Как заспорить с любой милой,
Как сказать: «С ума сошла!»

«Мне покойно в белом гробе.
Хорошо, что здесь цветы.

Погребенья час не пробил.
И еще со мною ты.

Все минувшее бесследно.
Я — совсем уже не та,
Но не бойся любы бледной.
Поцелуй мои уста.

Были пламенны и алы.
Вот, — недвжны и бледны.
Милый, пей их нежный холод,
Снова тки, как прежде, сны.

Не хочу, чтоб скоро умер, —
Мне одной пускаться в путь,
Без тебя в прохладном доме
Хоть немного отдохнуть.

Я любила, я любила,
Оттого и умерла».
Как заспорить с любой милой,
Как сказать: «С ума сошла!

Здесь не гроб, а только койка,
Не кладбище, желтый дом».
Вдруг запела: «Гайда, тройка!
Снег пушистый, мы вдвоем!»

ИОАНН ГРОЗНЫЙ

Сжигаемый пламенной страстью,
Мечтатель, творец и тиран,

Играя безмерною властью,
Царил на Руси Иоанн.

Он крепко слился поцелуем
С тобой, проливающей кровь,
Тобой он был пьяно-волнуем,
О жизнь! О безумство-любовь!

Он смертных покоев не ведал,
Он знал только прелести мук
И жертвам терзаемым не дал
Отрады покойных разлук.

Чтоб мертвых тревожить, синодик
Кровавая память вела,
Стремя его вечно к свободе,
К азийской несдержности зла.

А просто, — он был неврастеник,
Один из душевнобольных.
В беспутной глуши деревенек
Таится немало таких.

НАВЕКИ ТЕМНЫЙ

Кто-то, черный и покорный, кнопку повернул,
И хрусталь звенящим блеском встретил зыбкий гул.

Здесь когда-то, кто-то ясно пировал,
И когда-то, кто-то сердце заковал.

Легкая русалка заглянула к ним в окно, —
Кто-то вздрогнул и подумал: «Все равно».

И отвел глаза от заоконной темноты,
И смотрел, навеки темный, на вино и на цветы.

АСТЕРОИД

В путях надмарсовых стремлюсь вкруг солнца я,
Земле неведомый и темный астероид.
Расплавленный металл — живая кровь моя,
И плоть моя — трепещущий коллоид.

Приникнуть не могу к тебе, земной двойник,
Отвеян в пустоту дыханием Дракона.
Лишь издали гляжу на солнцев светлый лик,
И недоступно мне земное лоно.

Завидую тебе: ты волен, слабый друг,
Менять свои пути, хотя и в малом круге,
А мой удел — чертить все тот же вечный круг
Все в той же бесконечно-скучной вьюге.

Путь

ПЕРНАТАЯ СТРЕЛА

Для тебя, ликующего Феба,
Ясны начертанья звездных рун.
Светлый бог! ты знаешь тайны неба,
Движешь солнцы солнц и луны лун.

Что тебе вся жизнь и все томленье
На одной из зыблемых земель!

Но и мне ты даришь вдохновенье,
Завиваешь Вакхов буйный хмель,

И мечтой нетленной озлатило
Пыльный прах на медленных путях
Солнце, лучезарное светило,
Исера ясная в твоих кудрях.

От тебя, стремительного бога,
Убегают, тая, силы зла,
И твоя горит во мне тревога.
Я — твоя пернатая стрела.

Мне ты, Феб, какую цель наметил,
Как мне знать и как мне разгадать!
Но тобою быстрый лёт мой светел,
И не мне от страха трепетать.

Пронесусь над косными путями,
Прозвучу, как горняя свирель,
Просияю зоркими лучами
И вонжусь в намеченную цель.

ПО ПЕСКАМ ПУСТЫНЬ

Облака плывут и тают,
Небеса горят, сияют,
Растворяют облака.
Солнце к отдыху стремится.
Ясный свет его струится,
Безнадежный, как тоска.

Темный странник, в край далекий,
В край неведомых святынь,

Прохожу я, одинокий,
По пескам немых пустынь

И за пыльными столбами
Напряженными глазами
Различаю ту страну,
Где я радостно усну.

ПРОСЕЛОК

Вьется предо мною
Узенький проселок.
Я бреду с клюкою.
Тяжек путь и долог.

Весь в пыли дорожной,
Я бреду сторонкой,
Слушая тревожно
Колокольчик звонкий.

Не глушимый далью,
Гул его несется,
Жгучею печалью
В сердце отдается.

Воздух полон гула,
И дрожит дорога.
Ах, хоть бы уснула
Ты, моя тревога!

ДРУГУ НЕВЕДОМОМУ

О друг мой тайный,
Приди ко мне
В мечте случайной
И в тишине.

В мою пустыню
Сойди на миг,
Чтоб я святыню
Твою постиг.

В бездушном прахе
Моих путей,
В тоске да в страхе
Безумных дней,

В одежде пыльной,
Сухой тропой
Иду, бессильный,
Едва живой.

Но весь жестокий
Забуду путь,
Лишь ты, далекий,
Со мной побудь,

Явись мне снова
В недолгом сне
И только слово
Промолви мне.

СУДЬБЕ ПОСЛУШЕН

К утехам равнодушен,
В толпе смирен и тих,
Судьбе я все послушен
В скитаниях моих,

И, если ворон черный
Пророчит мне беду,
Предвестию покорный
Я злым путем иду

И, если злобным взором
Весь день мой омрачен
Иль вражьим наговором
Мой след заворожен,

Не смею, не умею
Беду разворожить,
Веселым быть не смею,
Не смею не тужить.

НОЧНАЯ ЖАЛОБА

Долго играла заря и смеялася,
Вся золотая, багровая, алая,
Ярым пожаром в реке отражалася,
И побледнела, и никнет, усталая.

Чутко иду я тропинкой знакомою
Между кустами в долину глубокую,
И над рекою с тоскливой истомою
Жду я прекрасную, ночь звездоокую.

Там, где журчала под утлою лодкою
Речка, целуясь с прибрежными лозами,
Там я слюбился с красавицей кроткою,
Там я сдружился с весенними грезами.

С неба спускается ночка желанная.
Всех усыпила, ревниво-стыдливая.
Всю ее кроет одежда туманная.
Еле видна мне улыбка счастливая.

Тихо прильнула, осыпала ласками,
Круг очертила мечтами согласными,
Нежно играет прозрачными масками,
Кротко сверкает зарницами ясными.

Что же не молкнут тревоги сердечные?
Нет им забвения, нет утоления.
Жалобы вечные и бесконечные, —
Слушай же, ночь, заунывное пение.

Знаю, заплачешь полночными росами,
Знаю, уйду от тебя опечаленный,
Теми же злыми, больными вопросами
Весь отуманенный и пережаленный.

ЗВЕЗДАМ

В небе звезды ярко блещут,
Дали светом осиянны.
Мысль моя летит с тоскою
В те неведомые страны,

Где сияют эти звезды
Где толпы миров кружатся,
И напрасные вопросы
На душе моей родятся:

Есть ли там такие ж люди?
Правят так же ль ими страсти?
Так же ль дики там и злобны
Бед бессмысленных напасти?

ОЗЕРО

Спокойно озеро, широко,
Как чаша, полная водой,
Зарей подернуто с востока,
Хранит пленительный покой.

Одета дымкой розоватой,
Не шелохнется осока.
Туманом скрыта, словно ватой,
Вдаль убегавшая река.

Прилив бодрящей, свежей сырости
Отрадно душу веселит.
Казалось, где б тревоге вырасти, —
А все ж она томит,

Томит отравой сладко-горькой,
Слезами кроет даль,
И я, любуясь алой зорькой,
Сам не пойму, о чем печаль.

Хочу ль сказать я солнцу: «Брызни
В туман потоками лучей
И жарким веянием жизни
Тишь приумолкшую обвей?»

Иль жалко мне, что обаяние
Прохлады утренней сбежит
И солнца гордого сияние
Опять глаза мне утомит?

АРИАДНА

Где ты, моя Ариадна?
Где твой волшебный клубок?
Я в Лабиринте блуждаю,
Я без тебя изнемог.

Светоч мой гаснет, слабея,
Полон тревоги, стою
И призываю на помощь
Мудрость и силу твою.

Много дорог здесь, но света
Нет, и не видно пути.
Страшно и трудно в пустыне
Мраку навстречу идти.

Жертв преждевременных тени
Передо мною стоят.
Страшно зияют их раны,
Мрачно их очи горят.

Голос чудовища слышен
И заглушает их стон.
Мрака, безумного мрака
Требует радостно он.

Где ж ты, моя Ариадна?
Где путеводная нить?
Только она мне поможет
Дверь Лабиринта открыть.

ЧЕРЕДА

По тощим нивам бытия
Влачатся две жены,
Смерть впереди,
Жизнь позади.

Из них одна лишь смерть вольна,
А жизнь идет рабой
За нею вслед.
Ей воли нет.

И смерть могучею рукою
Ломает все и мнет.
Что бросит смерть,
То жизнь берет.

ТИШИНА

Земным не прельщайся,
Земные надежды губи,

От жизни отвращайся
И смерть возлюби.

Не обманет она,
В ней утешение, —
Тишина;
Забвение.

УТЕШАЮЩИЙ СВЕТ

В темный час на иконы
Безнадежно гляжу,
И закрыты каноны,
И молитв не твержу.

Безобразны и дики
Впечатления дня.
Бестревожные лики,
Утешайте меня!

От бесстрастного взора
Прямо в душу мою
Я греха и позора
Никогда не таю.

Не от мира исходит
Утешающий свет,
И не к жизни приводит
Нерушимый завет.

Что мне мир. Он осудит
Иль хвалой оскорбит.

Темный путь мой пребудет
Нелюдим и сокрыт.

Предел

СВЕТЛЫЙ ЛИК

Порой гордыни дух лукавый
Своим крылом души коснется,
И злоба мстительной отравой
В душе надменной разольется,

И затемняется сознанье
Неправды тягостною мглою.
Но лишь одно воспоминанье
В моей душе взойдет зарею, —

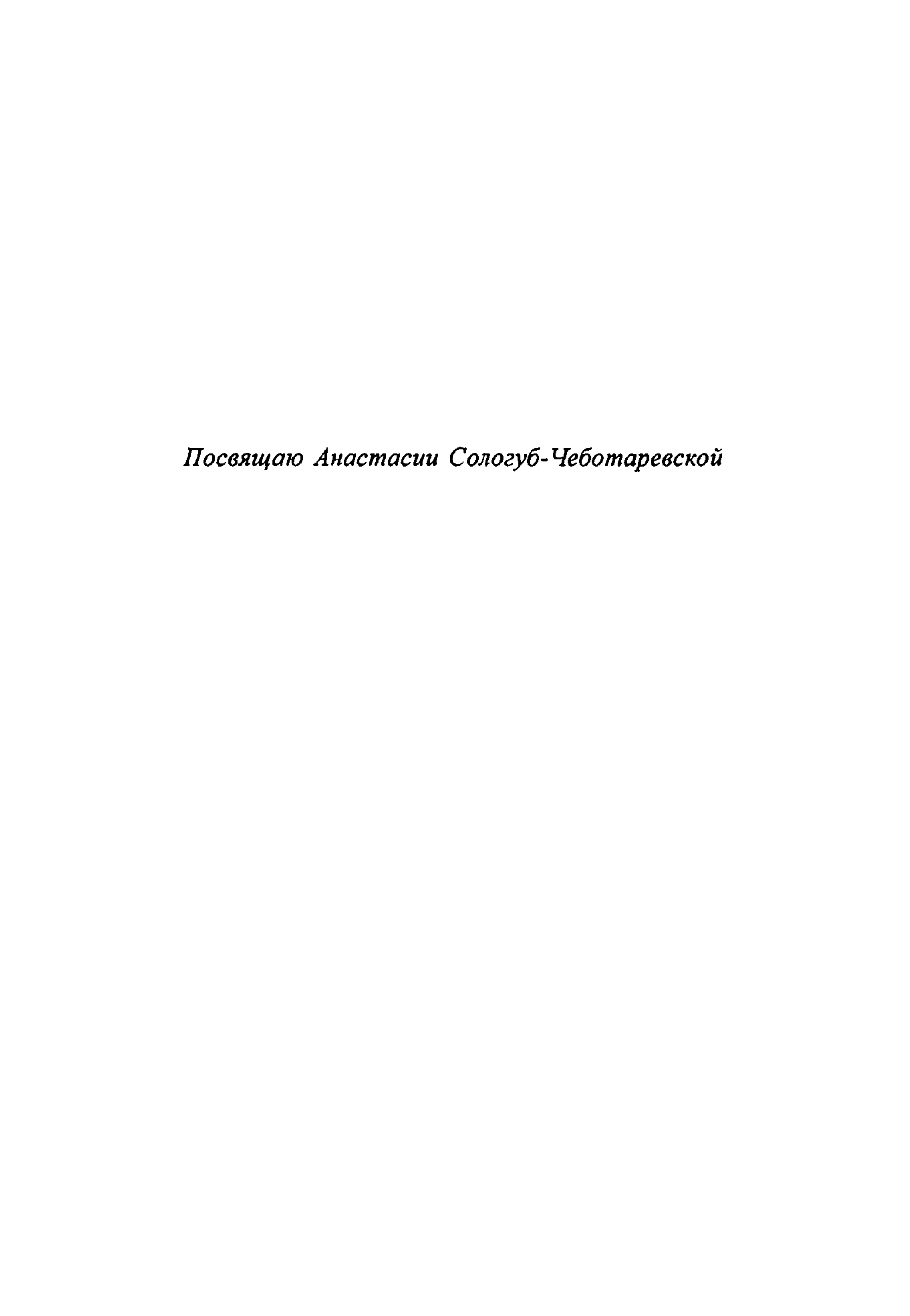
Исчезнут вмиг, как тени ночи,
Гордыни мрачной наважденья,
И снова зорки станут очи,
И снова ясны впечатленья.

И над душой моей смиренной
Тогда сияет образ ясный:
Взор, дивной мыслью вдохновенный,
Лик величавый и прекрасный,

Бедна одежда, босы ноги,
Уста с улыбкою привета.
Нельзя мне сбиться с ним с дороги.
То — Иисус, Владыка света.

Из сборника

«ЧАРОДЕЙНАЯ ЧАША»



Посвящаю Анастасии Сологуб-Чеботаревской

* * *

Нет словам переговора,
Нет словам недоговора.
Крепки, лепки навсегда,
Приговоры-заклинанья
Крепче крепкого страданья,
Лепче страха и стыда.

Ты измерь, и будет мерно,
Ты поверь, и будет верно,
И окрепнешь, и пойдешь
В путь истомный, в путь бесследный,
В путь, от века заповедный.
Все, что ищешь, там найдешь.

Слово крепко, слово свято,
Только знай, что нет возврата
С заповедного пути.
Коль прошел, не возвращайся,
С тем, что любо, распрощайся, —
До конца тебе идти.

Заклинаньем обреченный,
Вещей деве обрученный,

Вдался слову ты в полон.
Не жалей о том, что было
В прежней жизни сердцу мило,
Что истаяло, как сон.

Ты просил себе сокровищ
У безжалостных чудовищ,
Заклинающих слова,
И в минуту роковую
Взяли плату дорогую,
Взяли все, чем жизнь жива.

Не жалей о ласках милой.
Ты владеешь высшей силой,
Высшей властью облечен.
Что живым сердцам отрада,
Сердцу мертвому не надо.
Плачь не плачь, ты обречен.

19 января 1922

* * *

День и ночь измучены бедою,
Горе оковало бытие.
Тихо плача, стала над водою,
Засмотрелся месяц на нее.

Опустился с неба, странно красен,
Говорит ей: «Милая моя!
Путь ночной без спутницы опасен.
Хочешь или нет, но ты — моя».

Ворожа над темною водою,
Он унес ее за облака.

День и ночь измучены бедою,
По свету шатается тоска.

30 января 1922

* * *

Чародейный плат на плечи
Надевая, говорила:
«Ах, мои ли это речи?
Ах, моя ли это сила?
Посылает людям слово
Матерь Господа живого».

Чародейный посох в руки
Принимая, говорила:
«Ах, не я снимаю муки,
Не во мне живая сила.
Перед нами у порога
Тайно станет Матерь Бога».

Чародейный круг чертила,
Озиралась и шептала:
«Ах, моя ли это сила?
Я ль заклятия слагала?
Призовет святые лики
Матерь Господа Владыки».

24 декабря 1897

* * *

В стране сурового изгнанья,
На склоне тягостного дня,

Святая сила заклинанья
Замкнула в тайный круг меня.

Кому молюся, я не знаю,
Но знаю, что услышит Тот,
Кого молитвой призываю,
Кому печаль моя цветет.

Его мимолетящей тени,
Что исчезает, смерть поправ,
Молюся я, склонив колени,
На росной ласковости трав.

И заклинанья не обманут,
Но будет то же все, что есть,
Опять страдания предстанут,
Все муки надо перенесть.

Что Тот вкусил, кто жало Змея
Навеки вырвал, надо мне,
Жестокой мукой пламенея,
Вкусить в последней тишине.

7 июля 1887

* * *

Бога милого, крылатого
Осторожнее зови.
Бойся пламени заклятого
Сожигающей любви.

А сойдет путем негаданным,
В разгоранье ль ясных зорь

Или в томном дыме ладанном, —
Покоряйся и не спорь.

Прячет лик свой под личинами,
Надевает шелк на бронь
И крылами лебедиными
Кроет острых крыл огонь.

Не дивися, не выведывай,
Из каких пришел он стран,
И не всматривайся в бредовый,
Обольстительный туман.

Горе Эльзам, чутко внемлющим
Про таинственный Грааль, —
В лодке с лебедем недремлющим
Лоэнгрин умчится вдаль.

Вещей тайны не разгадывай,
Не срывай его личин.
Силой Боговой иль адовой,
Все равно, он — властелин.

Пронесет тебя над бездною,
Проведет сквозь топь болот,
Цепь стальную, дверь железную
Алой розой рассечет.

Упадет с ноги сандалия,
Скажет змею: «Не ужаль!»
Из цианистого калия
Сладкий сделает миндаль.

Если скажет: «Все я сделаю!» —
Не проси лишь об одном:

Зевс, представши пред Семелою,
Опалил ее огнем.

Беспокровною Дианою
Любовался Актеон.
Но, оленем став, нежданною
Гибелью был поражен.

Пред законами суровыми
Никуда не убежим.
Бог приходит под покровами,
Лик его непостижим.

6 мая 1921

* * *

Выйди в поле полночное,
Там ты стань на урочное,
На заклятое место,
Где с тоской распрощалася,
На осине качалася
Молодая невеста.

Призови погубителя,
Призови обольстителя,
И приветствуй прокуду,
И спроси у проклятого,
Небылого, незнатого,
Быть добру или худу.

Опылит тебя топотом,
Оглушит тебя шепотом

И покатится с поля,
Слово до веку свяжется,
Без покрова покажется
Посуленная доля.

27 августа 1897

* * *

Назвать: «Вот этот цвет лиловый,
А этот — голубой».
Смотри: король и туз бубновый
Легли перед тобой.

Приснился тихий сумрак храма
И дымный фимиам.
Выходит пиковая дама,
Гроза всех милых дам.

И все же погадать нам сладко
В мерцании лампад.
Легла червонная десятка
Преградой для отрад.

Именованья и гаданья —
Суровой Мойре дань.
Прими покорно все страданья
И скорбью душу рань.

Скажи: «Вот этот цвет — лиловый,
А этот — голубой».
Истает мир, возникнет новый,
И в нем Она с тобой.

3 июля 1920

* * *

Так же внятен мне, как прежде,
Тихий звук ее часов,
Стук тоскующего сердца
В темном шорохе годов.

Не к земной зовут надежде
Хоры тайных голосов,
Но ясна для одноверца
Вера в правду вещих снов.

И в изорванной одежде
Он к причастию готов,
И узка, но блещет дверца
Однолюбу в край богов.

13 января 1922

* * *

Пришла ночная сваха,
Невесту привела.
На ней одна рубаха,
Лицом она бела,

Да так, что слишком даже,
В щеках кровинки нет.
«Что про невесту скажешь?
Смотри и дай ответ». —

«Да что же думать много!
Пришла, так хороша,
Не стой же у порога,
Садись, моя душа».

В глазах угроза блещет,
Рождающая страх,
И острая трепещет
Коса в ее руках.

14 февраля 1905

* * *

В камине пылания много
И зыбко, как в зыбке миров.
Душа нерожденного бога
Восстала из вязких оков,

Разрушила ткани волокон,
Грозится завистливой мгле,
И русый колышется локон,
Чтоб, свившись, поникнуть в золе, —

И нет нерожденного бога,
Погасло пыланье углей,
В камине затихла тревога,
И только пред ним потеплей.

Мы радость на миг воскресили,
И вот уж она умерла,
Но дивно сгорающей силе
Да будут восторг и хвала.

Едва восприявши дыханье,
Он, бог нерожденный, погас,
Свои умертвил он желанья
И умер покорно для нас.

31 декабря 1918

* * *

Из чаш блистающих мечтания лия,
Качели томные подруги закачали,
От озарений в тень, из тени в свет снуя,
Колыша синевой и белым блеском стали.

По кручам выше туч проходит колея,
Высокий путь скользит над темнотой печали,
И удивляемся, — зачем же мы дрожали?
И знаю, — в полпути угасну ярко я.

По колее крутой, но верной и безгрешной,
Ушел навеки я от суетности внешной.
Спросить я не хочу: «А эта чаша чья?»

Я горький аромат медлительно впиваю,
Гирлянды тубероз вкруг чаши обвиваю,
Лиловые черты по яспису вия.

21 июня 1919

* * *

Обнаженный царь страны блаженной,
Кроткий отрок, грозный властелин,
Красотой сияя нерастленной,
Над дремотной скукою равнин,

Над податливостью влажных глин,
Над томленьем тусклым жизни пленной
Он вознесся в славе неизменной,
Несравненный, дивный, он один.

Блещут яхонты, рубины, лалы
В диадеме на его кудрях,
Два огня горят в его очах,

И уста его, как вишни, алы.
У него в руках тяжелый меч,
И в устах пленительная речь.

24 июля 1920

* * *

Словно бусы, сказки нижут,
Самоцветки, ложь да ложь.
Языком клевет не слижут,
Нацепили, и несешь.

Бубенцы к дурацкой шапке
Пришивают, ложь да ложь.
Злых репейников охапки
Накидали, не стряхнешь.

Полетели отовсюду
Комья грязи, ложь да ложь.
Навалили камней груду,
А с дороги не свернешь.

По болоту-бездорожью
Огоньки там, ложь да ложь, —
И барахтаешься с ложью
Или в омут упадешь.

10 октября 1893

* * *

Хотя бы нам и обещали
Завоевание луны,
Но все небесные скрижали
Еще для нас запрещены,

И все еще безумье радо
Ковать томительные сны
Над плитами земного ада
Под гулы тусклой глубины,

И все еще разумной твари
Века неволи суждены
Томиться в длительном угаре
Всегда сжигаемой весны.

15 мая 1915

* * *

Ничто не изменит
В том мире, где водят волов,
Один из бурливых валов,
Когда мою лодку, разбивши, опенит.

Склюют мне лицо
Вороны, резвяся и грая,
И дети, песками играя,
Сломают мне палец и стащат кольцо.

Мне кости почище,
Соленая влага, домой.

Мой дух возвратится домой,
Истлевшему телу не нужно кладбище.

31 мая 1919

* * *

В угрюмой, далекой пещере,
В заклятой молчаньем стране
Лежит уже много столетий
Поэт в зачарованном сне.

Не тлеет прекрасное тело,
Не ржавеют арфа и меч,
И ткани расшитой одежды
С холодных не падают плеч.

С тех пор, как прикрыли поэта
Тенета волшебного сна,
Подпала зароку молчанья
Отвергшая песни страна.

И доступа нет к той пещере.
Туда и высокий орел,
Хоть зорки крылатые очи,
А все же пути не нашел.

Одной только деве доступно
Из всех, кто рожден на земле,
В святую проникнуть пещеру,
Витать в очарованной мгле,

Склоняться к холодному телу,
Целуя немые уста,

Но дева та — муза поэта,
Зажженная в небе мечта.

Она и меня посещала
Порою в ночной тишине
И быль о заклятом поэте
Шептала доверчиво мне.

Не раз прерывался слезами
Ее простодушный рассказ,
И вещее слово расслышать
Мешали мне слезы не раз.

Покинуть меня торопилась, —
Опять бы с поэтом побыть,
Глядеть на спокойные руки,
Дыханием арфу будить.

Прощаясь со мною, тревожно
Она вопрошала меня:
«Ты знаешь ли, скоро ли вспыхнет
Заря незакатного дня?

Ах, если бы с росною розой
Могла я сегодня принесть
Печалью плененному другу
Зарей осиянную весть!

Он знает: сменяются годы,
Столетия пыльно бегут,
А люди блуждают во мраке
И дня беззакатного ждут.

Дождутся ль? Светло торжествуя,
Проснется ли милый поэт?
Иль к вечно-цветущему раю
Пути вожделенного нет?»

5 июля 1892

* * *

Я вышел из потайной двери,
И нет возврата в милый рай.
Изнемогай, но в ясной вере,
Душа, томительно сгорай.

В кипенье темного потока,
Бегущего с горы крутой,
Рукою беспощадной Рока
Заброшен ключ мой золотой.

У первозданных стен Эдема
В пустыне безнадежных дней
Что мне осталось? Диадема
Из опаляющих огней

И мантия пророка, — тяжко
На плечи давит мне она, —
И скрытая в одежде фляжка
С вином, где дремлет тишина,

И что еще? воспоминанья,
О днях любви, когда и я
Испытывал очарованья
И осиянность бытия.

И вот один у тайной двери,
Как пригвозженный раб, стою,
Безумству моему и вере
Смятенный дух мой предаю.

19 февраля 1922

Из сборника

«ВЕЛИКИЙ БЛАГОВЕСТ»

* * *

В тени аллей прохлада,
Нарядны господа,
А за оградой сада
Голодная нужда.

Глядит на бойких деток
Мальчишка водонос,
В одну из узких клеток
Решетки всунув нос.

На жесткие каменья
Потом ему идти,
Томления терпенья
В груди своей нести.

Мучительно мне видеть
Неравенство людей
И горько ненавидеть
И взрослых, и детей.

8 июня 1895

ШУТ

Дивитесь вы моей одежде,
Смеетесь: «Что за пестрота!»
Я нисхожу к вам, как и прежде,
В святом обличии шута.

Мне закон ваш — не указка.
Смех мой — правда без границ.
Размалеванная маска
Откровенней ваших лиц.

Весь лоскутьями пестрея,
Бубенцами говоря,
Шутовской колпак честнее,
Чем корона у царя.

Иное время, и дороги
Уже не те, что были встарь,
Когда я смело шел в чертоги,
Где ликовал надменный царь.

Теперь на сходке всенародной
Я поднимаю бубен мой,
Смеюсь пред Думою свободной,
Пляшу пред мертвою тюрьмой.

Что, вас радуют четыре
Из святых земных свобод?
Эй, дорогу шире, шире!
Расступитесь, — шут идет!

Острым смехом он пронижет
И владыку здешних мест,

И того, кто руку лижет,
Что писала манифест.

2 ноября 1905

* * *

Воцарился злой и маленький,
Он душил, губил и жег,
Но раскрылся цветик аленький,
Тихий, зыбкий огонек.

Никнул часто он, растоптанный,
Но окрепли огоньки,
Затаился в них нашептанный
Яд печали и тоски.

Вырос, вырос бурнопламенный,
Красным стягом веет он,
И чертог качнулся каменный,
Задрожал кровавый трон.

Как ни прячься, злой и маленький,
Для тебя спасенья нет,
Пред тобой не цветик аленький,
Пред тобою красный цвет.

11 ноября 1905

ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

Буржуа с румяной харей,
Прочь с дороги, уходи!

Я — свободный пролетарий
С сердцем пламенным в груди.

Я терпел нужду и голод,
А тебе был всюду ход,
Но теперь твой гнет расколот,
Мой черед идти вперед.

Ты себя не беспокоил
Ни заботой, ни трудом,
Но подумай, кто построил
Для тебя просторный дом!

Из кого ты жилы тянешь?
Что несешь на биржу, а?
Так со мною ли ты станешь
Спорить, жирный буржуа?

Свет от нас давно ты застишь, —
Будет! Шкуру береги!
Отворяй нам двери настежь
И беги себе, беги.

Запирует на просторе
Раззолоченных палат,
Позабыв былое горе,
Вольный пролетариат.

16 ноября 1905

* * *

У правительства — нагайки, пулеметы и штыки.
Что же могут эти средства? Так, немножко, пустяки.

А у нас иное средство, им орудуем мы ловко,
Лютый враг его боится. Это средство — забастовка.

Рядом с ловкой забастовкой очень весело идет
Хоть и маленький, но тоже удалой и злой бойкот.

20 ноября 1905

* * *

Четыре офицера
В редакцию пришли,
Четыре револьвера
С собою принесли.

Они сказали грозно,
Схватившись за мечи:
«Пока еще не поздно,
Покайся, «Русь», молчи.

Писаньями обижен
Полковник храбрых, Мин,
Который столь приближен
К вершинам из вершин.

Коснулися вы чести
Геройского полка,
Так страшной бойтесь мести,
Отложенной пока.

Наш храбрый полк, писаки,
Достоин русских войск, —
В Гороховой атаке
Был дух его геройск.

Был сразу враг сконфужен,
Чуть щелкнули курки,
И даже стал не нужен
Лихой удар в штыки.

Итак, не сочиняйте
Про славу наших рот:
Казенный «Вестник», знайте,
Достаточно наврет.

А если правды слово
Прочтем о нас в «Руси»,
Поступим так сурово,
Что Боже упаси.

Возьмем крутые меры
И сами вчетвером
Не только револьверы,
И пушку принесем».

Умолкли все четыре,
Свершивши этот акт,
И, грудь расправив шире,
Ушли, шагая в такт.

27 ноября 1905

СПУТНИК

По безмолвию ночному,
Побеждая страх и сон,
От собратьев шел я к дому,
А за мной следил шпион;

И, четою неразлучной
Жуткий город обходя,
Мы внимали песне скучной
Неумолчного дождя.

В темноте мой путь я путал
На углах, на площадях,
И лицо я шарфом кутал,
И таился в воротах.

Спутник чутко-терпеливый,
Чуждый, близкий, странно-злой,
Шел за мною под дождливой
Колыхающейся мглой.

Утомясь теряться в звуке
Повторяемых шагов,
Наконец тюремной скуке
Я предаться был готов.

За углом я стал. Я слышал
Каждый шорох, каждый шаг.
Затаился. Выждал. Вышел.
Задрожал от страха враг:

«Барин, ты меня не трогай, —
Он сказал, дрожа как лист, —
Я иду своей дорогой.
Я и сам социалист».

Сердце тяжко, больно билось,
А в руке дрожал кинжал.
Что случилось, как свершилось,
Я не помню. Враг лежал.

1 декабря 1905

ВЕСЕЛАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
(На четыре голоса)

Что вы, старцы, захудали,
Таковы невеселы,
Головы повесили?
«Отощали!»

Что вы, старые старухи,
Таковы невеселы,
Головы повесили?
«С голодухи!»

Что вы, парни, тихи стали,
Не играете, не скачете,
Все ревете, плачете?
«Тятьку угнали!»

Что вы, детки, приуныли,
Не играете, не скачете,
Все ревете, плачете?
«Мамку убили!»

4 декабря 1905

ЗА ЧАЙ, ЗА МЫЛО
(Солдатская песня 1905 года)

Братцы солдатушки,
Бравы ребятушки,
Шибко поспешайте,
Бунты утишайте.

«То-то вот, что тощи,
Черви лезут во щи.

Наши командиры
Отрастили брюхи».

Братцы солдатушки,
Бравы ребятушки,
Злым не верьте людям,
Мы вас не забудем.

«Речи эти стары,
Тары-растабары, —
Наши командиры
Знают всю словесность».

Братцы солдатушки,
Бравы ребятушки,
Но сему случаю
Не хотите ль чаю?
«Чаю мы желаем,

Только вместе с чаем,
Добрым обычаем,
Дайте командиров
Нам не мордобойцев».

Братцы солдатушки,
Бравы ребятушки,
Что вас сомутило?
Не хотите ль мыла?

«Прежде дули в рыло,
Нынче дали мыла,
Ишь, залебезило
Грозное начальство
Перед нашим братом».

8 декабря 1905

* * *

Друг другу руки подадим,
И, как свечей венчальных дым,
Надежды мы соединим,
Свершим завещанное нам
И подвиг, сладостный сердцам,
Передадим
Векам.
Воздвигнем новый храм
И прочно стены утвердим.
Дракону злому время пасть, —
Мы учредим
Иную власть.
Мы создадим
Блаженный строй
И над землей
Прострем довольство и покой.

Зрела сила
И созрела,
И пора к свершенью дела
Наступила.
Тяжкий молот
Занесен над ветхим домом.
Будет свод его расколот,
Разрушенье будет громом.

5 февраля 1906

ХАЛДЕЙСКАЯ ПЕСНЯ

Царь Халдейский (*соло*)

У меня ли не житье!
Все казенное — мое.

Государство — это я,
И над всеми власть моя.

Халдейские люди

А у нас-то, вот житье!
Что встаем, то за вытье.
Мы несем во все места,
А мошна у нас пуста.

Халдейский царь

Не пойти ль мне на войну
В чужедальную страну,
Злата, серебра добыть,
Чтоб еще богаче быть?

Халдейские люди

Собирают нашу рать.
Знать, нам время умирать.
Нас погонят на войну
За халдейскую казну.

Халдейский царь

Что там? вздумали роптать?
Стройся, верная мне рать!
Поострей точи мечи!
Бей! коли! руби! топчи!

Март 1907

* * *

Какая покорность в их плаче,
Какая тоска!
И как же иначе?
Бежит невозвратно река.

Уносятся грузные барки
С понурой толпой,
И слушают Парки
Давно им наскучивший вой.

К равнине уныло
Осенние никнут дожди.
Уж раз проводила,
Так сына обратно не жди.

Уж слезы разлучные льются,
Кропя его путь.
Ему не вернуться
Припасть на вскормившую грудь.

Там где-то, в чужбине,
Далеко от знаемых мест,
В чужой домовине
Он ляжет под дружеский крест.

1 октября 1916

ЯРЫЙ ГОД

Рассказы

Правда сердца

I

Лето 1914 года в Орго, маленькой эстонской деревушке на южном берегу Финского залива, проходило приятно и спокойно. В начале лета никто здесь и не думал о близости большой европейской войны. Все время стояла прекрасная погода, ясная, теплая, с редкими дождями. Дачники, — немцы из Юрьева и из Ревеля да русские интеллигенты из столиц, — развлекались как умели. Те, которые жили здесь уже несколько лет, хвалили очень это место, широкий вид на море, великолепный парк, закаты, — все, что можно хвалить. Попавшие сюда первый раз, — потому что знакомые зимою часто хвалили Орго, — жаловались на скуку.

В самом деле, Орго — глухое захолустье, нет ни кургауза, ни музыки. Общество благоустройства дачной местности Орго только что было основано и успело только вывесить две надписи о запрещении велосипедистам ездить по пешеходной дорожке в деревне да еще устроило плохонький теннис-гроунд. Даже станция железной дороги в семи верстах, — не погуляешь по платформе, встречая и провожая поезда. Только и было утешение, что купанье в море, — пляж очень хороший, почти такой же, как в Усть-Наровской купальной местности, — да лаун-теннис, устроенный на поляне над морем.

Из-за лаун-тенниса молодежь ссорилась с аптекарем: не хотели платить денег за право игры на теннисе, а аптекарь, казначей общества благоустройства дачной местности Орго, грозил, что снимет сетку. Он старался быть очень аккуратным, чтобы оправдать свою немецкую фамилию и чтобы его не сочли за эстонца.

Молодые люди говорили:

— Мы не обязаны платить вам за игру в теннис. У вас и сетка висит старая.

Аптекарь упрямо твердил:

— Нет, обязаны. Общество не имеет сумм на то, чтобы покупать сетку.

— С нашей дачи, — говорил веселый студент Бубенчиков, — вы уже взыскали три рубля.

— А с нашей, — говорил мрачный Козовалов. — даже пять.

Аптекарь объяснял:

— Ну так это же за доставку корреспонденции, — вы же сами знаете, что в нашей местности нет почтового отделения. А мы хлопочем, и в будущем году мы будем иметь почтово-телеграфное отделение. Чего же вы хотите?

— Это нам все равно, — говорили молодые люди, — нельзя же платить без конца.

Долго пререкались. Наконец аптекарь сетку снял, а около теннисгроунда вывесил на столбе записку с надписью: «Игра без разрешения правления общества благоустройства запрещается».

В отместку за это легкомысленные молодые люди в следующую же ночь прибили на дверях аптеки записку: «Ходить в аптеку без рецепта врача строго воспрещается».

Многие дачники, запасшись старыми сигнатурками, нарочно заходили в аптеку справиться, почему вход без рецепта воспрещен. В аптеку дачники ходили, как водится, не столько за лекарствами, сколько за открытками с видами местности, за фонариками для иллюминаций, за мылом и одеколоном и за прочими разнообразными вещами.

Аптекарь возмущался, уверял, что можно ходить и без рецепта, и, отпуская свои товары, жаловался всем на молодых людей.

Раза два-три в лето устраивались любительские спектакли и балы в помещении местного пожарного общества, — вот и все веселье. Приходилось в остальное время довольствоваться домашними развлечениями, а днем гулять и любоваться видами — занятие, молодости малосвойственное.

II

Лиза Старкина, юная дочь морского офицера, плавающего где-то в далеком море, была в нерешительности, на ком из двух молодых людей остановить ей свое внимание. Бубенчиков и Козовалов, два студента, юрист и математик, оба были очаровательны, каждый в своем роде. Лизина мать, Анна Сергеевна, предпочитала любезного и веселого Бубенчикова, Лиза тоже оценивала его превосходные качества, но и в мрачном Козовалове были свои очарования. Он не лишен был остроумия и находчивости, и хотя говорил ей иногда дерзости, но всегда готов был услужить, тогда как любезный и веселый Бубенчиков был эгоист и от оказания услуг часто увиливал.

Впрочем, порою оба юноши казались Лизе скучноватыми. И казалось даже ей, что и живут они не по-настоящему, а так, между прочим, до окончания курса, — а настоящая жизнь их начнется потом, когда они выдержат свои государственные экзамены и пристроятся более или менее хорошо.

Но Лизе уже хотелось кого-то любить. Такой уж возраст. И потому на пляже она почти каждый день, сбросив юбочку и сандалии, танцевала дунканские танцы то для одного, то для другого, то для обоих вместе. Лиза, как водится, училась на каких-то драматических курсах. Она была очаровательна в милых своих танцах, стройная, тонкая, весело-загорелая, легкая над гладью мелкого, серовато-золотистого песка.

Был еще и третий, склонный ухаживать за Лизою усерднее и самоотверженнее первых двух. Это был местный, Пауль Сепп, но для Лизы он был пока только комическим элементом.

Паулю Сеппу было двадцать восемь лет. Он был красивый, высокий, сильный, широкоплечий, очень сдержанный человек, добродушный и немного мешковатый. У него были ясные голубые глаза и светлые волосы. Он не пил водки, не курил. Не знал никакого разврата. Кончил какое-то сельскохозяйственное училище. Много читал, по-русски и по-немецки. Очень любил литературу и философию. Играл на рояли. Пел баритоном. Две его сестры, молоденькие девушки, недавно кончили учиться в гимназии.

С весны он был влюблен в Лизу Старкину, — с первого же раза, как увидел ее на обрыве над морем, в тунике, веселую, белую, еще не успевшую загореть. Но он был простой крестьянин, эстонец, и сам работал на своем поле, вместе со своими двумя сестрами. У него было тридцать десятин земли, и летом жило несколько работников и работниц.

Он был еще холост и непорочен, как мальчик. Зимою он мечтал о далеких красавицах. Каждое лето он влюблялся в русскую барышню, — теперь влюбился в Лизу. В немок он почему-то не влюблялся ни разу.

И вот было трое влюбленных в одну Лизу. Лиза никогда еще в жизни не чувствовала себя такою гордою и счастливою. Лиза и Пауля Сеппа не совсем отвергала на страх двум другим. Поддразнивая их, она говорила:

— Захочу и выйду за эстонца.

И всех трех вышучивала, весело и мило, как все, что она делала.

Анна Сергеевна очень сердилась, когда Лиза говорила с нею об эстонце. Она восклицала:

— Лиза! Твой отец — капитан первого ранга, а ты говоришь о простом эстонце.

Лиза хохотала. Говорила:

— Мы с Паулем будем косить траву, сеять хлеб, пасти свои стада и разговаривать о Шиллере и о Канте.

— Ужас, ужас! — восклицала Анна Сергеевна.

Лиза продолжала дразнить мать:

— Я буду доить коров и каждое утро носить для тебя парное молоко. Ты увидишь, какое оно будет вкусное, густое и чистое.

Анна Сергеевна затыкала уши пальцами и уходила.

III

Лиза с мамою, Бубенчиков и Козовалов гуляли в парке. Парк принадлежал остзейскому барону, и на входе туда надобно было брать

билеты. За билетами приходилось ходить к управляющему, чистенькому немцу из Риги.

Любовались на великолепный, белый, вознесенный над силлурийским обрывом дом барона. Один только Козовалов упрямо говорил, что дом ему не нравится, что он годится разве только для устройства в нем музея дурного вкуса. С ним спорили. Но он был, конечно, прав. У него был хороший вкус, и эта дурно слаженная постройка, совсем не гармонировавшая с местностью, не могла его удовлетворить.

Когда уже видно было синее море, Козовалов сказал, указывая на отдельно стоящее громадное дерево:

— Вот то самое дерево.

— Какое? — спросила Лиза.

Козовалов мрачно улыбнулся и промолчал. У него был в эту минуту таинственный и значительный вид. Лиза вдруг зажглась любопытством. Бубенчиков рассказал:

— На этом дереве весною повесился баронский конюх. Он выстегнул кнутом глаз одной лошади. Управляющий ему сказал, что взыщет триста рублей и посадит в тюрьму. Ну, он пошел сюда ночью и повесился. Утром нашли. Молоденький был совсем, очень скромный, и у него была невеста, здешняя эстонка Эльза, — она живет в горничных у Левенштейна.

Анна Сергеевна заахала:

— Ах, какой ужас! Зачем вы нас здесь повели! Мне этот эстонец ночью будет сниться. И зачем вы это рассказали!

Лиза сказала досадливо:

— Мама, как же ему не рассказать, когда его об этом просят!

Лизу всегда утомляла деланная экспансивность и кокетливость ее матери.

Бубенчиков говорил оживленно, как что-то радостное:

— Многие теперь боятся ходить в парк вечером.

— Да и днем жутко, — сказала Анна Сергеевна. — Знала бы, так не стала бы и билета брать.

— Ну, я бы и сама взяла, — отвечала Лиза.

Козовалов сказал злорадно:

— И молодая баронесса не приехала нынче летом.

— Почему? — спросила Лиза.

— Боится, что эстонцы разозлятся и станут мстить, — объяснил Козовалов. — Потому и билеты надо брать, — боятся пускать всех.

— Вовсе не потому, — заспорила Лиза, — прежде всех пускали, так подходили к самому замку и все цветы обрывали.

— Ну уж ты, спорщица! — сказала Анна Сергеевна, — всегда все лучше всех знаешь.

Вечером, встретившись с Паулем Сеппом, Лиза спросила его:

— Почему повесился этот конюх? Неужели из-за какой-то баронской лошади?

— Да, из-за лошади, — отвечал Пауль Сепп.

— Но неужели же это правда? — спрашивала Лиза. — Что же с ним могли сделать? Ведь мы же не во времена крепостного права живем!

Пауль Сепп спокойно отвечал:

— Управляющий — немец.

— Ну так что же? — с удивлением спросила Лиза.

— Немцы народ аккуратный, не простит, — сказал Пауль Сепп.

И ясные глаза его зажглись мгновенною злостью.

IV

Как-то совсем неожиданно стали говорить, что скоро будет война. С жадностью читали газеты. Злое нападение Австрии на Сербию и явное потворство ей со стороны Германии раздражали многих. Возрастало негодование против Германии. Припоминали, что Германия держала уже много лет всю Европу в состоянии неуверенности в завтрашнем дне и заставляла всех делать чрезмерные усилия для вооружений. Вскрылась нараставшая в течение долгих лет вражда к надменным и заносчивым пруссакам. Уже и местные нотабли, аптекарь и булочник

(он же содержатель пансиона) объявили, что они — не немцы, а эстонцы: до сих пор они это тщательно скрывали.

Появились указы о мобилизации, сначала частичной, а потом и общей. Дачники читали расклеенные объявления и толковали их, кто как умел.

Вот и война объявлена. В газетах, которые пришли вечером, было напечатано о германском наглом ультиматуме России. А к ночи Бубенчиков, съездив на велосипеде на станцию, привез важные новости. Он вошел торопливо на закрытую стеклянную террасу дачи Старкиных, где сидели за чайным столом Лиза, Анна Сергеевна и Козовалов со своею матерью. Здороваясь, он объявил испуганно и радостно:

— Германия объявила нам войну. Франц-Иосиф умер.

Анна Сергеевна всплеснула руками и воскликнула:

— Ну вот, дождались, досидели! Ужас, ужас!

— Немцы, может быть, здесь высадятся, — говорил Бубенчиков, — здесь крепости нет, и флота у нас нет, они сюда и пойдут, и отсюда на Петербург.

Говорил это, как что-то радостное.

— Ужас, ужас! — повторяла Анна Сергеевна. — Что же с нами будет?

Козовалов говорил:

— Нет, немцы придут с юга и разрушат железную дорогу. А что с нами будет, это покрыто мраком неизвестности. Впрочем, кто уцелеет от неприятельских снарядов, тому, надо полагать, немцы ничего особенно плохого не сделают: народ культурный.

Лиза не верила ни в десант, ни в разрушение железной дороги. У нее было спокойное и смелое сердце чисто русской девушки. Она любила Россию и потому верила, что Россия победит. Она говорила:

— Немцам здесь не дадут высадиться. И до нашей железной дороги им не дойти.

Мать спорила:

— Как же не дойдут, Лизочка, если из Восточной Пруссии на нас три армии двигаются! Ведь это во всех газетах написано!

Лиза спокойно возражала:

— Да ведь и наши армии есть!

— Ну, где же нашим! — говорила мать, — немцы сильнее, у них все мужчины на войну пошли.

Бубенчиков говорил:

— Немцы быстротой возьмут. Наши не успеют опомниться, как уже немцы подойдут к Петербургу. Недаром же вокруг Петербурга окопы роют и все деревья рубят.

— Так-таки все? — насмешливо спросила Лиза. — Зачем же это?

— Ну, это по военным соображениям, — сказал Бубенчиков. — Ну, я пойду. Надо нашим сказать и Лихутиным.

Бубенчиков наскоро попрощался со всеми и побежал по дорожке темного сада.

— Газета! — досадливо сказала Лиза.

Бубенчиков обошел всех своих знакомых. Дачники заволновались. До утра ходили по деревне и сообщали друг другу невесть откуда пришедшие слухи, один другого невероятнее.

На другой день с утра Анна Сергеевна говорила о том, что надобно поскорее уехать в Петербург. Лизе не хотелось. Она говорила:

— Такая хорошая погода! Что мы будем делать в Петербурге?

— Нет, нет, укладываться и уезжать! — с выражением растерянности и ужаса на лице говорила Анна Сергеевна. — Пока еще впускают в Петербург, а потом уж ни впускать, ни выпускать не станут. А если сейчас поедем, так успеем еще, даст Бог, и из Петербурга уехать.

Лиза досадливо спрашивала:

— Куда же еще ехать, мама?

Анна Сергеевна отвечала:

— В Вологду, в Нижний, подальше куда-нибудь.

Лиза засмеялась. Спросила:

— Что же, ты думаешь, они и в Москву придут?

Анна Сергеевна сказала упавшим голосом:

— Ах, Лизанька, это — только вопрос времени.

Лиза с удивлением всмотрелась в испуганное лицо матери. Сказала укоризненно:

— Ну, мама, и трусиха же ты!

Анна Сергеевна заплакала и сказала:

— Лиза, я не хочу, чтобы прусский солдат меня прикладом пришиб.

Лиза пожала плечами и подошла к окну.

Ясное небо, простодушные цветы на клумбах, невозмутимый мир высоко-зеленеющих деревьев, — ясная, милая жизнь, и влитая в нее мудрая близость успокоительной, глубокой смерти, — а рядом, здесь, эта ненужная, жалкая трусость! Как странно!

Лиза увидела из окна проходившего мимо сада по узкой меже за рожью их хозяина. Он смирный и добродушный. Любит пиво, но никогда не буянит. Боится он войны или нет?

Лиза быстро вышла к нему. Спросила:

— Андрей Иваныч, вы на войну идете?

Хозяин снял шляпу, поклонился. Сказал:

— Нет, я — ратник, до меня еще не дошла очередь. Без меня много народу.

— Андрей Иваныч, а что, если немцы придут? — спросила Лиза.

Толстый, рослый эстонец засмеялся и сказал:

— Мы их сюда не пустим. Я возьму ружье и один сто немцев убью.

Лиза закричала матери в окно:

— Мама, мама, послушай, что он говорит!

Анна Сергеевна только махнула рукою.

Когда Лиза вернулась, Анна Сергеевна ходила по комнате и повторяла:

— Ужас, ужас! Все равно, здесь жить нельзя. Наши или чужие, все равно, придут солдаты, поселятся на нашей даче, а нам велят уходить.

V

Пошли гулять перед вечером — Лиза с матерью, молодые люди. Зашли в эстонскую лавочку, под предлогом купить жорж-борманов-

ского шоколада. На самом же деле Анне Сергеевне хотелось доказать Лизе, что оставаться здесь нельзя, потому что всех лошадей возьмут, и у лавочника тоже, и не на чем будет товары возить, да и до станции не на чем добраться: опоздаешь уехать теперь, — сиди и умирай с голода.

Хитрый эстонец лавочник, как всегда, посмеивался. Он уверял, что за лошадей дают меньше, чем они ему самому стоили. Лиза не верила.

— Зато, — говорила она, — вам их зимой кормить не надо, а весной новых купите.

Эстонец говорил, хитро посмеиваясь:

— У кого плохие лошади, тому выгодно, а я потерял.

— А товар-то есть? — спросила Анна Сергеевна.

— Теперь есть. Скоро не будет, — отвечал эстонец.

Анна Сергеевна с торжеством поглядела на дочь. Бубенчиков предлагал купить побольше шоколаду:

— Будем варить шоколадный суп.

— Нет, не надо, — сказал Козовалов, — у нас ворон много, я стрелять буду.

Анна Сергеевна обиделась.

— Сами и кушайте, я воронину есть не привыкла.

Выйдя из лавочки, читали расклеенные тут же объявления о мобилизации и комментировали их. Анна Сергеевна говорила:

— Даже амуниции нет. Просят, чтобы с собою солдатики сапоги приносили. Несчастные люди! Опять будет как в японскую войну.

Лиза сердилась и спорила. Она говорила с досадою:

— Мама, ты — жена военного, а рассуждаешь совсем как ничего не понимающая.

— Ты много понимаешь! — отвечала Анна Сергеевна обычною стариковскою отповедью детям. — Ты бы посмотрела на запасных, — у них совсем сумасшедшие глаза.

— Ну, этого я ни у кого не видела, — отвечала Лиза.

VI

Вечером опять сошлись у Старкиных. Говорили только о войне. Кто-то пустил слух, что призыв новобранцев в этом году будет раньше обыкновенного, к восемнадцатому августу; и что отсрочки студентам будут отменены. Поэтому Бубенчиков и Козовалов были угнетены: если это верно, то им придется отбывать воинскую повинность не через два года, а нынче.

Воевать молодым людям не хотелось, — Бубенчиков слишком любил свою молодую и, казалось ему, ценную и прекрасную жизнь, а Козовалов не любил, чтобы что бы то ни было вокруг него становилось слишком серьезным.

Козовалов говорил уныло:

— Я уеду в Африку. Там не будет войны.

— А я во Францию, — говорил Бубенчиков, — и перейду во французское подданство.

Лиза досадливо вспыхнула. Закричала:

— И вам не стыдно! Вы должны защищать нас, а думаете сами, где спрятаться. И вы думаете, что во Франции вас не заставят воевать?

— Да и правда! — невесело сказал Бубенчиков.

Мать Козовалова, полная, веселая дама, сказала добродушно:

— Это они нарочно так говорят. А если их позовут, так и они покажут себя героями. Не хуже других будут сражаться.

Гримасничая и ломаясь по обыкновению, Бубенчиков спрашивал Лизу:

— Так вы не советуете мне ехать во Францию?

Лиза отвечала сердито:

— Да, не советую. Вас по дороге могут взять в плен и расстрелять.

— За что же? — дурашливо спрашивал Бубенчиков.

Анна Сергеевна сказала сердито:

— Им еще надо учиться, поддерживать своих матерей. На войне им нечего делать.

Бубенчиков, обрадовавшись поддержке, нахмурился и сказал важно:

— Я о войне и говорить больше не хочу. Я хочу заниматься своими делами, и этого с меня достаточно.

— Да мы в герои и не просимся, — сказал Козовалов.

— И отчего это женщин на войну не берут! — воскликнула Лиза. — Ведь были же в древности амазонки!

— Была и у нас девица-кавалерист Дурова, — сказала Козовалова.

Анна Сергеевна с кислою усмешечкою посмотрела на Лизу и сказала:

— Она у меня патриоткой оказалась!

Слова ее были как порицание. Козовалова засмеялась и сказала:

— Сегодня утром в теплых ваннах я говорю банщице: «Смотрите, Марта, когда придут немцы, так вы с ними не очень любезничайте». Она как рассердится, бросила шайку, говорит: «Да что вы, барыня! Да я их кипятком ошпарю!»

— Ужас, ужас! — повторяла Анна Сергеевна.

VII

Из Орго призвали шестнадцать запасных. Был призван и ухаживающий за Лизою эстонец, Пауль Сепп. Когда Лиза узнала об этом, ей вдруг стало как-то неловко, почти стыдно того, что она посмеивалась над ним. Ей вспомнились его ясные, детски чистые глаза. Она вдруг ясно представила себе далекое поле битвы, — и он, большой, сильный, упадет, сраженный вражескою пулею. Бережная, жалостливая нежность к этому уходящему поднялась в ее душе. С боязливым удивлением она думала: «Он меня любит. А я, — что же я? Прыгала, как обезьянка, и смеялась. Он пойдет сражаться. Может быть, умрет. И, когда будет ему тяжело, кого он вспомнит, кому шепнет: «Прощай, милая»? Вспомнит русскую барышню, чужую, далекую».

И так грустно стало Лизе, — плакать хотелось.

В тот день, когда запасным надобно было идти, утром Пауль Сепп пришел к Лизе прощаться. Лиза смотрела на него с жалостливым любопытством. Но глаза его были ясны и смелы. Она спросила:

— Пауль, страшно идти на войну?

Пауль улыбнулся и сказал:

— Все великое страшно. Но умереть — не страшно. Было бы страшно, если бы я знал, что буду бояться в решительную минуту. Но этого не будет, я знаю.

— Как вы можете это знать? — спросила Лиза.

— Я себя знаю, — сказал Пауль.

Лиза спросила:

— Но ведь вы, эстонцы, не хотите войны?

Пауль Сепп спокойно отвечал:

— Кто же ее хочет? Но если нас вызвали, мы будем воевать. И мы победим. Россия не может не победить.

Лиза хотела сказать: «Ведь вы — не русские».

Но не решилась или не успела. Пауль, как бы угадывая ее мысль, сказал:

— Мы, эстонцы, очень не любим немцев. Это — наследственное. Много они здесь делали жестокостей.

Лиза говорила:

— Да ведь это были здешние немцы, а не германские. А германские что же вам сделали? И ведь вы же любите Бетховена и Гёте?

— Они все одинаковые — жестокие, хитрые, коварные, — сказал Пауль. — С тех пор как они победили французов и отняли Эльзас и Лотарингию, они точно отравою какою-то опились. И уж как будто это не тот народ, из которого вышли Бетховен и Гёте. Возьмите хоть то, что нигде на всем свете, кроме Германии, нет закона о двойном подданстве.

Лиза не знала, что такое двойное подданство. Пауль Сепп растолковал. Лиза слушала с удивлением.

— Но ведь это — подлый обман! — воскликнула она.

Пауль Сепп пожал плечами.

— Это — германский закон, — сказал он. — Конечно, они считают себя правыми, но нам трудно стать на их точку зрения. Нам непонятна их правда, и кажется нам она ложью. Будем надеяться, что среди них найдутся люди, — писатели, рабочие, — которые возвысят свой голос против германского безумия.

VIII

Призванных провожали торжественно. Собралась вся деревня. Говорили речи. Играл местный любительский оркестр. И дачники почти все пришли. Дачницы принарядились.

Пауль шел впереди и пел. Глаза его блестели, лицо казалось солнечно-светлым, — он держал шляпу в руке, — и легкий ветерок развевал его светлые кудри. Его обычная мешковатость исчезла, и он казался очень красивым. Так выходили некогда в поход викинги и ушкуйники. Он пел. Эстонцы с одушевлением повторяли слова народного гимна.

Анна Сергеевна шла тут же и повторяла тихонько:

— Ужас, ужас! Вы посмотрите, у них у всех безумные глаза. Они знают, что их всех убьют.

— Ну что ты, мама! — возражала Лиза. — Где ты это видишь? Все они идут с одушевлением. Такой подъем духа, — разве ты не видишь?

Дошли до леска за деревнею. Дачницы стали возвращаться. Призываемые рассаживались на экипажи. Набегали тучки. Стало небо хмуриться. Серенькие вихри завивались и бежали по дороге, маня и дразня кого-то. Анна Сергеевна сказала:

— Пойдем, Лиза, домой. Уж дождь накрапывает.

Лиза тихо ответила:

— Подожди, мама.

— Ну чего там ждать! — досадливо сказала Анна Сергеевна. — Проводили, утешили, сколько могли, и довольно. Пусть останутся одни, поплачут, может быть, все-таки легче будет.

Лиза засмеялась и сказала весело:

— Нет, мама, они не заплачут. Они не думают о смерти. А если и думают, — так на миру и смерть красна.

Лиза остановила Сеппа:

— Послушайте, Пауль, подойдите ко мне на минутку.

Пауль отошел на боковую тропинку. Он шел рядом с Лизою. Походка его была решительная и твердая, и глаза смело глядели вперед. Казалось, что в душе его ритмично бились торжественные звуки воинственной музыки. Лиза смотрела на него влюбленными глазами. Он сказал:

— Ничего не бойтесь, Лиза. Пока мы живы, мы немцев далеко не пустим. А кто войдет в Россию, тот не обрадуется нашему приему. Чем больше их войдет, тем меньше их вернется в Германию.

Вдруг Лиза очень покраснела и сказала:

— Пауль, в эти дни я вас полюбила. Я поеду за вами. Меня возьмут в сестры милосердия. При первой возможности мы повенчаемся.

Пауль вспыхнул. Он наклонился, поцеловал Лизину руку и повторял:

— Милая, милая!

И когда он опять посмотрел в ее лицо, его ясные глаза были влажны.

Анна Сергеевна шла на несколько шагов сзади и роптала:

— Какие нежности с эстонцем! Он Бог знает что о себе вообразит. Можете представить, — целует руку, точно рыцарь своей даме!

Бубенчиков передразнивал походку Пауля Сеппа. Анна Сергеевна нашла, что очень похоже и очень смешно, и засмеялась. Козовалов сардонически улыбался.

Лиза обернулась к матери и крикнула:

— Мама, поди сюда!

Она и Пауль Сепп остановились у края дороги. У обоих были счастливые, сияющие лица.

Вместе с Анною Сергеевною подошли Козовалов и Бубенчиков. Козовалов сказал на ухо Анне Сергеевне:

— А нашему эстонцу очень к лицу воинственное воодушевление. Смотрите, какой красавец, точно рыцарь Парсифаль.

Анна Сергеевна с досадою проворчала:

— Ну уж красавец! Ну что, Лизанька? — спросила она у дочери.

Лиза сказала, радостно улыбаясь:

— Вот мой жених, мамочка.

Анна Сергеевна в ужасе перекрестилась. Воскликнула:

— Лиза, побойся Бога! Что ты говоришь!

Лиза говорила с гордостью:

— Он — защитник отечества.

Анна Сергеевна растерянно смотрела то на Пауля, то на Лизу. Не знала, что сказать. Придумала наконец:

— Такое ли теперь время? Об этом ли ему надо думать?

Бубенчиков и Козовалов насмешливо улыбались. Пауль горделиво выпрямился и сказал:

— Анна Сергеевна, я не хочу пользоваться минутным порывом вашей дочери. Она свободна, но я никогда в моей жизни не забуду этой минуты.

— Нет, нет, — закричала Лиза, — милый Пауль, я люблю тебя, я хочу быть твоею!

Она бросилась к нему на шею, обняла его крепко и зарыдала. Анна Сергеевна восклицала:

— Ужас, ужас! Но ведь это же — чистая психопатия!

Обручальное

Мама и Сережа долго спорили:

— Все наши знакомые дамы так сделали, — говорила мама. — И я так сделаю.

— Нет, мама, — возражал Сережа, — ты так не должна делать.

— Почему я не должна, если другие делают? — спрашивала мама.

— Они нехорошо делают, — спорил Сережа, — и я не хочу, чтобы ты это сделала.

— Да это — не твое дело, Сережа! — говорила мама, досадливо краснея.

Тогда Сережа принимался плакать. Мама стыдила:

— Четырнадцатилетний мальчик, а плачешь, как совсем маленький.

И так продолжалось несколько дней, — все из-за кольца обручального. Мама хотела его пожертвовать в пользу раненых. Говорила Сереже:

— Так все делают. Из этого большие деньги можно собрать.

Сережа настойчиво требовал, чтобы его мама так не делала.

— Папа сражается, а ты его кольцо отдашь! — кричал он.

— Пойми, для раненых, — уговаривала мать.

— Отдай что-нибудь другое, а не кольцо обручальное, — говорил Сережа. — Деньгами дай.

Мать пожимала плечами.

— Сережа, ты знаешь, у нас не так много денег. Штабс-капитанское жалованье, — на него не раскутишься.

— Не покупай яблоков, накопишь побольше, чем за колечко дадут; да и мало ли на чем можно сберечь!

Спорили, спорили. Мама почему-то не решалась сделать по-своему, отдать кольцо, — уж очень горящими глазами смотрел на нее Сережа, когда об этом заходила речь.

Каждый раз, когда мама уходила, Сережа решительно говорил ей:

— Мама, без кольца не смей приходить.

Наконец решили написать отцу, — как он скажет, так и сделать. Мама написала, а Сережа в своем письме отцу ничего о кольце не писал: что-то скажет сам папа?

Перестали спорить. Но Сережа все посматривал на мамины руки. Из гимназии придет, — к маме: блестит колечко? блестит, — и успокоится Сережа. Мама откуда-нибудь вернется, Сережа бежит к ней навстречу, нетерпеливо смотрит, как мама снимает перчатки: блестит колечко? блестит, — и успокоится Сережа.

Прошло несколько дней, пришли ответы из армии от Сережина отца, и Сереже, и маме. Почтальон принес письма вечером, когда сидела мама с Сережею за чаем. Сережа свое письмо распечатал, а читать не может: сердце бьется от нетерпения узнать, что в том письме написано, которое мама читает. Мама письмо прочла, обрадовалась, улыбнулась.

— Папа согласен.

Покраснел Сережа, стоит перед мамою потупясь.

— Вот, читай сам, — говорит мама.

Сережа читает: «Насчет кольца делай как хочешь. Дело, конечно, не в кольце, я знаю, что ты меня любишь, ты обо мне тоже знаешь, а все остальное — ерунда, не суть важно».

И дальше о другом.

Сережа прочел, улыбнулся. Спросил:

— Тебе, мама, этого достаточно?

Мама слегка повела плечом, сказала:

— Ну вот видишь, папа согласен.

— А ты, мама, умеешь между строчек читать? — спросил Сережа. — Невесело было папе тебе так писать о колечке. Он свое носит, не снимает.

Посмотрел Сережа на маму внимательно. Мама покраснела, но все-таки спорила:

— Да ведь согласился же папа!

— Мама, пойми, — убеждающим голосом говорил Сережа, — ведь если и кольцо, и всякая памятная вещь — ерунда, не суть важно, то подумай, что же в душе-то у человека должно быть! Милая была вещичка, памятная, — ерунда! Хороший был собор в Реймсе, — не суть важно!

— Сережа, — строго сказала мама, — нельзя сравнивать: там всенародная святыня, много поколений...

— Мама! — воскликнул Сережа, перебивая ее, — то для всех свято, а это свято только для нас, но свято, свято! Если в каждом доме нет святого, заветного, так как же оно для всего народа вырастет, из чего? Все — ерунда, не суть важно, — из чего же большое,

великое накопится! Ты думаешь, когда папа это писал, что он чувствовал?

— Что чувствовал! — нерешительно сказала мама. — Чувствовал, что я для раненых...

— Нет, мама, — горячо говорил Сережа, — очень ему горько было. Шутливые слова писал нарочно, чтобы не показать тебе и другим не показать. Пойдет в сражение, подумает: ну что ж, у вдовы моего колечка не будет, кто-нибудь наденет ей на пальчик другое.

Мама вскрикнула:

— Сережка, противный, не смей так говорить!

И заплакала горько. Сережа стоял перед нею на коленях, целовал ее руку, — где еще блестело обручальное, — и говорил:

— Мама, милая, мы сбережем для раненых на другом. Можно вместо белого хлеба есть черный, не покупай мне новых башмаков, я дома босиком ходить буду; можно мало ли какой расход сократить, но колечка не смей отдавать.

— Хорошо, не отдам, — тихо сказала мама. — Только о раненых надо же подумать?

— Подумаем, мама, — весело сказал Сережа.

Сберегли колечко для себя, сберегли для раненых на другом. Мама с Сережею сильно сократили все свои расходы, и каждый месяц удавалось им немало отдавать на раненых. Маленькая, домашняя святыня теплилась на маминой руке, радовала Сережу и утешала его за маленькие лишения. В уюте милых комнат босые Сережины ноги светились, как восковые свечи, и радовали маму.

А отцу мама и Сережа написали в тот же вечер, что с колечком передумали и не отдадут его ни за что.

Танин Ричард

Было раннее утро в начале августа. Таня Горная, молоденькая дочь полковника, проснулась радостная и счастливая. Ей было стыдно, что

она так радостна, — ее отец и оба брата ушли на войну, и мама каждый день плакала, а обе старшие сестры ходили с грустными и озабоченными лицами. Но Таня знала почему-то, что отец и братья вернутся благополучно и что ее самое ждет большое счастье. Знала она это по тому особенному чутью к будущему, которое жило в ней с детства и никогда не обманывало ее. Сестры смеялись иногда над ее предвещательными снами, и она избегала рассказывать о них.

Сегодня уже под утро Тане приснился светлый, лучистый сон. В озарении необычайного света предстал пред нею воин в блистающих латах, с огненным мечом в руке. У воина этого было лицо ее молодого друга, англичанина Ричарда Тайта. Воин приблизился к ней и сказал:

— Ничего не бойся, Таня.

— Я ничего не боюсь, — ответила ему во сне Таня. Она привыкла к постоянным спорам с Ричардом, и потому и теперь не могла удержаться от того, чтобы не возразить на слова неведомого воина, похожего на Ричарда. Но, сразу же вспомнив, что это — воин, а не инженер Ричард и что он только похож на Ричарда, и догадавшись, что он послан возвестить ей нечто, она застыдилась того, что спорит, и стала на колени перед светлым воином. Тогда воин, ласково улыбаясь ей, сказал:

— Мы победим, и я принесу тебе великую радость.

И на этом Таня проснулась и увидела в незанавешенном окне своей спальни еще совсем низкое солнце.

Тане стало радостно. Она проворно оделась, заплела свои косы и вышла босая в сад. Щеки ее горели, и ей весело было чувствовать, что она сильная и здоровая. Весело вспомнились вчерашние нянины слова:

— Как ни молись, Танечка, а в монастырь тебя не возьмут. Ты что больше молишься, то толще делаешься.

Таня весело подумала: «Бог меня любит, посылает мне здоровье».

И вдруг опять ей стало стыдно этой хвастливой мысли. Она закрыла ярко покрасневшее лицо полными загорелыми руками, стала на песок дорожки голыми коленями и молилась.

Уже она хотела подняться с колен, как вдруг подумала, что мысли ее о только что увиденном сне были грешные. Грешными в них было то, что лицо светлого воина показалось ей похожим на лицо Ричарда. Она опять закрыла лицо руками и молилась долго.

Когда она встала и пошла по сырым еще пескам дорожек к садовой решетке, чтобы смотреть на широкую там, далеко внизу, реку, ей все же было весело и радостно, и лицо Ричарда припоминалось ей. И уже она не упрекала себя за это.

«Что ж такое! — думала она. — Ведь я же его не люблю. А если он любит быть со мною, то это, может быть, потому, что он любит спорить и дразнить меня, а я должна это терпеть. Может быть, потому у дивного воина было Ричардово лицо, чтобы дать мне понять, что я не должна так много с ним спорить и так отстаивать правоту моей веры. Кротостью и смирением я скорее достигну того, что он меня поймет, — ведь он очень добрый и милый человек».

Никого не было в саду, и по дороге за решеткою никто еще не шел. Таня стояла долго, и уже легкая дрема упала на ее глаза. И вдруг за решеткою сада послышались быстрые, уверенные шаги, скрипнула калитка, — и, похожий на видение утреннего сна, в светлой летней одежде перед Танею стал, весело улыбаясь, Ричард.

— О, как вы рано сегодня встали! — сказала Таня, протягивая ему руку.

— Как всегда, милая Таня, раньше вас, — отвечал Ричард.

— Ну, — начала было Таня спорить, но вспомнила свои недавние мысли, стала еще румянее и засмеялась.

— Что вам сегодня снилось? — спросил Ричард.

«Хочет надо мной посмеяться? — подумала Таня. — Ну и пусть смеется».

Но, всмотревшись в его лицо, Таня увидела на нем необыкновенное выражение серьезности и значительности. Сердце ее предвещательно забилось, и она почувствовала, что голос ее звенит трепетно, когда она говорила:

— Представьте себе, Ричард, я видела во сне вас, в светлой одежде, в одежде воина.

Ричард и не думал засмеяться. Он смотрел на Таню очень удивленными глазами.

—Таня, — сказал он, — вы видите удивительные сны. — Я ведь затем и пришел к вам, чтобы рассказать вам новость, — я поступил добровольцем в русскую армию.

Таня задрожала.

— Вам холодно? — участливо спросил он.

Она молча покачала головою. Сердце ее билось больно и тревожно. Она рассказала Ричарду, что сказал ей светлый воин ее сна.

— Таня, — спросил Ричард, нежно заглядывая в ее глаза, — а больше ничего он вам не сказал?

— Нет, ничего, — тихо отвечала Таня.

Страшно, стыдно и сладко стало. Знала, что он сейчас скажет ей.

— Не сказал, что я вас люблю? — опять спросил Ричард.

Тане стало вдруг весело. Еще стыдящимися глазами она посмотрела на него, как смотрят на солнце, со страхом и с радостью, и сказала:

— Ричард, мне этого не надо говорить, — я это сама знаю.

Ричард покраснел. Взволнованным голосом, — первый раз такой голос слышала Таня у своего обычно флегматичного друга, — он спросил:

— А вы, Таня?

Она опустила глаза. Тихо, тихо сказала:

— А разве это надобно говорить? — и сказала громко и смело: — Ричард, мое сердце меня еще никогда не обманывало. Я верю в Бога и молюсь Ему, и Бог ко мне милостив, — я знаю, что ты вернешься ко мне, что тебя не убьют.

И вдруг застыдилась, закрыла лицо локтем милой руки, подражая стыдливому движению деревенской девушки.

«Что же это я говорю?» — подумала она.

И только теперь поняла, как взволнована и обрадована ее душа тем, что ее милый спорщик Ричард захотел сражаться за Россию,

которую она так богомольно любит. Обрадована ее душа и словно развязана, и теперь она смеет и хочет его любить.

Смеясь и плача, — не от горя, от высокой радости, — она почувствовала на своем жарком локте его сильную руку. Сопротивлялась было, да недолго, — как она ни сильна, а он все-таки сильнее, отвел ее локоть, прямо в радостные ее глаза смотрит.

Таня засмеялась, протянула ему руку.

— Желаю тебе счастливого пути и успехов, — сказала она и сильно пожала его руку.

— Таня, а разве ты меня не поцелуешь? — спросил он, привлекая ее к себе.

Она обвила его шею руками, заплакала разнеженно и счастливо и целовала долго, долго. Без конца целовала бы, да послышались на ближних дорожках голоса и шаги сестер.

Три лампады

С тех пор как полковник Косоуров уехал на войну, в квартире Косоуровых теплились каждый день три лампады. Теплились они с утра, а к вечеру опять подливалось масло, так чтобы всю ночь лампады не гасли.

Первая лампада теплилась в спальне вдовы-генеральши Анны Павловны Косоуровой, перед темным ликом Николы Угодника. У генеральши на войне был сын; он был еще молод, но делал хорошую карьеру, довольно рано получил полк, а теперь на войне нередко бывал в опасных сражениях и скоро должен был получить генеральский чин и бригаду.

Генеральша вставала рано, долго и старательно выполняла все домашние обряды, а после завтрака выезжала, сначала в лазарет, потом в попечительство, потом к кому-нибудь из знакомых, чтобы не порывать давно налаженных хороших связей и отношений. Что бы она ни делала, она всегда думала о сыне, о том, что он в опасности, что его

могут убить. И потому на ее красивом и умном лице еще не старой женщины лежала печать особой значительности, которая заставляла всех ее знакомых обращаться с нею еще почтительнее, чем всегда.

Двойное чувство горело в ней: скорбный страх за нежно любимого сына и великая гордость матери, сын которой совершает подвиги. Если бы ей пришлось надеть траур, ее горе было бы неутешно, но оно достойно и прекрасно наполнило бы остаток ее дней. У нее в жизни было достаточно счастья и в меру горя. Вся ее жизнь, в меру трудная и в меру радостная, научила ее мудрому, величавому спокойствию.

В первый же день, проводив на вокзал сына, она призвала горничную Дашу и дала ей обстоятельные наставления, когда и как теплить лампаду, как следить за тем, чтобы огонь светился ни слишком ярко, ни слишком слабо и чтобы он никогда не погасал.

— Понимаешь, Даша, — негасимая лампада.

Горничная Даша, пожилая степенная девица, сильная, как деревенская баба, и вышколенная долголетнею службою в генеральском доме, выслушала и запомнила твердо все, что генеральша ей говорила. Она знала, что генеральшу нельзя не слушаться и что она не любит повторять одно и то же дважды. Даша заботилась о генеральшиной лампаде добросовестно и каждый раз, подливая в нее масло, клала перед темным ликом строгого Угодника три земные поклона, — каждый раз с чувством своего недостоинства вспоминая свое бурное прошлое.

Генеральша молилась перед своею лампадою с тихою и смиренною надеждою, — Милостивый Бог, быть может, до конца будет милостив к ней и вернет ей сына.

Жена полковника Косоурова, Евгения Алексеевна, теплила вторую лампаду, перед образом Спасителя, серебряная риза Которого блистала над двумя кроватями, ее и мужа, на стене посредине. День Евгения Алексеевна проводила внешне так же, как и ее свекровь, но вся душа ее была возмущена страхом и тоскою. По ночам она долго не могла заснуть, плакала и молилась. Днем она старалась прилепиться к кому-нибудь, чаще всего к старой генеральше, чтобы хоть немного заглушить свою тоску, отогнать свой страх. Но стоило

ей остаться одной, чтобы слезы неудержимо лились из ее глаз. Только беседы с дочерью Валентиною утешали ее, и после них было на время легко и сладостно.

За ее лампадою ходила тоже Даша. Но Евгения Алексеевна не доверяла ей, постоянно ходила смотреть, не убывает ли масло, и часто звала Дашу поправлять огонь.

— Даша, — говорила она, — никак ты забыла сегодня о моей лампадке? Мамочкину хорошо заправляешь, а мою как-нибудь.

— Простите, барыня, — степенно говорила Даша, — я вашу лампадку никогда не забывала, и она в полной исправности. А если вы беспокоитесь, то я сейчас прибавлю масла, — мне не в труд.

Шла за маслом и сердито ворчала про себя:

— Нагрешишь только с вами.

Валентинина лампада ясно и ровно горела перед иконою Божией Матери Скоропослушницы. Валентина зажигала ее сама и даже сама на свои деньги покупала для нее масло. Даше не нравилась такая самостоятельность барышни. Даша каждый день поглядывала на Валентинину лампадку с тайною надеждою увидеть, что барышня забыла подумать о масле или о фитиле. Но ясно и ровно горел огонь перед кротким ликом Скоропослушницы, и Даша думала завистливо, что ей так не заправить лампадок, как заправляет барышня. А если Даша заметит, что масла в бутылке остается уж очень мало, она говорила Вале:

— Забыла про масло, молитвенница. Дала бы мне покупать масло, исправнее было бы.

Валя краснела и говорила:

— Спасибо, Даша, что напомнила.

И вынимала из кошелечка монеты на масло.

У Валентины в армии было двое, отец и жених, но Валентина не боялась ни за одного, ни за другого.

Валентина была веселая и здоровая девушка. Ей мила была дружба стихий, она любила обжигающие поцелуи небесного Змия-Солнца, и буйное веяние морского ветра, и объятия ледяной холодной воды,

и суровые ощущения земных глин и песков под ногами. Она любила свое тело в движении, в работе, в милых ощущениях дружеских стихий и любила свою мысль, вечно деятельную и что-нибудь придумывающую. И очень любила молиться. Скоропослушница, юная и прекрасная, увенчанная жемчужною короною, смотрела на нее благостно, и Младенец на Ее руках сидел прямой и спокойный, Господь бодрых и неунывающих.

Валентина знала, что все будет к лучшему, надобно только предаться воле Господней. В ней была уверенность, что и отец, и жених вернутся к ней, — но она не смела предаваться этой уверенности, потому что будущее в руках Господних и Бог не хочет, чтобы люди думали о будущем и знали. Эту уверенность в благополучном возвращении милых Валентина таила от самой себя в глубине души, но от этой уверенности ей было всегда спокойно и радостно. И еще она знала, что надобно иметь непрерывное молитвенное общение с Богом, — надобно, чтобы душа всегда открыта была перед Господом, и тогда молитва ее будет хранить ее милых, так что если Господь и пошлет ангела брани по их души, то все же смерть их будет легка и непостыдна, и легка-легка будет ее скорбь. И она плакала, молясь, но в слезах ее была радость.

Она одна из трех была всегда ясна, терпелива, и всегда спокойно поддерживала домашний порядок, и заботилась о матери и о бабушке. Ее ясное спокойствие всегда успокаивало и утешало ту и другую, и когда матери или бабушке было очень грустно, они звали к себе Валю или чаще сами приходили посидеть с нею, посмотреть на ясный и ровный молитвенный огонь лампады перед благостными взорами Скоропослушницы.

Вечером, помолившись со слезами перед своими лампадами, мать и бабушка ложились спать. Бабушка засыпала скоро, мать долго плакала, Валя приходила утешать ее. Иногда мать и в самом деле утешалась и засыпала, иногда притворялась, что засыпает, и отсылала Валентину спать. Валентина шла к себе, раздевалась и становилась на колени перед Скоропослушницею, — молиться.

Наступал лучший, блаженный час ее жизни. Не отрывая тихо мерцающего взора от нежного лика вечно юной Скоропослушницы, она шептала слова с детства знакомых и всегда волнующих молитв. Ее белая сорочка казалась торжественным одеянием, эмблемою горней чистоты. Ее обнаженные ноги смиренно лежали на светло-синем коврике, как ноги молящегося на небесах светлого существа. Она поднимала руки к благостному лику, и всем телом тянулась к нему, и улыбалась, и плакала.

Вдруг вспоминала она: «Мама спит ли? Пожалуй, опять плачет».

Она вставала с колен и тихо шла к матери. Почти всегда Валентина заставала мать плачущею горько. Валентина садилась к ней на постель и говорила ей утешные слова. И унимались слезы, и утихала скорбь. Говорила мать:

— Валечка, иди, спи. Что ты босиком ходишь по холодному полу! Еще простудишься.

— Приучена, мамочка, — отвечала Валя.

Мать улыбалась.

— Ты у меня сильная и крепкая, Валечка, — говорила она. — Без тебя мы с мамочкой совсем бы от слез истаяли. Ты и молишься за нас, ты и утешаешь нас.

— Спи, мама, спи, — говорила Валентина.

Дожидалась Валя, что мама заснет, крестила ее неторопливым движением стройной руки и шла опять к себе. И опять молилась, и поднимала руки, и всем телом тянулась к пресветлому лику, предаваясь на волю Господню. Иногда и засыпала тут же, свернувшись светлым комочком под образом.

Горничная Даша спала чутко. Комната Валина была рядом с людскою. Всегда около двух часов ночи Даша просыпалась и шла взглянуть, спит ли барышня. Если Валя стояла еще на коленях, Даша подходила к ней, молча брала ее за руку и вела к постели. Валентина не спорила, знала, что Даша непременно уложит ее. Иногда думала: «Уйдет Даша, уснет, я еще помолюсь».

Но едва голова ее касалась подушки, как Валентина засыпала безмятежно-спокойным сном.

Если Валя лежала белым комочком под образом, Даша пыталась поднять ее. Иногда Валя просыпалась и шла спать. Иногда же, усталая за день, Валя продолжала спать. Тогда Даша, сердито ворча, трясла Валю за плечо, а иногда, если это не помогало, то она сильно рабочею рукою шлепала Валентину по крепкому телу. Тогда Валентина, не открывая глаз, поднималась и шла к постели.

Ясно и ровно горел над ее постелью огонь лампады, и Скоропослушница благостно улыбалась и ясно засыпающей девушке, и ее усердной служанке. Даша крестилась на образ, клала перед ним земной поклон и уходила к себе.

Три лампады теплились перед тремя иконами, и три ангела-хранителя бодрствовали над тремя изголовьями, навевая на спящих утешающие сны.

Сердце сердцу

I

Вера Липинская весь день чувствовала какую-то неопределенную тревогу, тягостную тоску, и эти ощущения тоски и тревоги все усиливались и не давали ей ничем заняться. Весь день она была на людях, как и всю эту неделю. Так случилось, что уже больше недели каждый вечер она куда-нибудь выезжала, и потому этот вечер она хотела провести дома, почитать. Но беспокойство и тоска так томили ее, что она и сегодня решилась куда-нибудь уйти. Вера вспомнила, что старшая сестра ее, Надежда, звала ее сегодня на вечер к Незнаевым. Вера отказалась ехать, но после обеда передумала.

Она вошла к сестре, когда та уже оделась на вечер и внимательно смотрела в зеркало, соображая, прибавить ли губной помады или пудры. Ей приятно было смотреться в зеркало, — она была румяная, веселая и знала, что сегодня за нею будет ухаживать адвокат Кадымов, будет наливать ей за ужином вино и говорить забавные комплименты. Полные, приоткрытые Надеждины плечи почему-то были

досадны Вере, и она уже опять хотела передумать и остаться. Но сейчас же тоска больно схватила ее за сердце.

— И я пойду с тобой, — сказала Вера.

Надежда весело улыбнулась. Вдвоем приятнее ехать, чем одной, туда. А обратно ей не захотелось, чтобы Кадымов провожал ее. Все-таки не надо, чтобы он слишком много воображал о себе.

— И отлично, развлечешься, — сказала Надежда.

Бросила на Веру быстрый взгляд. Сказала:

— Ты сегодня что-то очень бледна. Будешь переодеваться?

— Нет, — сказала Вера.

— Как хочешь, — сказала Надежда, — только в этом черном ты кажешься очень бледной.

— Ну и пусть, — упрямо говорила Вера.

— Как хочешь, — повторила Надежда. — Что-то ты сегодня неспокойна. Ну ничего, даст Бог, все обойдется хорошо, и твой Сергей Николаевич вернется благополучно.

— Я ничего не думаю, — тихо сказала Вера. — Я только молюсь. А если убьют, — надо же кому-нибудь.

Губы ее дрогнули. Она с трудом удерживалась от слез. Надежда весело говорила:

— Бери пример с меня, — мой Володя тоже на войне, а я носа не вешаю.

Вера засмеялась невесело.

— Твой муж в штабе, мой жених в строю. Разница!

— Ну, не такая уж большая, — беззаботно сказала Надежда.

II

Вечером было весело и шумно. Много разговаривали, передавали разные неожиданные слухи, спорили, больше о войне, о наших интеллигентских отношениях к ней. Потом дочь Незнаевых пропела несколько романсов. Потом молодой человек с длинными и прямыми волосами сыграл несколько пьес Скрябина. Потом опять спорили.

Многие уже ушли, а Вера и Надежда оставались до самого позднего часа. Спорили, спорили. О войне, о культуре, о достоинствах германцев и о недостатках русских. Одни говорили, что надобно победить внешнего врага, другие говорили, что еще более необходимо изменить то, что в наших порядках осталось нехорошего. Как всегда, люди неискренние и слабые восклицали, восторгались и негодовали, а люди искренние и сильные старались разобраться в том, чего нам недостает. Как всегда, холодные эгоисты казались пламенными патриотами и произносили красивые слова.

Вера принимала горячее участие в спорах.

— Четыре месяца прошло, — говорила она, — пора и разобраться во многом.

Был уже пятый час утра, почти все гости ушли. Вера вдруг почувствовала страшный приступ тоски и слабости. Синий цвет обоев и мебели прокинулся в ее глазах фиолетовым дымом, и лица гостей мерцали зеленовато-палевыми пятнами.

Точно кто-то сказал Вере: «Тебе-то что до всего этого, до этих споров и разговоров? Русские, германцы, — что тебе? Разве ты забыла о милом своем?»

И вдруг темный глубинный голос сказал ей, что милый ее ранен. Вера не поверила, но страшно побледнела и стала собираться домой.

Хозяйка, молодая полная дама, наклоняя к Вере слишком крупные на белом лице синие глаза, откуда полились на Веру фиалковые блестки, участливо спрашивала:

— Что с вами? Вы так вдруг побледнели.

Вера говорила что-то побледневшими губами, — а что именно, и сама не помнила. Собрала всю себя, кое-как прогнала фиолетовые дымы. Надежда говорила:

— У тебя голова кружится. Поедем домой.

III

Верин жених, поручик Сергей Николаевич Блатов, был ее женихом не потому, что был влюблен в нее: он почти никогда не говорил Вере о своей

любви, ни в чем не уверял ее и не давал ей никаких обещаний. И она не казалась безмерно влюбленною в него. Они сошлись только потому, что на земле не было для него более близкого по душевному строю человека, чем Вера, и потому, что на земле не было для нее более по душевному строю близкого человека, чем Сергей.

Оставаясь наедине, они не торопились наговориться. Они улыбались друг другу, и смотрели друг на друга, и держали друг друга за руки, и словно невидимый ток переливался от нее к нему и от него к ней.

Они молчали иногда подолгу, но им казалось, что они думают об одном и том же. Когда кто-нибудь из них начинал говорить, это всегда было как бы ответом на мысли другого. Их даже не удивляло, что они могли читать мысли друг у друга, — такое слияние душ казалось им совершенно естественным.

Случалось, что он, приходя утром в дом Липинских, рассказывал Вере, что с нею вчера случилось. И Веру не удивляло, что он говорит о ее делах, мыслях, надеждах и мечтаниях, словно читает в ее душе, как в открытой книге. Ведь и она так же свободно читала в его душе.

IV

Вера ехала на извозчике и краем уха слушала оживленную болтовню Надежды, которая перебирала все впечатления и сенсации вечера. Надежда из детства, как все мы, была очарована Европою и была рада тому, что многие из говоривших заступались за германцев.

Кто-то тихий и темный приник к Вере, и ей казалось, что она явственно слышит тихие слова: «Тебе-то что до всех этих разговоров? Милый твой тяжко ранен. Он умирает, а ты болтаешь и не хочешь удержать его на этой милой земле».

Вера вздрогнула, осмотрелась. Никого. Только оживленный Надеждин говор слышится.

— Да что с тобой? — спросила Надежда. — Ты дрожишь? Тебе холодно? Ты простудилась?

— Нет, — сказала Вера, — спать хочется только.

Но, как всегда, не слушая ответа, Надежда быстро говорила:

— Как только приедем домой, примешь хинину. Если так плохо себя чувствовала, не надо было выезжать. Хотя тебе, конечно, полезно иногда развлечься, — ты уж очень впечатлительна. И надо признаться, сегодня были довольно интересные разговоры. Мне, например, очень понравилось, что говорил Погорельский.

И опять полилась живая, веселая Надеждина речь. А в Верином сердце была своя тоска, и в уме ее свой вопрос: «Воля наша к жизни так ли сильна, чтобы можно было удержать уходящего?»

V

Вера спала тревожно. Тяжелые сны мучили ее. Ей снился идущий где-то на далекой галицийской железной дороге слабоосвещенный вагон с ранеными. Кто-то стонал, кто-то бредил. Какой-то солдат, блестя яркими, лихорадочными глазами, худой и желтый, оживленно рассказывал стоявшему перед ним чернобородому еврею-санитару о том, как его ранили.

— Спи, голубчик, спи, — уговаривал его санитар.

Выбегал на площадку, хватался за голову, дышал тяжело и поспешно, словно запасаясь воздухом, и опять возвращался в вагон.

И вот знакомое, милое лицо. Вера видит Сергея. Он лежит, прикрытый шинелью. Под его головою заботливая рука еврея-санитара положила подушку, но подушка измятая и томная. Сергеевы глаза открыты, но сознание в них только иногда вспыхивает. И тогда он чувствует духоту вагона, истому лихорадочной ночи, скрежет колес и толчки на стыках. Потом в его сознание тупо и медленно вползает боль плохо перевязанной раны. Эта боль возрастает, разгорается, становится остро-жгучею. Он стискивает зубы и невольно, сам того не замечая, стонет. Измученное, бледное лицо санитара наклоняется над ним. Чужой голос участливо спрашивает его:

— Что с вами, голубчик? Воды не хотите ли выпить?

Сергей смотрит на него мутными глазами, и вдруг вагон, ночь, санитар, — все это тонет в каком-то море мрака, и боль забыта,

и томления душной вагонной ночи отошли. Ему снится далекий, холодный, милый город на севере, снится Вера. Он видит, как она мечется в тоске на своей постели. Вот она встает, подходит к образу, становится на колени, молится и плачет.

Сергею отрадно смотреть на белую ризу образа, на слабый огонек голубой лампады. Из серебряного оклада виден благостный лик Богоматери, — благостный и утешающий, такой далекий от жизни и так утоляющий все печали. Младенец на Ее руках, и в глубоких очах Его обещания небесных наград. Жажда жизни отходит, — жить, умереть, не все ли равно?

Говорит кто-то тихий и светлый:

— Ты душу свою отдал за других, и разве есть на земле большая любовь?

Но под образом, на холодном полу, мечется и стонет бедная девушка. И плачет, и молится:

— Я люблю его, люблю. Приснодева Мария, спаси его, сохрани его, верни его мне.

И молится, и плачет, и вся тянется к светлому лику. И уже мутный зимний день глядит в окно. Приходит старая няня, берет Веру за руку и ведет ее на постель, приговаривая ласково:

— Спи, голубушка моя, спи.

Снится Вере далекий вагон. Смутный свет зимнего утра льется в узкие вагонные окна. Сергей открывает утомленные болью мутные глаза и смотрит на нее.

VI

За завтраком Надежда спрашивает:

— Что с тобою, Вера? На тебе лица нет!

Вера смотрит на нее испуганными глазами и говорит:

— Ах, Надя, я знаю, с Сергеем что-то случилось.

— Полно, Вера, откуда ты это можешь знать? Мы только что получили от него письмо, — он здоров и весел.

— Я знаю, что его вчера тяжело ранили.

— Вера, если его ранили вчера, то об этом сегодня здесь еще нельзя ничего знать. Так скоро известия о раненых не приходят. Все это твое воображение. Прими брому и успокойся.

Надежда дает Вере бром, — много брому, — и Вера весь день ходит, как свинцом налитая. Равнодушие и тоска. Тоска спокойная, тяжелая, домашняя, словно навеки угнездившаяся в сердце. Такая тоска, от которой лицо бледнеет и губы улыбаются.

И вот опять ночь. Вера одна, долго не спит. То она молится, то вдруг встает перед нею сон не сон, греза не греза, явь не явь.

Сергея привезли на место. Он лежит на лазаретной койке. В палате белые стены, большие окна, завешенные гладкими, белыми шторами. Ровно и невесело горит одна электрическая лампочка, и свет ее отражен фарфоровым щитком на потолок, и уже от потолка рассеян ровно на палату, где шесть кроватей. Пять заняты, одна пустая.

Вера смотрит, не видит, кто эти другие четверо в одной палате с Сергеем. Она видит только Сергея. Он лежит прямо и неподвижно. Боль достигла такого напряжения, так истомила, что уже перестала чувствоваться отдельно от остальных впечатлений бытия, — и все предстоящее стало только великою болью.

Но вот качнулись и растаяли стены палаты. Тихо, ясно. Опять милый Верин покой, и ясный лик Приснодевы Марии, и слабый огонек в голубой лампаде.

Вера встает молиться. Молится долго. Мутный свет льется в окно. Льются Верины слезы.

Вера стоит на коленях и опять видит далекую палату и Сергея.

Сон со сном, греза с грезой сплетаются, здесь и там.

VII

Утро. Врач обходит палату. Останавливается у кровати, где лежит Сергей. Тихо говорит с сестрою милосердия. Сергей открывает глаза.

— Ну-с, поручик, — бодрым голосом говорит врач, — как мы себя чувствуем?

Сергей молчит. Не знает, что сказать. Наконец слабо шепчет:

— Голова болит.

— Ничего, пройдет. Все пройдет. Через неделю опять молодцом будете.

Сергей знает, что доктор говорит одно, а думает другое. По унылому, привычно равнодушному лицу сестры милосердия он угадывает, что врач только что шепнул ей:

— Вряд ли выживет. Во всяком случае, до вечера дотянет.

Он отчетливо повторяет:

— До вечера дотяну.

Но врач не слышит его слов. Переходит к другому.

VIII

И вот опять вечер. И уже поздно. Вера опять одна. Думает: «Мы с ним сердце в сердце и душа в душу. Или воля наша — ничто? И не удержу его на этой милой земле?»

И усилием воли зовет к себе Сергея. И снится Сергею, что Вера зовет его. Ему тяжело и покойно, он обжился в ощущениях своей великой боли, поглотившей в себя весь его мир, — и как ему выйти из этого мира? Как встать? Как пойти? Лежать бы, лежать успокоенно навсегда.

Но зовет Вера, и великая власть в ее зове. И в душе его сквозь багровый туман боли встает предчувствие великой радости. Снится ему, что он встал. Снится ему, что он входит в Верин милый покой. Рана горит, но он идет прямо и твердо, и на груди его, на мундире, новый, только что полученный крест. Он горд этим крестом и рад, что увидит Веру. И вот видит Веру.

Лик Богоматери, ясный огонь голубой лампады. Вера на коленях перед образом.

Долго молилась, легким забылась сном, — и снится ей: открылась дверь, знакомые шаги слышны, подходит Сергей. Он веселый, а ей страшно.

Сон в сон, греза в грезу, — слились два сна, словно оба они стали образами чьего-то сна, и кто-то иной видит их обоих в своем благостном сне.

Вера встала, идет к нему. На лице ее улыбка, но сердце у нее тяжелое. Радость или печаль? Не знает.

Вера, Вера, обрадуйся, — ведь он с тобою!

Он идет к ней, но между ними — преграда. Ей страшно.

Она идет к нему, но между ними — преграда. И под сердцем его горит кровавая рана.

Вера, Вера, обрадуйся, — он будет с тобою!

Стоят друг перед другом, не смея верить, не смея хотеть, — бедные дети земли, отвычные от святых чудес. Стоят, колеблясь, перед роковою чертою.

Но сжалилась Присноդева Мария, и умолила Сына, и дала Вере силу и радость. Вера воскликнула:

— Смерть твоя да будет моею. Мы вместе, милый, милый, мой навсегда.

И бросилась к нему, и обняла его, и вопила громким голосом:

— Не отдам тебя, с тобою буду.

Услышали громкий крик, прибежали Надежда, няня. Вера лежала на полу и плакала.

— Что с тобою, Верочка?

Молчала Вера.

IX

Сергей застонал, повернулся на бок. Ему было легко и весело. Сестра подошла. Он улыбнулся ей и сказал весело:

— А я, сестрица, умирать раздумал. Поживем, повоюем.

Сестра улыбнулась.

— Ну и хорошо, голубчик.

Утром врач подошел к Сергею, осмотрел его, пожал плечами.

— Ну что ж, все идет хорошо. Здоровый у вас организм, батенька — благодарите родителей. Сказать по правде, не чаял сегодня с вами разговаривать, ну а теперь все будет хорошо.

— И я не чаял, — сказал Сергей улыбаясь, — да Вера не пустила.

Доктор поглядел на сестру.

— Ну, еще побредит немного, — сказал он.

И отошел к другим.

Сними траур

I

Первую весть о кончине молодого литератора, Сергея Аполлоновича Лепинского, пошедшего на войну добровольцем рядовым и убитого шрапнелью, получил его близкий давний друг, Борис Михайлович Тимаев. Они были дружны с детства, вместе учились в гимназии, вместе отбыли годы университетской науки, оба на юридическом факультете. Потом Лепинский и Тимаев вместе зачислились помощниками присяжных поверенных, но оба занялись не столько юридическою практикою, сколько журнальною и газетною работою. Для довершения близости они даже и женаты были на родных сестрах.

Лепинский был человек большой душевной чистоты и, как всякий хороший русский интеллигентный человек, чувствовал себя ответственным свыше меры своих сил за несовершенства русской общественной жизни. Это бросало тень грусти на его одушевленное, нервное лицо с пламенно горящими глазами и заставляло его строить личную жизнь строго аскетически. Он изобрел свою систему возрождения России и страстно проповедовал ее. К женщинам он относился целомудренно-нежно. Женился он очень рано, еще когда был в университете, двенадцать лет тому назад, на старшей из двух дочерей покойного профессора Деяновского, Евгении Валентиновне. Эта девушка пленила его своею

тихостью и улыбчивою мечтательностью. Через год после свадьбы у них родился сын Леонид. Других детей не было.

Тимаев был самый обыкновенный молодой литератор, питерский, с издерганными нервами и с зеленым лицом. Его жена, Валентина, младшая дочь Деяновского, занималась живописью, была тонка, бледна и раздражительна.

В редакции газеты, где работал Тимаев, он узнал о смерти Лепинского. Он помчался домой, яростно погоняя извозчика.

— Дорога плохая, — оправдывался бородатый и, по питерскому обыкновению, очень грязный извозчик, подергивая свою дымящуюся лошаденку мышиного цвета с раздутым животом, что делало ее похожею на безрогую корову.

Сани то скользили по неглубокому сероватому снегу, то визжали на обледенелых камнях крупнобулыжной мостовой. Извозчик вытаскивал кнут и замахивался над лошадью. Тимаев кричал:

— Извозчик, не бейте лошади! Вы ее вожжами правьте. Вы вожжи опустили, кнутом хотите. Нельзя бить лошадь!

— Без кнута она не побежит, — уныло отвечал извозчик. — Она — хитрая.

Кое-как добрались до дому. Тимаев взлетел на лифте в седьмой этаж громадного дома, где была его квартира.

Валентина сидела перед натянутым полотном, освещенным сверху ярким светом стосвечовой электрической лампочки, и судорожно бросала на холст мазки самых неожиданных колеров. Первые слова, которые услышал Тимаев, были гневным окриком:

— Не можешь стоять, не надо было браться! Сам напросился, потерпи немножко.

Тонкий голосок робко пищал:

— Да я, тетечка, ничего. Я только немножко ворохнулся, а то по ногам мурашки побежали.

Тимаев досадливо подумал: «Совершенно неожиданное осложнение. Нельзя же при мальчике вдруг бухнуть о смерти его отца».

А ждать было нельзя. Тимаев потому и торопился домой, что хотел, чтобы Валентина осторожно подготовила сестру Евгению к ужасной вести.

Тимаев вошел в комнату. Маленький Леонид радостно улыбнулся ему навстречу, но не двигался. Мускулы его худенького тела слегка вздрагивали от усталости, но это тело казалось радостным и еще хранящим следы глубокого летнего загара.

Тимаев молча пожал руку Валентины и глянул на холст.

«Хорошо!» — подумал он.

Из бесформенного хаоса мазков уже возникал образ яркий, сильный, стремительный, радостный, — буйный и сильный отрок с пламенно горящими, как у покойного Сергея, глазами.

— Непохоже, но хорошо! — сказал он тихо.

— Ты не можешь без критики! — двинув плечами, сказала Валентина.

Тимаев отошел к диванчику. Чтобы сесть за спиною мальчика, он подвинул к одному краю торопливо брошенную на диванчик одежду Леонида. Сел и, видя, что мальчику он не виден, сделал выразительный жест жене от мальчика к дверям. Валентина поняла, но рассердилась.

— Еще бы только полчаса.

— Ленька устал, — сказал Тимаев.

Леонид, не оборачиваясь к нему, сказал все тем же нежным и хрупким голоском:

— Дядечка, я еще могу постоять полчаса.

Тимаев нахмурился и настойчиво повторил свой жест. По отчаянному выражению его лица Валентина поняла, что случилось что-то важное. Она шумно отодвинула стул, бросила на табурет кисти и палитру и досадливо крикнула:

— Ленька, одевайся!

Леонид подбежал к полотну поглядеть.

— Не смей смотреть, — крикнула Валентина. — Совсем еще ничего не сделано.

Леонид засмеялся, обхватил тонкими руками ее шею, крикнул:

— Спасибо, тетечка!

Поцеловал ее и побежал одеваться.

Когда Леонид ушел. Валентина тревожно спросила:

— Ну что, Борис?

— Сергей убит, — сказал Тимаев.

Валентина побледнела, задрожала, заплакала.

— Боже мой! Боже мой! Евгения не вынесет этого.

— У нее сын, — угрюмо сказал Тимаев.

Схватился за голову и бросился к себе в кабинет, чувствуя на щеках своих слезы, стыдясь их и странно им радуясь. Он упал на свой диван, лицом к спинке, и только теперь ясно понял и почувствовал, какое в этой вести для него горе. И для него, и для родных, и для друзей, которые все так любили светлую душу покойного Сергея Лепинского.

Через несколько минут в кабинет вошла Валентина, уже одетая, в шубке и шляпе.

— Я пойду к Жене, — сказала она.

Тимаев, поспешно вытерев платком слезы, быстро встал с дивана.

— Да, да, пойди. Только ты не сразу.

— Ах, конечно, не сразу! — отвечала Валентина. — Я подготовлю постепенно.

Как это часто бывает, когда душа потрясена высоким чувством, проказливая память подсказала Тимаеву глупый анекдот, и он сказал:

— Карапет немножко простудился, завтра похороны.

Валентина сердито посмотрела на него, хотела сказать что-то резкое, но увидела его расстроенное лицо и покрасневшие глаза, опять заплакала, поцеловала мужа и вышла.

II

Лепинские жили недалеко, минут пять ходьбы. Такой же громадный дом с такими же архитектурными вычурами, такой же узкий лифт, двум едва повернуться, такая же светлая и уютная квартирка на седьмом, полумансардном этаже.

Евгения встретила Валентину в передней. Улыбаясь нежно, поцеловала ее. Сказала:

— Ленька счастливый пришел, говорит, — портрет очень красивый будет, гораздо лучше меня самого.

Потом, вглядевшись, обеспокоилась.

— Ты плакала о чем-то?

Валентина принужденно улыбнулась.

— О чем мне плакать? Очень резкий свет был у меня в мастерской, и я немножко долго работала, глаза покраснели, да и Ленька устал.

Леонид выбежал, опять поцеловал Валентину.

— Нет, тетечка, ничего, я только немножко устал.

Вошли в комнаты. Было светло, тепло и грустно.

— Выпьешь с нами чаю? — спросила Евгения.

— Да, пожалуйста.

«Надо удалить Леонида», — подумала Валентина.

— Саша, чаю, — сказала Евгения вошедшей на звонок горничной.

Валентина тихо сказала сестре:

— У меня капризы, точно я в положении. — И погромче, чтобы слышал вертевшийся тут же, все еще радостный, Леонид: — Вдруг захотелось калача. И непременно от Филиппова.

— Я сбегаю, — вызвался Леонид.

— Вот я и хотела просить, Женя, чтобы ты Леньку послала. Если Сашу послать, она возьмет где попало, а Ленька уж верно добежит до Филиппова. Да, Ленечка, ничего, что далеко?

— Ничуть не далеко, тетечка, — весело отвечал Леонид, — живым духом слетаю.

Евгения внимательно смотрела на Валентину. Она слегка побледнела, и пальцы ее дрожали, когда она доставала из кошелька серебряную монетку для Леонида.

— Оденься потеплее, Ленька, — говорила она сыну, — да не беги очень скоро, еще упадешь, поскользнешься. Саша только что самовар поставила, успеешь вернуться и не торопясь. На сдачу можешь купить себе шоколадинку.

Сама затворила за Леонидом дверь на лестницу и вернулась к сестре.

«Леонид еще не так скоро вернется, — думала Валентина боязливо, — успею понемногу, как-нибудь, в разговоре».

Евгения села против сестры и смотрела на нее молча и тревожно. Валентина заговорила о вестях из армии.

— От Сергея давно писем нет, — тихо сказала Евгения.

Ее бледное, вдруг словно похудевшее лицо передернулось жалкою гримасою страдания и горя. Она заплакала.

— Я знаю, зачем ты пришла, — тихо сказала она, — Сергея убили, я это чувствую. Потому ты и Леньку отослала.

Валентина хотела что-то сказать, — и не смогла. Слезы мешали ей говорить.

III

На другой день в обычный час Леонид пришел к Валентине. Уже он был в траурной курточке, и лицо его было бледное, огорченное и заплаканное. Он молча разделся и стал на то же место, как и вчера. Валентина нерешительно взялась за кисти. Леонид сказал:

— Послезавтра мамины именины. Тетечка, подари этот портрет маме в ее именины. Он такой светлый! Мама обрадуется, тогда я ей скажу: «Мама, сними траур, не плачь, — отец умер, но я с тобою, его сын, и я буду сильный, смелый и буду тебя радовать».

Ему хотелось плакать, но он стойко удерживал слезы. Он знал, что под кистью Валентины возникает яркий, радостный, сильный образ могучего отрока, такого, каким Леонид хочет быть, каким он будет.

Валентина быстро работала. Целый вечер продержала Леонида, давая ему по несколько минут отдыха.

Евгения пришла за сыном, в траурном платье, бледная, еще более похудевшая. Заслышав ее голос в прихожей, Леонид быстро подбежал к Валентине и зашептал:

— Тетечка, не пускай сюда маму. Я хочу, чтобы она сразу увидела портрет и обрадовалась.

Валентина кивнула головою, Леонид быстро отбежал на свое место. Открылась дверь, вошла Евгения. Валентина поспешно отодвинула подставку.

— Не смотри, Женя, — крикнула она, — портрет еще не кончен. Я и Леньке его пока не показываю.

— Хорошо, — отвечала Евгения, — я посижу с Борисом.

IV

На другой день к вечеру портрет был готов. Леонид стоял перед ним, смотрел долго, счастливо улыбался и плакал. Огненные глаза, похожие на отцовы, глядели на него с портрета.

— Ну, глупый, о чем же ты плачешь? — лаская его, спрашивала Валентина.

— Тетечка, — говорил Леонид, — я на портрете такой яркий и радостный, точно не я, и в то же время я. Ничего не боюсь и все могу, что захочу.

— Да, — сказала Валентина, — все сможешь, что захочешь. Вырастай умеющим хотеть и делать. А завтра пораньше утром приходи за портретом, — покажешь его маме сам.

V

В день маминых именин Леонид утром бегал к тете Валентине. Принес портрет, — большой, тяжелый, едва дотащил. Непременно захотел сам нести.

— Что делает мама? — спросил он у Саши.

Саша хмуро отвечала:

— Известно что, — смотрит на вашего папаши портрет да плачет.

Леонид вошел к матери.

— Мамочка, тетя Валя прислала тебе подарок.

— Ну, покажи, разверни, — слабо улыбнувшись, сказала Евгения.

Леонид торопливо сорвал бумагу и поставил портрет на стул.

— Смотри, мама.

И сам пытливо смотрел на мамино лицо. Лицо Евгении слегка зарумянилось. Она глядела на изображение отрока, ярко пламенеющее перед нею.

— Хорошо! Очень хорошо!

— Мама, это еще не я, — говорил Леонид, — но я таким буду.

— Это — мечта моя о тебе, — сказала Евгения, — о моем сыне, о сыне моего Сергея.

И опять заплакала. Леонид говорил настойчиво:

— Я таким буду. А ты, мама, радуйся, — отец умер доблестно, и я буду его помнить и буду достоин его светлой памяти. Мама, мама, когда люди умирают так доблестно, не надо носить по ним траур. И когда они оставляют после себя сыновей, сильных и смелых, не надо носить по ним траур. Мама, сними траур, не печалься, — отец будет рад, что его смерть не сломила тебя.

Евгения, плача, обняла Леонида.

— Слабенький ты у меня, — сказала она тихо.

Леонид быстрым движением вырвался из ее рук.

— Мама! — крикнул он, — и я не хочу носить траура. Я хочу быть сильным, радостным и смелым.

И он проворно сбросил с себя всю одежду и стоял обнаженный рядом со своим изображением, бледная тень созданного чарами искусства яркого образа. Но глаза его пламенели так же, как огненные глаза изображенного отрока. Он дрожал весь и настойчиво повторял:

— Мама, надень то платье, которое ты сшила к именинам, а это ужасное платье сними, сожги! Сними траур, мама, и радуйся!

Евгения покачала головою.

— Как я могу радоваться, когда милый мой убит!

Леонид заплакал и закричал:

— Я пойду на лестницу, на двор и буду там стоять на морозе голый, пока ты не скажешь мне, что сегодня же снимешь траур и наденешь праздничное платье.

И он стремительно выбежал из комнаты, толкнул в дверях входившую зачем-то Сашу и побежал в переднюю.

— Ленечка, Ленечка, куда вы? — закричала испуганная Саша.

Но уже Леонид выскочил на лестницу и побежал вниз. Успел добежать до пятого этажа, когда сверху послышался голос Евгении:

— Леня, вернись, я сниму траур и не надену его, пока ты со мною.

Леонид побежал вверх, навстречу бегущей к нему по лестнице Евгении. Она обняла его, смеясь и плача, и повела его домой, повторяя:

— Радость моя, сыночек светлый, мы не будем носить траур. Светлой душе отца твоего не нужны наши слезы, наши воздыхания. А я помогу тебе стать таким светозарным, каким написала тебя тетя Валя.

Визит

— Принимают? — спросил уверенный услышать «да» Латанский у открывшей дверь на его звонок румяно-спокойной горничной, эстонки Эльзы.

И вошел в переднюю, где после его звонка рукою быстро прибежавшей Эльзы был повернут бронзовый выключатель и вспыхнула электрическая лампочка в голубоватого стекла тюльпане.

— Генеральша дома, — отвечала Эльза, стаскивая с молодого человека меховое пальто. — Примут. Только они в слезах. И в сборах.

Латанский приглаживал перед зеркалом жидковатые волосы на начинающей лысеть голове. Кстати любовался своим холодным, холеным лицом, на котором нос был тонок и прям, губы алы, брови черны, глаза холодны и остры. Это лицо казалось ему красивым. Дамы холодного города в этом были с ним согласны.

Он улыбнулся на слова Эльзы и спросил негромко:

— О чем слезы? И куда сборы?

— Насчет генерала огорчаются, — отвечала Эльза. — Собираются вечером нынче ехать в армию.

— В чем дело? — тревожно спросил Латанский.

У него были расчеты провести этот вечер вместе с молодою генеральшею, Евгениею Петровною. Потому он и зашел днем в этот праздничный день, хоть был здесь только вчера, в первый день Рождества.

— Генерал ранен, — сказала Эльза. — Сегодня пришло письмо.

Открыла дверь в гостиную. Латанский взглянул на нее, хотел потрогать ее за подбородок, чтобы полюбоваться тем, как вспыхнет непорочная Эльза, но раздумал, увидев в Эльзиных глазах слезинки. Спросил:

— Кого же тебе жалко, генерала или генеральшу?

— Все утро барыня плачет, глядеть жалко, — сказала Эльза и пошла докладывать.

Латанский пожал плечами.

«Чудит Евгения Петровна, — думал он досадливо. — Мужа не любит, в меня влюблена, о чем плакать, не понимаю».

Нетерпеливо ходил по гостиной, где стены, ковры и мебель были в серовато-жемчужных и блекло-розовых тонах, и невнимательно поглядывал на картины и портреты. Досадливо думал, что придется долго ждать, пока Евгения будет уничтожать следы пролитых ею слез. Но ждать пришлось недолго. В соседней комнате послышались легкие, быстрые шаги. Латанский едва успел согнать с лица гримасу скуки и нетерпения и сделать из своих прямо разрезанных губ улыбающееся подобие готового натянуться тугого лука, алеющего на этой тетиве.

Молодая, красивая и заплаканная, вышла Евгения. Протянула Латанскому руку и заговорила:

— Можно ли было этого ожидать? Ранен! И тяжело! Начальник дивизии, — и ранен, как прапорщик! Какая отчаянная храбрость!

— Милая Женечка, — говорил Латанский, целуя ее руки, — успокойтесь, не плачьте. Ваш муж — доблестный воин, он не жалеет своей жизни, но ведь ваши слезы ему не помогут и не упадут на его раны целебным бальзамом.

— Я все утро плачу, — сказала она жалующимся голосом.

И опять заплакала. Латанский говорил ласково, но уже слегка нетерпеливо:

— Женя, милая, но ведь я с вами. Я вас люблю, я вас не оставлю.

Евгения глянула на него, на секунду отняв от глаз платок. Ее заплаканные глаза блеснули остро и зло. Латанскому стало досадно, что она плачет при нем, не заботясь о том, что от слез краснеют веки и некрасивым делается лицо.

Евгения сказала:

— Да, вижу, вы не на войне. Вас еще не призвали.

Латанскому стало весело, как всегда при мысли, что ему-то не придется лежать в холодных окопах, что жизни его не угрожает никакая опасность.

— И не призовут, — весело сказал он. — К счастью, я занимаю такое место, которое меня освобождает.

Приятная теплота разлилась по всему его облеченному в элегантный костюм телу. Так приятно знать, что ничто не нарушит милых привычек удобной жизни.

Евгения, шурша белым шелком платья, подошла к окну. Смотрела рассеянно на людную улицу. Сказала тихо:

— Какой он отважный! Я сегодня к нему еду. Он в госпитале в... Завтра я его увижу. Как я взгляну ему в глаза!

— Женя, что вы говорите? — с удивлением воскликнул Латанский.

В его серых глазах мелькнуло что-то, похожее на испуг.

Евгения посмотрела на него внимательно и заговорила тихо, и голос ее слегка дрожал, точно от страха:

— Послушайте, Николай Сергеевич, а что, если он знал? Если он знал, что я делаю? Если он нарочно? Если он искал смерти?

Латанский улыбнулся. На его холодном лице появилось выражение самодовольства, противное теперь для Евгении. Его лицо точно лаком покрылось. Он говорил:

— Что вы придумали, Женечка? Спокойный, рассудительный генерал, и вдруг... Нет, он слишком предан своей службе, чтобы придавать такое значение делам любви. Слишком служака, чтобы риско-

вать собою без надобности. Если он ранен, значит, это так случилось, без всякой вашей вины. Несчастная случайность, которая на войне может постигнуть всякого военного.

Евгения смотрела на Латанского холодными, чужими глазами. Внимательно разглядывала такие знакомые черты холодного, красивого лица. Вдруг сама себе удивилась, где же очарование этого лица? Этого человека она любит? Для него она уже готова была изменить своему отважному, доблестному мужу? Неужели это так?

Она тихо говорила:

— Мой доблестный муж! Он — герой!

И слова ее словно заражали ее душу очарованием доблестью мужа и влюбленностью в него.

Латанский сказал холодно и насмешливо:

— Женечка, не влюбитесь в него опять.

— Он достоин, чтобы его любила женщина лучше меня, — тихо и задумчиво говорила Евгения, — чище меня, благороднее. Да, я сегодня же поеду к нему.

Латанский пожал плечами. Но, вспомнив свои сегодняшние надежды, сделал себя нежным, насколько мог, и сказал:

— Я понимаю ваше побуждение ехать к нему, — это трогательно и очень прилично. Поезжайте, но помните, что вы оставляете здесь человека, который преданно и неизменно любит вас. И, по-моему, лучше вам ехать завтра. Сегодняшний вечер подарите мне. Об этом просить вас я и приехал.

Евгения молчала. Стояла перед Латанским, опустив глаза. Уже не плакала. Ее тонкие пальчики мяли маленький кружевной платок. Потом она вздохнула и сказала:

— Что же мы стоим! Сядемте.

Села на диван. Заговорила о постороннем. Латанский ходил по комнате. Смутные желания томили его.

«Нет, — думал он, — сегодня я не пущу ее уехать. Необходимо ее удержать. Иначе весь мой день будет испорчен».

— Женечка, — сказал он, — сегодня вы очень милы. Слезы идут к вам так же, как и смех. Я даже и не подозревал, как вы можете быть очаровательны, когда плачете.

Он говорил не то, что думал, но ему хотелось лестью вызвать улыбку на милых Жениных губах.

Евгения слабо улыбнулась. И сейчас же погасла улыбка.

— Не говорите мне этого, — тихо сказала она.

Латанский сел рядом с нею. Она боязливо глянула на него. Глаза его, холодные глаза благополучного чиновника, зажглись. Он быстро обнял Евгению и поцеловал ее в щеку.

Евгения вздрогнула, порывисто вскочила, закричала:

— Я ненавижу вас! Если он умрет, я вас убью.

И выбежала из комнаты.

Так быстро все это произошло, что Латанский не успел даже встать. Он сидел на диване и растерянно глядел на дверь, за которою скрылась Евгения. Ни одна фраза не складывалась в его мозгу, словно вдруг обескровленном.

Вошла Эльза. Глянула на Латанского сердитыми глазами преданной господам служанки, потупилась и сказала:

— Барыня извиняются, у них очень голова разболелась. Легли отдохнуть.

Латанский нахмурился и вышел. Он чувствовал, что эта недавняя связь порвалась навсегда. Поэтому он старался внушить самому себе, что Евгения уже начала надоедать ему.

Плохое утешение! «Плохой конец благих минут!»

А Евгения, у себя запершись, плакала и целовала последний портрет своего мужа. И плакала, и раскаивалась, и давала себе клятвы никогда, никогда не изменять мужу. И потом молилась долго, чтобы муж остался жив.

Незамерзающий мальчик

Какие трагические и значительные события в стране ни совершались, жизнь тех, кто в этих событиях непосредственно не участвует, должна идти своим порядком. Духом уныния да не заразимся: это — дух липкий и, раз угнездившись, раскидывается широко.

Своим чередом пусть празднуются радостные дни, пусть зажигается в каждом доме традиционная елка, обрусевшая не за нашу память. Газеты и журналы пусть печатают святочные рассказы. Как бы ни смеялись юмористы над шаблонностью тем этих рассказов, пусть будет в них даже обычный рождественский мальчик, которому очень холодно. Правда, нравы наши смягчились, — замораживать до смерти нищих простых мальчиков не следует, — но можно взять здорового мальчика из зажиточной и образованной семьи и подвергнуть его легкому действию холода, по его доброй воле. Это будет эстетическое преобразование старого образа, — жалкие лохмотья нищего да преобразятся в красивое одеяние, пригодное для закаливания юного организма. Нам же в России так надобно, чтобы новое поколение возрастало бодрым и здоровым. Известно, что «полезен русскому здоровью наш укрепляющий мороз».

Каждый год тридцать первого декабря у Мажаровых устраивалась елка, соединяемая со встречею Нового года. Грише Мажарову исполнилось тринадцать лет в марте, других детей у Мажаровых не было, и Гриша, конечно, мог бы и без елки обойтись. Но эта традиционная елка радовала и взрослых, отца и мать, а потому и Гриша, мальчик в меру серьезный и в меру веселый, ждал ее с таким же приятным чувством, с каким ждал он всегда и других семейных праздников. Притом же елка была только предлогом для того, чтобы весело провести день и ночь.

Днем, с трех часов, приходили мальчики и девочки коротко знакомых семей. В четыре часа дети обедали, потом веселились около елки. В семь часов обедали взрослые. В девятом часу обед кончался. Пили кофе с ликерами в гостиной, а в кабинете Мажарова курили. В одиннадцать часов начинали съезжаться приглашенные встречать Новый год. Елка опять зажигалась. В половине двенадцатого садились ужинать. Грише в последние годы позволялось сидеть с большими до половины первого. Большие же начинали по-настоящему

веселиться только во втором часу ночи, — танцевали, кто-нибудь играл на рояли, кто-нибудь пел.

В остальные дни Святок бывали на елке у знакомых.

Но в этом году перед праздниками о елке старались не вспоминать. Вообще в этом году все было не так, как всегда. Присяжный поверенный Алексей Дмитриевич Мажаров поехал воевать, надев мундир защитного цвета и погоны с одною полоскою и одною звездочкою. Принимая последний раз клиентов, он говорил весело:

— Я уже не адвокат, я — прапорщик.

Его жена, Елена Юрьевна, шила кисеты, три раза в неделю ходила в лазарет, устроенный адвокатами, и заботилась о сборах и сбережениях. Гриша в свободное от своих уроков время читал о войне и помогал матери в ее заботах о вещах, посылаемых на позиции. Было Грише скучно, что нет отца, что пуст его большой и уютный кабинет. Алексей Дмитриевич Мажаров был человек решительный и веселый. При нем Грише нельзя было распускаться и шалопайничать, жизнь текла в строго очерченных берегах, и выходить за границы установленного порядка было опасно. Зато бывало иногда очень весело, в часы досуга и отдыха: отец был неистощим в придумывании самых разнообразных занятий и развлечений, и все его выдумки всегда бывали остроумны и полезны.

Привычка к домашней дисциплине была сильна в Грише, и без отца он вел себя очень хорошо. Но, так как мать была мягче отца, то иногда налаженный домашний порядок все-таки расхлябывался, и от этого Грише делалось скучно и кисло, — возможность своевольничать его не радовала. Он вырос в привычках спартанских, и всякая расслабленность тревожила его.

Иногда Гриша даже ворчал на мать:

— Надо решительно говорить, можно или нельзя. Я не могу всего знать. Я — не отец семейства, чтобы за все отвечать.

Если Елена Юрьевна за что-нибудь упрекала Гришу, он, случалось, говорил ей:

— Мама, в тебе нет никакой последовательности: сегодня так, завтра иначе. А вот у отца всегда одно и то же, что вчера, то и сегодня.

Елена Юрьевна то хмурилась, то улыбалась и говорила:

— Ты, Гришка, кажется, чувствуешь недостаток родительской строгости? Так вот погоди, отец вернется, за все сразу высечет. Будешь доволен!

Гриша досадливо краснел.

— Мама, — говорил он, — отец вернется, так его что ж огорчать? Я веду себя в общем неплохо и тебя слушаюсь. Тебе на меня жаловаться не придется.

— Ты много рассуждаешь, — отвечала мать, — и мне с тобой некогда.

Да Гриша и сам знал, что мама очень занята.

Уже в начале декабря Гриша услышал разговор о елке, — очень неприятный разговор. Услышал отрывок разговора, случайно. Что-то понадобилось спросить у матери, и он пошел искать ее.

В гостиной у Елены Юрьевны сидела одна из ее подруг, Анна Александровна Латанская, молодая, белоликая дама с ленивыми и нерешительными движениями. Она тоже была жена присяжного поверенного, но ее мужа не взяли, — он был для этого стар и тяжел. Говорили о разном. Елена Юрьевна услышала из соседней большой комнаты приближающийся знакомый скрип на гладко натертом паркете голых Гришиных ног: дома Гриша всегда ходил босой, иногда так выбегал и на снег ненадолго, гордясь тем, что он — спартанец, сильный и закаленный. Подумав о Грише, Елена Юрьевна вспомнила о приближающихся праздниках и спросила:

— Ну, как в этом году елка? У вас будет? Как всегда?

Латанская нерешительно пожала круглыми плечами и сказала:

— Да уж не знаю, право. Говорят, что елка — немецкий обычай. Я слышала, что и не позволят рубить елки. Пожалуй, не будем делать.

—Да, — сказала Елена Юрьевна, — и я думаю, лучше эти деньги на елку в окопы послать. Не позволять едва ли станут, но не такое настроение.

В это время в комнату вошел Гриша. Он услышал эти слова. Удивился немного, но сейчас же подумал: «Отца нет, так уж какая была бы елка!»

Латанская, улыбаясь, посмотрела на его коротко остриженную голову, на его серенькую мягкую курточку с белым длинным галстуком, на его стройные, сильные ноги, и спросила:

— А что Гриша на это скажет?

Елена Юрьевна вздохнула, улыбнулась.

— Он у нас — спартанец. Думаю, сам откажется. Но если он захочет, конечно, елка будет, как всегда под Новый год.

Гриша поцеловал у гостьи сладко пахнувшую руку и сказал:

— Конечно, лучше эти деньги послать на елку в окопы. У нас все есть, а бедным солдатам холодно.

— Конечно, — сказала Латанская, — это — верно, Гриша.

И, обратясь к Елене Юрьевне:

— Молодежь так отзывчива ко всему этому, так работает и помогает, — сердце радуется, глядя на них.

Больше об этом не говорили. Только через несколько дней сам Гриша напомнил, что пора посылать елочные деньги. Тогда, не откладывая дела, Елена Юрьевна с Гришею сосчитали, сколько могла бы стоить нынче елка и отнесли эти деньги знакомому литератору, сбиравшему пожертвования на рождественский подарок солдатам.

Когда Елена Юрьевна и Гриша возвращались домой, швейцариха, жена запасного, заменявшая своего ушедшего на войну мужа, сказала Елене Юрьевне:

— И чего это все господа придумывают? Уж так рассчитывала для Петяйки на теплую курточку, да не туда повернулось. Ничего ему нонче не будет, — ведь вот незадача!

— А что такое? — спросила Елена Юрьевна, остановившись около швейцарской.

Гриша слушал внимательно — Петяйка, десятилетний заморыш, был ему мил.

— Да что, — говорила швейцариха, — пришел сегодня Петяйка в школу, а им учительница говорит: «Милые дети, говорит, Дума городская велит вас благодарить, что вы такие выказались очень добрые, от елки в пользу солдатиков отказались». Мальчишки глазами хлопают, а она посмотрела, ухмыльнулась, говорит: «Елки у вас до будущего года не будет, а деньги ваши елочные Дума в окопы посылает». Вот и остался мой Петяйка без теплой курточки. Так одно к одному, — и отца нет, и елки Петяйке не будет.

— Пусть он к нам на елку придет, — с размаху сказал Гриша.

И вдруг вспомнил:

— Ах, да и у нас не будет елки!

Елена Юрьевна погладила его по плечу:

— Ничего, теплую куртку Петяйке мы сделаем.

Гриша призадумался над швейцарихиным рассказом. За обедом он сказал:

— Ну хорошо, мы нашему Петяйке дадим теплую куртку, а ведь есть такие, которым, пожалуй, никто теплой куртки не даст.

— Что же делать! — отвечала Елена Юрьевна.

— Бедным детям надо устраивать елку, — им теплые вещи дают, — говорил Гриша.

— Теплые вещи солдатам еще нужнее, — сказала мать.

— Правда, — согласился Гриша.

Шли дни. Настали праздники. Лампады теплились, а елки не у всех знакомых были. Ну что ж! Все ж таки кое у кого была елка. Приглашали Елену Юрьевну с Гришею. Говорили:

— Вы сами нынче елки не устраиваете, так у нас побывайте.

Отказываться было неудобно. Если сказать: «Немецкий обычай», — отвечали: «Да уж он обрусел». Если сказать: «Война, а мы веселимся», — отвечали: «Солдатам легче не станет, если мы нос на квинту повесим».

Да были Грише и другие развлечения.

На третий день праздника от отца пришло письмо, жене и сыну вместе. Как всегда, получение письма было праздником, волнующим

обоих. Письмо было длинное, на четырех страницах, писано карандашом. Мажаров писал, между прочим: «Жалею, что меня не будет на нашей елке. Но душою буду опять с вами. Глазами души буду видеть, как у вас горят огоньки свечек, как блестит и искрится на елке сусальный снег. Снег и у нас будет настоящий, и елки, пожалуй, будут, а свечек зажечь не придется».

Грише стало как-то неловко. Он сказал:

— Отец и не знает, что мы эти деньги, елочные, пожертвовали и что елки у нас не будет.

— Мы ему об этом напишем, — сказала Елена Юрьевна.

На том и успокоились. Отцу написали, — как всегда, шесть страничек Елена Юрьевна, вечером, и рано утром последние две странички Гриша. Он же надписал конверт и заклеил его.

Отправляясь утром кататься на коньках, Гриша положил письмо в карман своего пальто, чтобы опустить в почтовый ящик. Почтовый ящик был совсем близко, только перейти через переулок и пройти сажен пятнадцать до угла ближней улицы. Но Грише надо было идти в другую сторону, он торопился застать товарищей, — и так немного опоздал, занявшись письмом, — и потому он решил опустить письмо в другой ящик, где-нибудь по дороге.

О домашней елке не говорили все эти дни.

Днем тридцатого декабря Грише стало почему-то скучно. Мать была в лазарете. Гриша был один. Читал книгу, сидя в своей комнате, скрестив под столом ноги. Читал невнимательно. Думал об отце.

На улице уже темнело. В комнате топилась печка. Гриша оставил надоевшую книгу и подошел к печке. Он любил смотреть на огонь. Дров уже не было, только что сгорели, рассыпались на ровную россыпь углей; цвет их был — расплавленный янтарь, а тени были фиолетовы и казались пятнами жаркой крови. В глубине печки жаркий воздух казался гуще, и казалось, что видны восходящие токи безвидного пламени. Иногда взлетали и опять опускались черные, плоские пепелинки, мелкие, как птицы. И все пространство беспламенно горящих углей казалось раскаленным пожарищем погибшего мира.

Гриша сел на пол перед печкою, обхватив руками скрещенные голые ноги. Засмотрелся на огонь, вдруг скрипнула, открываясь, дверь. Гриша обернулся. Вошла горничная Таня, молодая, пополневшая на городских легких хлебах и неутомительной работе девица, грамотная, любезная и хитрая. У нее в руках было письмо.

Гриша радостно вскочил и вскрикнул:

— Из армии! От папочки!

Таня засмеялась.

—Да нет, Гришенька, не из армии, а в армию. Забыли, видно, опустить, в кармане проносили.

Гриша растерянно вертел письмо в руках. Таня лукаво говорила:

— Сходить, опустить? Или до барыни подождать? Барыня, пожалуй, рассердится. А то я схожу, опущу, барыня и не узнает.

Гриша покраснел и сказал досадливо:

— Я и не думаю от мамы скрывать. Оставьте письмо у меня. Я сам спрошу у мамочки.

Таня хихикнула и вышла.

Гриша положил письмо на стол, опять опустился на пол перед печкою и стал раздумывать, что теперь делать. Яркое пылание углей раздражало и волновало его.

«Что ж тут сидеть? — подумал он. — Может быть, сейчас письма из ящика вынимать будут. Надо послать скорее».

Гриша вдруг решился, схватил письмо и побежал в переднюю, на лестницу, на улицу. Ни шапки, ни обуви не надел, очень торопился.

Сбежал с третьего этажа, к выходной двери. Швейцариха, жена запасного, поглядела на него и сказала:

— Морозно, Гришенька. Простудитесь.

Гриша весело сказал:

— Ничего, я только до почтового ящика.

— Письмо, что ль, опустить? — спросила швейцариха. — Так Петяйка сбегает, он дома.

Но Грише хотелось самому кончить начатое. Самому всегда веселее все делать. Он крикнул:

— Нет, я сам. Петяйка сунет в благотворительный ящик, письмо заваляется, а оно спешное.

И выбежал на улицу. Только белый галстук взметнулся от сквозняка в дверях. Швейцариха покачала головой. Подошедшая к телефону барышня из двадцать второго номера, зеленолицая и худенькая, всплеснула руками и вскрикнула:

— Ах, Боже мой! Зачем вы его выпустили на мороз раздетого? Он себе ноги отморозит.

Швейцариха махнула рукою и засмеялась.

— Ништо ему сделается. Он, барышня, не такой, как мой Петяйка, хлипкий. Здоровый мальчишка, крепкий. Ему и мороз нипочем.

Гриша перебежал неширокий переулок наискосок к почтовому ящику. Как всегда, крепкие объятия мороза веселили и забавляли Гришу. Хотелось громко кричать от восторга, вбирая глубоко в грудь бодрый морозный воздух.

Снег был неглубокий, хрупкий, остро-радостный. В слабо освещенном фонарями переулке никто не шел и не ехал. Уже Гриша стоял перед желтым ящиком и уже толкнул письмом жестяную завесу узкого прореза. Но вдруг ярко блеснули в Гришиной голове тревожные мысли: «Папа душою будет на нашей елке, будет видеть ее глазами своей души, а елка не зажжется. Нет, тут что-то неладно вышло. Я никогда ничего не забываю, а это письмо забыл, — может быть, это — указание, что его и не надо посылать. Надо еще с мамою поговорить».

По улице мчались санки, завернули в переулок. Знакомый голос окликнул Гришу. Гриша глянул, — это возвращалась домой мама.

«Вот и еще указание! — подумал Гриша. — Только что я о маме подумал, а она тут как тут».

И бросился бежать домой. Подбежал к подъезду в то время, когда мама уже выходила из санок.

— Ты к почтовому ящику бегал, Гриша? — спросила мать, входя за ним с улицы в дверь.

— Да, мамочка,— сказал Гриша, — письмо носил, да раздумал бросать, назад принес, с тобой поговорить о нем надо.

— Кому письмо? — спрашивала Елена Юрьевна.

— Папочке, — отвечал Гриша.

— Опять? — с удивлением спросила она.

Гриша засмеялся.

— Да нет, мамочка, то же самое письмо.

— Тебе холодно, Гриша? — спросила мать, глядя на тающие снежинки на Гришиных покрасневших и радостно проворных ногах. — Мороз на улице.

— Нет, мамочка. На улице было холодно, здесь сразу стало тепло. Точно в горячую воду вошел.

— Ну, скорее домой, — торопила мать. — Все же надо согреться. Так что же с письмом? Забыл тогда опустить?

Гриша стыдливо пожал плечами.

— Догадалась, мамочка? Да, такая досада!

Подымаясь по лестнице, Гриша торопливо рассказывал матери, что случилось с письмом и что он об этом думает.

Вошли домой. Таня встретила, усмехаясь.

Гриша сказал:

— Таня думала, что я хочу от тебя скрыть.

— Мне что ж! — сказала Таня, весело усмехаясь. — Я пальто Гришенькино чистила, письмо нашла, отдала, — мне какое дело!

— Она хотела меня покрыть, — весело говорил Гриша. — Она сегодня добрая, письмо от своего жениха получила, из армии.

Таня зарделась, засмеялась.

— Да что вы, Гришенька! Какой он мне жених!

— Так как же, Гриша? — спросила Елена Юрьевна. — Отец там, в армии, завтра вечером будет думать о нашей елке, будет воображать, как на ней свечки горят, как нам весело?

— Да, мамочка.

— А елки у нас не будет?

— Да, мамочка. Потом отец получит наше письмо, узнает, что елки у нас не было, — и выйдет, что напрасно он представлял нашу елку, то, чего не было.

— Выйдет, Гриша, что мы его обманули?

— Да, мамочка.

Отвечал Гриша на мамины вопросы и уже чувствовал, что вот еще немного, и он заплачет. Мать засмеялась, погладила его по стриженой голове и сказала:

— Ну, Гриша, одевайся. Магазины еще открыты, пообедаем позже. Я пока на завтра кое-кого приглашу. Остальных вечером.

Гриша радостно улыбался, Елена Юрьевна говорила:

— А вы, Таня, во что бы то ни стало достаньте на завтра елку. Лучше сегодня же купите.

— Да уж достала, — сказала Таня. — Катя еще вчера купила.

— Как купила?

— Да так. В кухне стоит. Я ей говорю, — не будет нонче у наших господ елки. А она мне, — не может того быть, — каждый год бывала елка, как так нонче не будет! Взяла да и купила. Уж она такая самовольная!

— У нее было предчувствие, что папа непременно захочет елки! — весело закричал Гриша.

Елена Юрьевна улыбнулась.

— Что на папу сваливать? Не Гриша ли захотел?

Гриша засмеялся и побежал к себе. Натягивая серые чулки на быстро потеплевшие ноги, он думал: «Вот как хорошо выходит! Папа не даром завтра будет думать о нашей елке, — елка будет, мы его не обманем».

И зажглась под Новый год елка, и собрались вокруг нее веселою толпою.

А ночью Грише снились веселые сны. Снилось, что отец вернулся живой и не раненый и рассказывает без конца интересные истории.

Дед и внук

Над белою скатертью обеденного стола горела шестнадцатисвечная лампа «Осрам». Сидели за столом, как всегда, двое, дед и внук, инженер Заревой в серой тужурке и гимназист Дима в домашней

красивой и легкой синей курточке, в коротких панталонах, с босыми ногами: он воспитывался по-спартански. Разговаривали. Пожилая горничная Христина, ухмылялась, слушая.

— Если бы мне тебя, дедушка, не было жалко, я бы давно ушел на войну, — сказал Дима.

— Четырнадцатилетних не берут, — спокойно возразил дедушка. — Мне шестьдесят лет, и меня в солдаты не возьмут. Так-то, друг, старый да малый сиди дома. Без нас воинов в России много, сильных, молодых, здоровых.

— Нет, дедушка, — спорил Дима, — мне уж скоро пятнадцать. На войне такие есть. Иные мои сверстники отличиться успели. Я еще подумаю, подожду, да и поеду.

— А тебя вернут с дороги, — говорил дед.

— А я опять уеду, — отвечал Дима.

Заспорили, стали горячиться.

— Я тебя не пущу.

— Да я сам убегу.

— И думать не смей. Чуть что замечу, высеку.

Дима улыбнулся и заговорил спокойно, убеждающим голосом:

— Дедушка, я смерти не боюсь, и ран не боюсь, так разве мне от тебя будет что-нибудь страшно?

— А вот высеку, так забоишься, — ворчливо сказал дед.

— Дедушка, я — спартанец, — говорил Дима. — Бояться мне нечего. Если бы я чего-нибудь боялся, я бы сам себя презирал. Ты на меня не сердись, милый дедушка, но я тебе прямо скажу, что меня дома не страх держит.

— А что же? — спросила дед.

— Да так, — все думаю, — отвечал Дима. — Буду ли полезен? Не буду ли только помехой? Посмотрю на себя в зеркало, — ростом мал, с лица мальчишка. Патроны подавать? Нет, лучше разведчиком быть, бойскаутом. Если бы я в тех местах вырос, давно бы в деле был. А в незнакомой местности... Да нет, дедушка, уж ты не сердись, если я в одно прекрасное утро исчезну.

Дед нахмурился и сердито сказал:

— Да и ты, друг, не сердись, когда тебе от меня за эти разговоры достанется.

Так часто перекорялись дед со внуком. Редкий день не было такого спора. Иногда кончались эти споры мирно, иногда большими неприятностями.

Дима остался круглым сиротою по пятому году и вырос у деда. Был он мальчик рассудительный, спокойный, сильный, здоровый. Жажда приключений не томила его, может быть потому, что дед мало стеснял его и летом Дима жил вольною птицею.

Когда Дима оставался дома один, он доставал припрятанный им с осени отцовский мундир пехотного штабс-капитана и надевал его на себя. Великоват! Стоя перед зеркалом, Дима сам себе казался слишком малым и забавным в этом большом для него одеянии. Ему казалось тогда, что в солдатском мундире он будет похож на оловянного солдатика и над ним будут смеяться. Да и не дадут ему солдатского мундира, — такого роста разве бывают солдаты? Если бы хоть на полвершка быть повыше!

Иногда Дима плакал от досады, иногда утешал себя соображениями, что отец был высокий и что он сам, Дима, скоро подрастет.

А дед, уйдя к себе в кабинет и притворивши поплотнее двери, пробовал заняться гимнастикою, — делал приседания, сгибание и вытягивание рук, нагибание туловища вперед, назад и в стороны, брал стул и с ним сгибал и вытягивал руки. Та же мечта была у него, как и у внука, — пойти на войну, — и надежда: вот от гимнастики прибавится сил, помолодеет, потеплеет кровь. Но скоро убеждался, что сила уж не та, как в молодости, и не прибавляется, скорее убывает, — скоро уставал, руки и ноги дрожали, сердце билось, хотелось полежать. Он думал с досадою: «Да, и я не гожусь в воины».

Кончался год, дни стали понемногу прибывать. Дима перестал спорить с дедом. Он окончательно решил, что седьмого января уйдет из дому, как будто в гимназию, а сам проберется в воинский поезд и отправится на войну.

Когда люди долго живут вместе и очень дружны, у них иногда совпадают биения волевых темпов. И у деда явилась мысль после праздников проситься, чтобы его хоть ратником зачислили. В войсках он никогда не служил, но был рьяным охотником и стрелял хорошо. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, и день наметил он тот же, что и внук наметил: седьмое января. А пока стал приискивать, кого бы пригласить в дом для Димы. Иногда думал, что лучше Диму отдать куда-нибудь.

Встретили Новый год дед и внук вдвоем, как всегда. Пожелали друг другу исполнения желаний, и оба почему-то смутились при этом. А ночью оба видели почти одинаковый сон.

Снилось Диме великое полчище охотников-отроков в синих одеждах, таких же как домашняя Димина. У каждого за спиною на перевязи висело охотничье ружье. Они шли из города, утонувшего в садах, по широкой дороге, обсаженной липами и березами, веселыми деревьями. Мальчики были веселые, шли быстро и бодро. Они пели песню, мелодия которой радовала и волновала. Из этой песни запомнился Диме припев: «Убивайте только зверя!»

Дима стоял один на краю дороги и дивился на проходивших мальчиков.

— Иди с нами! — сказал один из мальчиков Диме, когда замолк припев песни.

— А куда вы идете? — спросил Дима.

— Мы идем в леса убивать вредных зверей, — отвечал мальчик.

— Нет, — сказал Дима — мне с вами не по дороге. Я иду на войну.

Засмеялись мальчики.

— О чем вы смеетесь? — дивясь, спросил Дима.

Мальчик, разговаривавший с ним, сказал:

— Разве ты не знаешь, что окончилась последняя война? Берлина нет, войны больше не будет, и наши ружья только для дикого зверя.

— Да, да! — закричали другие мальчики, — войны больше не будет.

— Берлина нет!

— Это была последняя война.

— Последнее кровавое Рождество.

— Наши отцы и братья умирали не даром.

— Они победили войну!

— Войны больше не будет!

Громко и радостно звучали их голоса, как перезвон колоколов большого праздника.

Дима проснулся. Вскочил с постели и бросился бежать к деду, крича:

— Дедушка, это — последняя война.

Деду снился белый приемный зал. Окна открыты, с улицы доносится гул многих голосов. Высокий седой генерал идет навстречу деду. Дед говорит:

— Возьмите меня хоть в ратники, хоть провиантские магазины сторожить. Ведь взяли же во Франции Анатоля Франса, а я на десять лет моложе.

Генерал улыбается и отвечает:

— Я знаю, вы — отличный охотник и стрелок. И внук ваш отличился на пробной стрельбе. Он в нашем городе по меткости оказался первым.

Дед и рад и горд. Но ему страшно за внука, и он говорит:

— Диме еще рано, меня возьмите.

Генерал говорит:

— Да, вы будете начальником юных охотников вашего города. Надо истребить последних волков и медведей.

— Я хочу на войну, — говорит дед.

Генерал смеется и говорит:

— Разве вы не знаете, что это была последняя война? Берлина нет, войны не будет, наши ружья только для дикого зверя.

В открытые окна с улицы слышны громкие крики:

— Убивайте только дикого зверя!

— Войны больше не будет, — кричит Дима, тормоша деда. — Убивать будем только зверя.

Дед просыпается. Дима садится на его постели и рассказывает свой сон. Деду весело. Он говорит:

— Так-то, друг, кровь проливается не даром. Великое слово — последняя война! Война против войны!

— Великое слово, — повторяет Дима.

— Что же, милый друг, ты должен делать? — спрашивает дед.

Дима думает, краснеет и говорит:

— Жить для будущего.

— А что надо для будущего? — спрашивает дед.

Дима отвечает:

— Много учиться. Быть сильным и добрым.

— А зачем нужна сила и доброта? — спрашивает дед.

Дима отвечает:

— Убивать только дикого зверя. Уничтожать всякое зло.

Дед говорит:

— Зло уничтожать не мы с тобой начали. И о прошлом помнить надо.

— Знаю, деда, — говорит Дима. — Я знаю, что должен чтить подвиги доблестных воинов, побеждающих войну. И быть поскромнее, — не соваться с моими слабыми силенками на великий подвиг. А если эта война будет длиться долго, придет и моя очередь. Позовут, — пойду. А тайком от тебя не сбегу.

— Спасибо, друг, утешил, — говорит дед.

Хочет поцеловать Диму, но Дима быстро соскакивает с его кровати и становится на колени.

— Постой, дедушка, — говорит он, — хвалить меня погодить, а наказать есть за что: ведь я уже совсем надумал седьмого января бежать на войну.

Дед смеется. Говорит:

— Старый да малый друг на друга похожи. Ведь и у меня, друг, такие же мысли были. Думал: Димку в пансион, а сам в ратники.

— А теперь раздумал? — спрашивает Дима.

— Раздумал, — говорит дед.

— Ну и я раздумал.

И оба рады. Хорошим сном встретил их Новый год, — тот год, который обещал смертию смерть попрать.

Тихий зной

I

Хотя Яков Леонидович Бреднев уже два года тому назад получил звание лекаря, но еще он был так молод, что ему все нравилось в жизни. Как мальчик в нравоучительной сказочке Круммахера, он находил очаровательными каждое время года и каждую хвалимую местность на земле, не думая о других временах и местах и не сравнивая. Поэтому ему очень нравилась и дачная деревушка Мягарраги в Эстляндии, на берегу Финского залива, и дачники, и местные эстонцы, и милая природа этого края.

Бреднев совсем не был озабочен толками о том, что скоро начнется война. Но когда стали говорить, что из-за войны придется уехать с побережья в город раньше обычного, он опечалился и решился действовать энергично: ведь он же был влюблен в Ольгу Шеину, влюблен уже два месяца, но роман его все еще оставался открытым на первой странице.

Бреднев встал рано утром и пошел на морской берег. Он знал, что в этот час на берегу, если пройти за деревню версты полторы на запад, не встретишь никого, кроме Ольги и ее двух племянников, мальчиков семи и шести лет. Малыши не помешают, а с Ольгою надо поговорить наконец решительно и прямо.

Из-за рощицы на песчаном прибрежном бугре слышались голоса и смех Ольги и детей. Радостное ощущение силы, здоровья и веселости охватило Бреднева, — то самое ощущение, которое он испытывал всегда, когда приближался к Ольге. И это ощущение было тем сильнее и милее, что и Ольгина сестра Катя и ее муж Николай Борисович Ложбинин были самые подлинные столичные нервники и нейрастеники.

У самой воды на камне сидела Ольга, девушка лет двадцати четырех. Ее глаза были устремлены на даль морскую с выражением детского любопытства и веселого удивления, — широкие, голубые,

глубокие глаза. Широко разрезанный алогубый рот улыбался нежно, лукаво и доверчиво, и от этой улыбки все ее милое лицо, бронзово-загорелое, казалось озаренно-хорошеющим с каждою минутою. Пригретая на мелком песке вода обнимала загорелые так же темно, как и лицо, почти до колен приоткрытые стройные ноги. Ее простая белая одежда казалась такою нарядною, сквозной зеленовато-синий шарф на ее черных волосах был завязан так мило, — и от всего этого Бреднев почувствовал умиление и нежность, и ему казалось, что он не посмел бы поцеловать ни ее алых губ, ни ее смуглых рук.

Два мальчика в купальных костюмчиках, с голыми руками и ногами, в соломенных шляпах, весело загорелые, плескались и бегали по воде у берега, радостно занятые водою и камешками. Ольга почти не смотрела на них, но чувствовалось, что они водятся ее волею. Услышав шаги, Ольга обернулась, встала, улыбнулась радостно и ласково. Бреднев поздоровался с нею и с детьми, — и мальчики опять занялись своею игрою.

— Да, так правда, что будет война? — спросила Ольга. — И германцы могут сюда прийти?

Бредневу мило и забавно было видеть на Ольгином лице это выражение вопроса и удивления. Он улыбался и уже хотел сказать что-нибудь пугающее, но вовремя вспомнил, что Ольга вовсе не робкая, что она ничего не боится. Желание подразнить Ольгу быстро погасло в его душе. Он сказал:

— Германцев сюда не пустят, и опасности нет никакой.

— А мы собираемся уезжать, — сказала Ольга.

И на лицо ее легла тень печали. И вдруг оно стало таким, словно никогда и не знало улыбки, и от этого еще более очаровательным.

— Сестра Катя очень беспокоится и боится, — говорила Ольга, — и все порывается поскорее ехать в город.

— А Николай Борисович? — спросил Бреднев.

Ольга опять засияла улыбками, и на этот раз в ее улыбке было милое слияние радости и печали. Неясное предчувствие тихо ужалило влюбленное сердце молодого человека. Предчувствие чего? Он ждал, что скажет Ольга.

Она говорила:

— Николай Борисович — прапорщик запаса. Его возьмут, а сестра Катя уже воображает, что мальчики останутся сиротами.

Слезинки блеснули в Ольгиных глазах.

— А вы? — спросил Бреднев.

Лицо его стало мрачно. Ольга подняла на него удивленные глаза.

— Что я? — спросила она.

— Послушайте, Ольга Григорьевна, — тихо говорил Бреднев, — мне надо сказать вам кое-что. Пройдемте немного подальше от детей.

— Дети нас не слушают, — отвечала Ольга.

Но Бреднев смотрел на нее такими умоляющими глазами, что Ольга улыбнулась, посмотрела на детей внимательно, с внезапным выражением строгой воли, и пошла вдоль берега. Мальчики, занятые игрою, не заметили, что она отошла. Казалось, что они и не позовут ее, пока она сама о них не вспомнит.

Бреднев шел за Ольгою, смотрел на то, как ее загорелые голые стопы легко и спокойно ступали на сыроватый, теплый песок, оставляя на нем легкие, красивые следы, — и сердце его замирало от любви к этой тихой девушке с любопытными глазами на смуглом лице.

Ольга остановилась, улыбнулась, поглядела на Бреднева вопросительно.

— Так вы о чем? — спросила она.

Спросила так спокойно, точно ждала, что он заговорит о завтрашней прогулке. Но ее голубые глаза потемнели. Бреднев понял, что она уже знает, о чем он с нею будет говорить, и сердце его замерло от страха. Точно проваливаясь в бездну, он сказал поспешно:

— Я вас люблю, Ольга.

Ольгины глаза потемнели еще более и стали испуганными. Но за мгновенным выражением испуга в ее глубоких глазах явственно было на широком разрезе алогубого рта выражение воли, уже решившей все свои пути. Под тонкою тканью белой одежды Ольгина грудь поднималась высоко и торопливо. Ольга смотрела прямо на Бреднева и говорила:

— Друг мой, я боялась, что вы мне скажете это. Боялась. Но ведь вы знаете, что я только с детьми. Я их не оставлю, пока они не подрастут. И я совсем не стремлюсь к семейной жизни.

Бреднев смотрел на нее с удивлением. Слишком спокойно звучал ее голос. Как будто уже готов был ее ответ на все подобные случаи. Самолюбивая досада отразилась в чертах его слишком добродушного лица.

— Я так и думал, — досадливо сказал он. — Дело не в детях, а в их отце.

Ольгины глаза гневно зажглись.

— Как это глупо! — сказала она и быстро побежала к мальчикам.

Бреднев не решился идти за нею. Стоял на берегу.

II

— Пора завтракать, дети! — сказала Ольга.

Мальчики побежали по песку и мшистой подстилке прибрежного песка к своей даче на окраине эстонской деревни. Ольга тихо шла вдоль берега, думая о своем и мечтая. Она знала, что дети найдут дорогу и что с ними здесь ничего не случится. Скоро их звонкие голоса перестали доноситься до нее. Тогда она вдруг всплеснула руками, повернулась лицом к морю, и по милому лицу ее потекли быстрые слезы. Не вытирая слез, она постояла с минуту, потом вздохнула, улыбнулась и пошла своею дорогою.

Она думала о том, кого она любила давно и безнадежно, о муже своей сестры. Знал ли он, что она его любит? Кажется, в последнее время он стал догадываться об этом. Иногда его усталые, рассеянные глаза останавливались на ней с внезапным и пристальным вниманием.

Ольга думала, что женитьба Николая Борисовича на ее сестре Кате была ошибкою и что он был бы счастливее с нею. Уж очень была раздражительна и взбалмошна сестра Катя. Да и не так уж сильно любила она мужа. Так, только держалась за него с чувством собственницы. Дорожила им больше как отцом своих детей и как неску-

пым мужем. Но так же охотно вышла бы и за другого, если бы не подвернулся в свое время этот. А Ольга могла любить только одного. И что ей ее молодость и красота? Пройти, отцвести, склониться затоптанным цветом придорожным.

Каждый раз, когда кто-нибудь из молодых людей подходил к ней с вниманием и ласкою, она замирала от страха. Что она скажет на слова чужой любви?

Лучше было бы ей уехать далеко, жить одной. Но не слышать милого медленного голоса, не видеть этого нервного лица с мерцанием тихих глаз, — это было бы ей уж очень тяжело. И она жила с сестрою. Зимою давала уроки в школе. Присматривала за племянниками. Настаивала на том, чтобы их воспитывали в суровой близости к природе, в дружбе с чистыми стихиями.

Сначала сестра Катя боялась, что Ольга простудит, заморозит ее детей. Потом поверила, оставила детей на попечение Ольги и занялась своими делами и развлечениями, суетною жизнью женщины, у которой не так уж мало денег, чтобы стоило тратить время и заботы на их добывание.

Ольга говорила ей и Николаю Борисовичу:

— Посмотрите на себя в зеркало, — ведь вы не живые люди, а просто комки слабых нервов. Подумайте, как вы живете: вам противно встать утром рано, и вы оживаете только тогда, когда зажигается электричество.

Катя отвечала:

— Зимой утром вставать рано! Да это же невозможно, — темно, холодно, тоскливо. Нет, я только к вечеру чувствую себя хорошо.

— Слабое, нервное поколение, — говорила Ольга. — Одна только надежда, что дети будут иными. Я хочу, чтобы ваши дети были сильными, смелыми.

И часто спорили о детях. Катя сердито кричала:

— У тебя нет своих детей, ты не можешь понять чувств матери.

Ольга смотрела на нее спокойно и думала: «Твои дети — дети холодной, вялой любви, — полулюбви. Без меня они были бы полу-

людьми. Только моя любовь, любовь моя без меры, сделает этих детей детьми радости и счастья».

Настойчиво и терпеливо добилась она того, чтобы дети воспитывались как она хотела.

III

Дома — шум, крик. Еще издали услышала Ольга Катин крик и детский плач и побежала к дому.

— Что такое? Что случилось? — спрашивала она, вбегая на террасу.

Эмилия, эстонка за немку, по титулу бонна, а на деле нечто среднее между экономкою и горничною, миловидная молоденькая девушка в белой блузке и синей юбке с кожаным поясом, босая и загорелая, как Ольга, пугливо отвечала:

— Екатерина Григорьевна сердится, зачем дети долго гуляли. А я не могла за детьми сходить, мясник приезжал, белье гладить, варенье варить надо, так много дела по дому.

Видимо радуясь, что можно уйти от детей плачущих и от хозяйки рассерженной, Эмилия быстро побежала через сад в кухню, поправляя на бегу воткнутые в прическу желтые целлулоидные гребенки. Прическа у нее была такая же, как у Ольги, и во всем она старалась подражать Ольге.

Ольга подумала: «Отчего я, так легко накладывающая на других печать моей воли, все-таки волею моею не могла взять его любви, не заразила его моею любовью? Или только тот и силен, кто силен не о себе, чья любовь не разделена и чиста?»

Ольга не спеша вошла в комнату. Мальчики бросились к ней и прижались к ее юбке, боязливо посматривая на рассерженную мать. Катя ходила по комнате, дымила папироскою, постукивала высокими каблуками и кричала:

— Разбалованные, скверные мальчишки!

Кое-как причесанная, кое-как одетая, слабо зарумянившаяся на летнем солнце, — Катя, по всему было видно, только недавно встала с постели.

— Что случилось? — спросила Ольга.

— Что случилось? — закричала Катя, останавливаясь перед Ольгою. — Скажи, пожалуйста, Ольга, что это значит, что дети целое утро пропадали Бог весть где и наконец пришли одни?

— Мы были вместе, — отвечала Ольга, — потом дети побежали домой, я отстала.

— Воплощенная кротость! — язвительно сказала Катя. — Но я знаю, где ты была и с кем любезничала.

— Эмилия Карловна! — крикнула Ольга, подходя к двери из столовой в сени, за которыми была кухня, — возьмите детей, побудьте с ними часок. Дайте им есть.

Эмилия торопливо вышла из кухни, оправляя рукава на покрасневших от кухонного жара руках, и увела детей в сад, в беседку, где завтракали и обедали в хорошую погоду.

— Николая Борисовича нет дома? — спросила Ольга.

— А ты не знаешь, где он? — сердито говорила Катя. — Я завтракала одна, в то время как вы изволили прогуливаться.

— Я с утра не видела Николая Борисовича, — спокойно возразила Ольга. — Уверяю тебя, ты ошибаешься. Если я с кем разговаривала, так только с Бредневым.

Катя язвительно захохотала.

— Сказки рассказываешь, милая.

Ольга улыбнулась.

— Бреднев сказал мне, что любит меня.

Катя зажглась нетерпеливым любопытством. Даже папиросу оставила, положила в пепельницу.

— Ну и что же? Что же ты? Сказала «да»?

— Сказала «нет», — ответила Ольга и заплакала.

Катя ярко покраснела.

— Вот как! Сказала «нет»! — с тихою яростью говорила она. — Скажите пожалуйста! Мы любим другого! Но только другой — чужой муж. Да тебя это не останавливает? Ну что ж, нарушай чужое счастье, отнимай у сестры мужа.

— Катя, Катя, зачем ты это говоришь? — плача сказала Ольга. — Я никогда ему ни слова не сказала о моей любви, и он никогда не узнает, что я его люблю.

— Зачем же ты живешь с нами?

— Только для детей.

— Чтобы сделать их грязными, царапанными дикарями?

— Чтобы сделать их господами и повелителями жизни, кующими свою судьбу по своей воле. Но если ты не хочешь, ты можешь сказать мне, чтобы я ушла, — твои дети, делай с ними что хочешь. Расти их такими же неврастениками, как ты и Николай.

Катя засмеялась. Села на диван. Задумалась, успокоилась.

— Ты — хитрая, — сказала она. — Уйдешь и его за собой потянешь. Нет, пока ты с нами, я все-таки спокойна. Я знаю, что ты — честная, что ты меня не обманешь.

Сестры обнялись и плакали.

IV

Вечером газеты принесли известие о мобилизации. События пошли быстро. Через несколько дней Катин муж был призван на войну, быстро собрался и уехал. Сестры остались на даче. Катя хотела уезжать в город, а Ольга уговаривала ее остаться хоть до половины августа.

— Пойми, — говорила она, — что раз Англия объявила войну, так германский флот ничего не может сделать. Здесь совершенно безопасно, высадка невозможна.

Катя ей бы, пожалуй, и не поверила и настояла бы на немедленном отъезде в город. Но разговор с Бредневым дал ее мыслям другое направление.

Проводив мужа до станции, Катя возвращалась домой на извозчике вместе с Бредневым.

— А Ольга Григорьевна не провожала? — спросил Бреднев.

— Она осталась с детьми, — отвечала Катя.

— Собирается в город?

— Ей не хочется в город, она настаивает, чтобы мы остались здесь до конца лета.

Бреднев засмеялся. Его добродушные серые глаза вдруг стали злыми. Он говорил:

— Не может быть! Ольга Григорьевна поступит на курсы сестер милосердия и постарается попасть поближе к Николаю Борисовичу.

Катя побледнела.

«О, хитрая, хитрая! — думала она про сестру. — Нет, ты не поедешь в город».

И они уехали самыми последними из дачников, когда уже ночи стали совсем темны и когда уже велено было не зажигать вечером огня в комнатах, окна которых видны с моря.

Переехали в город, и Катя стала тревожиться ожиданием, когда же Ольга поступит на курсы. Но Ольга занималась с детьми. Катя стала бояться, что Ольга и так найдет возможность уехать в армию, увидеть Николая Борисовича и увлечь его. Прочтя в газете рассказ о женщине, надевшей мужской костюм и попавшей в ряды армии, Катя очень испугалась.

«Вот так и Ольга поступит, — думала она. — Встретится с Николаем, и он влюбится в нее».

Не стерпев страха, Катя решила объясниться с сестрою. Детей отправила с Эмилиею на улицу, а Ольге сказала:

— Мне надо с тобою поговорить.

Когда сестры остались одни, Катя прямо приступила к делу. Она сказала:

— Ольга, не скрывай. Я догадалась. Я знаю, что ты хочешь сделать.

И заплакала. Ольга смотрела на нее, широко открывая глубину голубых, удивленных глаз.

— Катя, милая, что ты? О чем ты догадалась? Что ты обо мне думаешь? О чем плачешь? — спрашивала она, обнимая сестру.

Катя говорила:

— Ты обрежешь волосы, оденешься мальчишкою, достанешь паспорт и поступишь в солдаты.

Ольга засмеялась. Потом нахмурилась. Спросила:

— Зачем мне все это сделать?

— Ты сама знаешь зачем.

— Зачем же? Воевать с германцами? Быть с твоим мужем? — спрашивала Ольга.

— Да, да, вот именно все это, — сухим от злых слез голосом отвечала Катя.

Ольга обняла ее, поцеловала крепко и сказала:

— Катя, милая, поверь мне, я никогда не говорю неправды. И то и другое я уже сделала, мне не надо резать волосы и поступать в солдаты, — я и так воюю с врагами, мне не надо ехать туда, где Николай — я и здесь с ним. Ты меня понимаешь?

— Нет, — тихо сказала Катя.

— Пойми, Катя, — говорила Ольга, — я воспитываю в твоих детях волю к господству над жизнью, научаю их хотеть и достигать, и если они и другие дети, теперь растущие, станут такими, как я хочу, тогда никакой враг не будет страшен нашей родине.

— В этом, Ольга, я тебе давно поверила, — отвечала Катя. — Помнишь, как я испугалась, когда первый раз увидела детей голыми на снегу, на морозе? Теперь я за них не боюсь, я тебе верю. Но я того боюсь, что ты тянешься к моему Николаю и наконец отнимешь его от меня.

— Это могло бы быть, Катя, — отвечала Ольга, — если бы не было детей. Но ведь я, когда с его детьми, живу с ним и для него. Разве ты не понимаешь, какое это высокое счастье — быть с любимым в том, что живо и молодо, в его детях, и на этом мосту между ним и мною целовать его целованием чистым и без горечи?

Катя подняла голову, положила руки на Ольгины плечи и долго смотрела в ее дивные, навеки удивленные высокою тайною жизни и любви глаза. Долго смотрела и плакала. Потом стала перед Ольгою на колени, и приникла губами к ее рукам, и целовала их, целовала их упоенно и самозабвенно. И в эту минуту сердце ее открылось для любви, которой раньше она не знала.

Свет вечерний

I

Морозом дышали ночные просторы. На темно-синем небе горели звезды, и такими близкими казались они земле. Вниз опрокинутый высокий серп луны был тих, чист и ясен.

Тот, кто шел в лучах луны, поднимая порою глаза в лунную непорочность, так больно и трепетно чувствовал, что он все еще только человек. Человек, которому горестно и трудно, — может быть, потому, что в этом ясном и непреклонном сиянии только ему мглистым является его путь.

Иван Петрович Травин возвращался домой по одной из окраинных улиц маленького западного городка, где мороз был редким явлением. Чтобы не думать ни о чем, Иван Петрович смотрел на снег. Из-за длинных заборов пустынной улицы пушистые и белые от снега ветки деревьев бросали на снег сквозные тени. Странно было думать, что этот снег белого цвета, — так он синел, темнел в тенях, таинственно мерцал в лунном свете и неожиданно яснел в колеях и выбоинах.

Грустные думы, обычные спутницы Ивана Петровича, и теперь не покидали его, томили и отрадно утешали. Он думал о жене, которая его оставила, и о подростке сыне, который остался с ним.

Жена его оставила потому, что перестала верить в его святыню, в его надежды и поверила в механически-правильные мысли тех, кто ждет преобразования мира от фабричного города. Не потому, что разлюбила его, что полюбила другого. Он чувствовал,что она разлюбила не его, а эту всю почвенную жизнь, милую для него.

Сын остался. Его надо воспитать в той же любви, чтобы сердце его было пламенеющим и ревнивым, иногда ненавидящим любимое, но не выносящим хулы на родное. Но как трудна эта любовь!

Вот за этими заборами таятся дома бедняков, евреев, поляков, русских, выходцев из-за рубежа. Таится жизнь, то безумно дерзкая,

то безумно робкая. Таится много вражды и злобы. И злоба от нищеты и непонимания.

Родина, жена, сын — дом малый, свой, и дом большой, отечество. И переход от одного к другому, гимназии, где Иван Петрович давал уроки, и городок, взбаламученный войною, недалекою от этих мест, но все же уверенный, что враг сюда не доберется. В этом кругу вращались мысли Ивана Петровича, когда он услышал за собою чью-то робкую и торопливую побежку. Иван Петрович остановился и, досадливо поеживаясь, ждал, чтобы прохожий обогнал его. Как это бывает иногда у очень нервных людей, Иван Петрович не терпел чьих-нибудь шагов за спиною.

Всмотрелся в прохожего, узнал его по тощей фигуре, приподнятым плечам, рыжей острой бородке, по беспокойному, внятному и в полумраке, блеску вспыхивающих и потухающих, усталых глаз, по утомленной улыбке тонких, опущенных в углах книзу, губ, — узнал и удивился: это был еврей-портной Тейтельбаум, о котором много в городе говорили в последние два дня, и говорили так, что Иван Петрович никак не мог ожидать встречи с ним на улице.

— Это вы, господин Тейтельбаум? — воскликнул Иван Петрович.

Тейтельбаум, суетливо кланяясь, приподнял фуражку.

— Ну, это таки я, — говорил он, — и иду к вам, несу заказ. Вы себе думали, Иван Петрович, что вашего Сережи панталоны уже пропали и что Тейтельбаум болтается на веревке, а Тейтельбаум таки жив, и ничего такого с Тейтельбаумом не случилось.

— Пойдемте вместе, господин Тейтельбаум, — сказал Иван Петрович, — я иду домой. Да скажите, что такое в самом деле было?

Тейтельбаум рассказывал:

— Вы тоже подумали, что Тейтельбаум — шпион, что Тейтельбаума поймали? И это же мне все говорят, куда я ни приду: господин Тейтельбаум, разве вас еще не повесили? Но скажите, пожалуйста, за что меня вешать? Какой-то шарлатан донес, что ко мне пришел подозрительный человек, и ко мне пришли брать этого подозрительного

человека, ну и что же вы думаете, оказалось? Это наш таки еврейчик, раненый солдат. Он ко мне пришел, вот и все.

Иван Петрович сказал:

— Говорили, что этот подозрительный человек был одет как-то странно, не то солдат, не то цивильный.

— Ну, так он же только что вышел из лазарета, — отвечал Тейтельбаум, — я же не знаю, что он себе думал, зачем он отстал от своей команды. Его взяли и отправили куда следует. Скажите, пожалуйста, из-за чего такой скандал делать? Сам господин комендант сказал мне: «Ну, идите себе, господин Тейтельбаум, я знаю, что вы — честный еврей и занимаетесь своим делом».

Ивану Петровичу не хотелось расспрашивать Тейтельбаума о подробностях этой истории с легкомысленным солдатом. Он сказал:

— Вот и хорошо, господин Тейтельбаум, — значит, вас ни в чем не подозревают.

— И что вы тут видите хорошего? — жалующимся голосом говорил Тейтельбаум. — Начальство знает, в чем дело, а в городе все говорят, — шпиона поймали и на базаре повесили, зачем шпион. Это очень нехорошо, Иван Петрович.

— Да, это скверно, — согласился Травин.

Тейтельбаум продолжал:

— Ну, я таки ваш заказ исполнил, Сережи вашего панталоны починил. Правда, очень короткие вышли, потому что я низочки взял отрезал и положил заплатки где надобно, но при длинных чулках дома очень хорошо будет.

II

Дошли до того дома, где жил Травин. В одном из трех окошек деревянного домика светился огонь. Иван Петрович стукнул палкою в это окно и поднялся на крыльцо. Скоро дверь открылась; на пороге стоял двенадцатилетний гимназист в серой мягонькой одежде и в рыженьких

мягких валенках. Он радостно и ласково улыбался отцу, но, увидев Тейтельбаума, воскликнул от удивления.

— Господин Тейтельбаум, это вы!

— Ну и кто же, как не я! — с кислою улыбкою отозвался Тейтельбаум. — Я принес вам вашу вещь, чтобы вы ее примерили. И носите себе дома на здоровье, а Тейтельбаум еще долго будет на вас работать.

— А у нас, в гимназии, говорили, — начал было Сережа.

Иван Петрович строго посмотрел на него.

Мальчик покраснел и замолчал.

III

Иван Петрович и Сережа сидели в столовой и пили чай. Был седьмой час вечера. Раздался звонок, потом второй.

— Пелагеюшка наша опять спит, не слышит, — сказал Сережа и побежал открывать дверь.

Через минуту он вернулся, и вслед за ним в столовую вошла пятнадцатилетняя красивая девочка, ученица Ивана Петровича по женской гимназии, Сарра Канцель. По ее раскрасневшемуся лицу было видно, что она сильно взволнована чем-то и даже напугана. И потому в томном взоре черных, больших глаз и в дрожащей улыбке устало алых губ особенно ярко выявлялся еврейский скорбный облик. Она заговорила поспешно и тревожно:

— Простите, Иван Петрович, что я так поздно, но мне очень, очень надо с вами поговорить.

Сережа придвинул стул. Сарра села и вдруг заплакала, закрываясь руками.

— Саррочка, что с вами? — растерянно спрашивал Иван Петрович. — Ах, Боже мой, да о чем вы плачете?

Он неловко суетился около девочки, не зная, что сказать.

— Мне уйти? — тихо спросил Сережа.

Но Сарра услышала. Вдруг перестала плакать и сказала громко и точно со злостью:

— Нет, пусть и Сережа послушает, что я буду рассказывать. Пусть он скажет мне, за что, за что?

И опять заплакала горько.

— Саррочка, — говорил Иван Петрович, — успокойтесь, выпейте воды. Расскажите, что случилось.

Он ласково и неловко гладил по голове плачущую девочку. Она взяла его руку, порывисто поцеловала ее и сказала:

— Вы такой умный и добрый и все понимаете, а я не знаю сейчас, что я сделала, поцеловала или укусила. Я не знаю, что со мною, и за что, за что? Слушайте, я вам расскажу, и вы объясните мне это. Мы пошли на станцию встречать раненых, я, и Лиза Беляева, и Катя Нахтман, и еще несколько наших подруг, и гимназисты были, и Сергей Павлович, и еще были люди, уж я не помню сейчас, кто еще был. Но это все равно. Ну вот, слушайте, — мы знали, что в наш город сегодня должны привезти раненых в новый барак, и мы приготовили им кофе и угощенье. Но вот раненые приехали, и сначала все было хорошо, мы разливали кофе и сами разносили его, и все были довольны и благодарили. Ну вот я подошла к одному солдату и подала ему стакан кофе, говорю ему: «Кушайте себе на здоровье!» А он посмотрел на меня так сердито, спрашивает: «Ты — жидовка?» Я ему говорю: «Да, я — еврейка, но я — русская». А он замахнулся, вышиб у меня из рук стакан и крикнул: «Жидовка проклятая!» За что, за что?

Сарра упала головою на стол и плакала, плакала мучительно и долго. Сережа стоял и слушал. Щеки его ярко раскраснелись.

— Саррочка, — говорил Иван Петрович, — не судите его строго; он ранен, болен, устал, может быть, бредит; кто-то насказал ему злых слов, и он поверил. Он — бедный и темный человек и сам не знает, что делает.

— Но за что, за что нам это? — плача, говорила Сарра. — Отчего никто за нас не заступится? Ведь мы же русские! У нас нет другой родины, кроме России! Мы родились здесь и выросли, мы любим Россию и все русское, мы учимся в русской школе, читаем русских

писателей, мы во всем, во всем хотим быть с вами. Полмиллиона евреев в русской армии, — за что же нам это?

Иван Петрович слушал Сарру, говорил ей какие-то бледные, неумелые слова утешения. Голова его кружилась и болела. Вдруг припомнился вчерашний кошмар.

Вчера он пришел из гимназии очень усталый и расстроенный. После обеда стал было просматривать тетрадки. Но такая была усталость, что, посидев с полчаса, пошел в спальню и лег на кровать, как был в пиджаке. Даже крахмального воротничка не снял. Покрылся халатом. Лежал на правом боку, лицом к стене, подложив руки на подушку под голову. Заснул. Через час проснулся от какого-то шума в доме. Но встать не мог. Лежал в тяжелой дремоте, чувствуя, как обескровлен усталый мозг. Вдруг чья-то рука просунулась из-за изголовья к его лицу, мягкая, серая, с длинными пальцами. Чей-то издевающийся голос тихо говорил:

— Здравствуй, здравствуй.

Иван Петрович знал, что это кошмар, но не мог пошевелиться. Ему было страшно, и казалось, что он грызет эту вражью руку. Но враг смеялся и не уходил. К счастью, вошел Сережа, тихо сказал что-то, — и вражьи чары рассыпались. Он встал с постели и чувствовал, как холод входит в его кости.

«Скоро я умру!» — подумал он. Но эта мысль не была ему страшна. Он смотрел на светлую Сережину улыбку, на его сильные, стройные ноги, и думал: «Когда мы все отойдем, наши дети спасут Россию».

IV

И вдруг опять звонок. Сережа побежал отворять. Из передней послышался его крик, радостный, пронизанный радостными слезами:

— Мама, мамочка!

Иван Петрович побледнел. Сарра сказала:

— Я не вовремя пришла. Я уйду.

Иван Петрович улыбнулся печально и насмешливо:

— Останься, Саррочка, Надежда Николаевна сумеет тебя утешить.

И пошел в переднюю, встречать жену. Сам не понимал, рад ли ей.

Сарра перед зеркалом, висевшим на стене, вытерла слезы, поправила прическу и отошла к сторонке. Пред ее глазами словно плыл туман, и, как далекие, звучали радостные голоса.

Молодая, смуглая, черноглазая, быстрая женщина оживленно говорила:

— Я тебе не успею надоесть, завтра же еду дальше. Ну да, можешь представить, я выдержала все экзамены, какие полагается, и еду на войну сестрою милосердия. Ты мне позволь только переночевать у тебя. Ты спрашиваешь о Виталии Андреевиче? Но разве ты не знаешь, — ведь мы же с ним разошлись! Он оказался таким черствым и сухим человеком. Вот то уж полная противоположность тебе, — совершенно машинная психология, твердо верит в свои теории, ходит в шорах и всегда счастлив, туп и глуп. Ну, пои меня чаем. Сережка, наливай! Мороз отчаянный, пока с вокзала ехала, чуть не замерзла, — ведь там в Питере все больше шлеп-морозы, а у вас южнее, да похолоднее. Я вообразила, что у вас здесь чуть ли не розы цветут, поехала налегке, в осеннем. Или это только сегодня так холодно? Да ты не думай, что я после войны тебе на шею сяду, — слава Богу, прокормлюсь. А это что за тип там на диване? Учащаяся девица? Пришла побеседовать о Лермонтове? Поди-ка сюда. Ах, Боже мой, да это — Сарра!

Иван Петрович и Сережа улыбаясь смотрели на говорливую гостью. Даже Сарра улыбнулась, подходя к Надежде Николаевне.

— Что, плакала? — всмотревшись в девочку, спросила Надежда Николаевна. — Иван Петрович тебе двойку влепил, хочешь выплакать отметку получше?

— Видишь, Надя, — осторожно заговорил Иван Петрович, — это очень тяжелая история. Видишь, в чем дело.

И он передал рассказ Сарры. Надежда Николаевна выслушала внимательно, тряхнула головою и сказала решительно:

— Стоит обращать внимание! Очевидно, больной, расстроенный человек. Верьте, Саррочка, все это пройдет, русский народ разберется во всем этом. Я сама, когда уезжала отсюда, была в кислых и злых чувствах. Потому и уехала. А как пожила с этими машинно думающими людьми, так вдруг почему-то опять поверила в русского человека. Верь и ты, Сарра. Садись, поговорим по душам.

V

Часа через два Иван Петрович и Сережа вышли проводить Сарру до ее дому. Сарра была уже спокойна и весела. Да и Иван Петрович и Сережа шагали бодро и говорили весело. Неожиданная гостья сумела всех утешить и заразить своею вдруг опять загоревшеюся верою.

Красавица и оспа

В середине марта Кира Лабазина, девушка необычайно красивая, пришла наниматься в гувернантки к двум девочкам, тринадцати и одиннадцати лет. Не по объявлению, — послали знакомые. В руках было рекомендательное письмо, — очень хвалили, — а в душе — дрожь волнения и смутное воспоминание о многих местах, которые она уже успела переменить к двадцати четырем годам своей жизни. Нервы были уж взбудоражены, пока дожидалась минут пять в гостиной. Вешнее солнце слишком ярко играло на позолоченных стульях, и отраженный от паркета свет тускло блестел на позолоченных рамах картин. Дом богатый, праздный, — и Кира думала, что ей опять придется уходить скоро.

Вышла дама, стройная, миловидная. Очень молодым было сделано у нее лицо, и так искусно, что простодушные мужчины даже и не подозревали присутствия косметики.

Кира робко поднялась со своего стула. Дама, Нина Андреевна, невнимательно взяла письмо. Пробегая его глазами, рассказывала,

что у нее трое детей; воспитываются дома, — девочки и четырнадцатилетний мальчик, Костя. У него студент-репетитор. Муж на войне, полковник.

В нарядных комнатах странно и празднично смешивались запахи освященной вербы и по-парижскому милых духов. Нина Андреевна посмотрела на Киру и сказала:

— О, да вы — красавица!

Кира вдруг покраснела очень ярко и вдруг заплакала. Нина Андреевна удивилась. Спросила досадливо:

— Что такое? Что вы плачете?

И насторожилась. Так трудно найти хорошую гувернантку для девочек! Эту отлично рекомендуют, — но она так красива, — хорошо ли это? И притом ни с того ни с сего плачет, — что за странность?

Нина Андреевна вопросительно смотрела на Киру и ждала ответа. Кира горько плакала и говорила:

— Беда моя — красота моя! Горе мне от нее!

— Беда? Горе? — спрашивала Нина Андреевна. — Объясните, пожалуйста, толком. Я ничего не понимаю.

Кира принялась объяснять:

— Ухаживают за мною, пристают. Молодые люди не дают прохода.

Нина Андреевна села на диване, посадила Киру в кресло рядом и спросила:

— Отчего ж вы не выходите замуж?

И смотрела на Киру, все дивясь ее слезам и ее красоте. Думала: «Точно у нее там две пипетки выпускают слезку за слезкой».

Слезка за слезкой, — а глаза ясные, синие, а лицо прекрасное, одно из тех, которые даже странно встречать в жизни.

Кира говорила:

— О, они, эти молодые люди, разве хотят жениться на бедной гувернантке? Один был получше других, я его не любила, впрочем, но он был очень тих и мил. Может быть, я бы и вышла за него, — так, чтобы спастись. Но он пошел на войну, — офицер, и его убили на войне. А другие ухаживали грубо и дерзко. Не знаю, уж как меня Бог

26*

уберег. Но сколько мест пришлось переменить! К вам я с радостью пошла потому, что у вас нет взрослых сыновей.

Нина Андреевна засмеялась. Ее скучающей лени почудилось забавное развлечение. Она сказала весело:

— О, да ты, моя милая, недотрога. Это мне нравится. Ты у меня останешься. Ну-с, госпожа мимоза, поговоримте.

Поговорили и сговорились. На все есть такса, — есть такса и на труд гувернантки, сговориться нетрудно.

В тот же вешний вечер Кира переехала в квартиру Нины Андреевны и заняла отведенную ей каморку рядом с комнатою студента-репетитора. Кира сейчас же разложила свое несложное имущество и приступила к исполнению своих обязанностей.

На другой день утром горничная Маша позвала Киру к Нине Андреевне в спальню, — Нина Андреевна поздно вставала. В спальне было розово, полутемно и душно; в легком, еле слышном шуме вентилятора запах тех же духов, что и вчера, казался выдыхающимся.

Нина Андреевна лежала на спине, до горла закрывшись розовым одеялом. Лицо ее было в тени, — только на нижний край постели и немного дальше падала узкая полоса света от слегка раздвинутой оконной занавеси.

— Здравствуйте, мимоза, — привычно ласковым голосом сказала Нина Андреевна. — Не прячьтесь в тени, станьте так, чтобы я вас видела. Я вот что хочу спросить: надеюсь, у вас привита оспа?

— Привита, — отвечала Кира.

— Нынче привита? — спрашивала Нина Андреевна.

Кира как будто слегка смутилась. Тихо сказала:

— Нет, в детстве.

— О, этого недостаточно, — недовольным голосом сказала Нина Андреевна. — Все прививают, можно опасаться заноса эпидемии, если этого не сделать. Вы знаете, война, всякие болезни разносятся. Я и себе привила, и детям, и всем, кто у меня живет. Надо сегодня же и вам привить.

Кира заплакала. Нина Андреевна опять удивилась.

— В чем дело? У вас, милая, неисчерпаемые источники слез. Положим, к вашей очаровательной физиономии это идет, но все же это мне положительно не нравится.

Кира говорила:

— Нина Андреевна, я нарочно не прививала оспы. Если заражусь, так у меня не будет этой ужасной красивой физиономии, которая составляет мучение всей моей жизни.

Нина Андреевна засмеялась.

— Как это наивно! Но ведь вы всех нас заразите!

— Я сейчас же уйду, как только почувствую себя больной, — поспешно ответила Кира, словно оправдываясь.

— Ну, это — вздор! А на что же вы будете жить!

— У меня есть на книжке четыреста рублей.

— Вы их должны беречь, — наставительно сказала Нина Андреевна, — а не тратить на ненужное лечение, когда можно предупредить болезнь. Ну, мы с вами еще вернемся к этой теме, а теперь ведите девочек гулять.

Кира пошла гулять с детьми в Летний сад, а Нина Андреевна надела розовые бархатные туфли и фланелевый капот и пошла в столовую к телефону позвать знакомую фельдшерицу. Самым озабоченным голосом, какой только был в ее распоряжении, она говорила:

— Анна Ивановна, голубушка, к вам просьба усердная. У нашей новой гувернантки оспа еще не привита. Я так боюсь за детей.

— Да, конечно, конечно, — шипело в телефоне что-то, отчасти похожее на голос человеческий.

— Так уж вы, Анна Ивановна, пожалуйста, придите к нам как можно скорее.

Оказалось, что как раз через два часа фельдшерица может прийти, что у нее есть тубочка с детритом и все прочее, что может понадобиться. Нина Андреевна отошла от телефона успокоенная и принялась одеваться.

Кира с детьми вернулась. Через полчаса ее опять пригласили в спальню к Нине Андреевне и почти насильно привили оспу. Как она

ни отговаривалась, ничто не помогло. Нина Андреевна даже наконец сказала:

— Если вы будете упрямиться, я позову Машу и Зину, они вас подержат.

Только этого недоставало! Пришлось покориться.

Кира вышла из спальни с красным и злым лицом. Но и это не делало ее менее красивою.

Костин студент-репетитор, Петр Иваныч, встретился с нею в гостиной. Посмотрел, усмехнулся.

— Что? Обидели? — участливо спросил он. — У нас барынька взбалмошная, но, в сущности, добрая, не хуже прочих из дамского сословия, — так что вы ее слов особенно близко к сердцу не принимайте.

Кира молчала. Но не уходила. Искреннее, доброе участие слышалось ей в словах студента, и это трогало ее теперь особенно. Студент продолжал спрашивать:

— Что, придралась к чему-нибудь?

Он не был очень любопытен, но теперь его почему-то тянуло говорить с Кирою, хотелось услышать ее милый, ясный голос, смотреть в ее синие, ясные глаза.

Кира потупилась и тихо сказала:

— Оспу привили. Я вовсе не хотела. Почти насильно.

Он засмеялся и сказал весело:

— Да, и меня заставили. Да что ж вы сердитесь? Это — дело не вредное.

Кира и ему рассказала, почему ей хочется потерять свою красоту. Вдруг как-то доверчиво и просто рассказала. Точно знала, что он не посмеется, что он пожалеет.

Петр Иваныч посмотрел на нее. Пожалел. Как-то вдруг до сердца дошла острая жалость. И вдруг почувствовал, что любит Киру.

«История!» — досадливо подумал он. Быстро повернулся и ушел, точно сердясь на что-то.

Всю Страстную он ходил, как в чаду. Старался почаще быть около Киры, помочь ей, поговорить с нею. И так был взволнован жалостью

к ней и нежною любовью, что и она заражалась от него этими смутными и влекущими волнениями.

В субботу после завтрака Нина Андреевна взяла девочек с собою к одной из своих старых родственниц. Студент постучался в дверь Кириной комнаты. Кира встретила его на пороге смущенная и взволнованная почему-то. Сказала:

— Пойдемте лучше в гостиную.

— Ладно, — согласился Петр Иванович, — в гостиную так в гостиную.

И уже по дороге в гостиную заговорил:

— Послушайте, Кира Сергеевна, на кой черт сдался вам этот город?

— А как же? — с улыбкою спросила Кира.

— Поезжайте в деревню, работайте для народа, — горячо и убежденно говорил Петр Иваныч. — Там жизнь здоровая, нет этого чадного блуда.

— Да я — горожанка, — сказала Кира.

— Все это — ерунда! — воскликнул студент. — Вот я кончу, сдам государственные, и в деревню, — жить, работать. Полною жизнью жить.

— Что ж вы там будете делать? — спросила Кира.

— Ну, там дела сколько хочешь. Займусь устройством кооперации, — в них будущее молодой трудовой России. Вот бы и вам со мною.

Глаза его блестели. Кира уже и раньше догадывалась, что он влюблен. Для нее это была обычная история. И привычный страх охватил ее.

«Опять уходить?» — подумала она.

Привитая оспа томила ее зноем и ознобом. Руку странно и неприятно тянуло, — оспа принялась очень хорошо.

Петр Иванович заглянул ей в глаза. Говорил, волнуясь мило и молодо:

— А? Подумайте, да и махните со мною. Право, хорошо будет. Я вас устрою учительницею. Или, быть может, надоело с детворою возиться? Так ведь там не такие ребята, как здесь. А то и при другом деле устроить можно. Работы много, работников мало.

Что-то простое и хорошее протянулось от его глаз к ее душе. Она тихо сказала:

— Сама-то я ничего не знаю, никуда не гожусь! Даже в сестры милосердия не догадалась пристроиться.

И поспешно ушла к себе. Поплакала немножко. Много плакать нельзя было, — девочки вернулись и уже почти все время были с нею.

Ночью в церкви было ясно, празднично и радостно. Кира вдруг забыла все, что томило, — и оспа мучила меньше, и о красоте своей не думалось в этом благолепии праздничной службы.

Христосуясь после заутрени, студент тихо спросил:

— Любишь меня, Кира?

Сама не знала Кира, как ответила:

— Люблю.

— В деревню со мною поедешь?

— Поеду.

Возвращение

— Наши Перемышль взяли! — радостно сказала Ирина Григорьевна, входя в столовую, где уже сидел и дожидался обеда, хмуро читая вечернюю газету, Виктор Александрович Стогоров.

Он глянул на Ирину сердито, кисло усмехнулся и пробормотал:

— Читал уже сию радостную весть.

У Ирины заныло сердце и задрожали руки. Она села на свое место разливать суп. Знала, что неизбежен неприятный разговор и что опять он кончится резкою вспышкою.

Для этого-то вот человека она оставила мужа и детей! Правда, Стогоров умеет быть мил, любезен, остроумен даже, когда захочет. Но эта его странная неприязнь ко всему русскому, это его презрение к русскому грязному мужику, к низкой русской культуре, — это его необычайное преклонение перед всем, на чем стоит ярлык: «Сделано в Германии!»

Прежде Ирина не замечала всего этого. Казалось естественным, что человеку нравится хорошее чужое и не нравится худое свое. Ни к чему было, что в своем Стогоров никогда ничего хорошего не видел. Но война вскрыла все эти странные противоречия.

Ирина старалась не слушать нудных рассуждений Стогорова и думала о своем. Об оставленном муже. Было сладко думать о том, что он прислал ей с войны два письма. Теперь он уже командует полком. Был в боях, ни разу не ранен. Письма такие милые, дружеские, точно ничего и не было, точно к сестре пишет. Правда, Ирина сама начала переписку.

Так задумалась, что совсем забыла о Стогорове. Только его сердитый вскрик разбудил ее.

— Вам, кажется, не угодно отвечать на мои вопросы? Чем я заслужил такую немилость?

— Извини, я задумалась, — краснея, как молоденькая девушка, отвечала Ирина.

Вздохнула. Да, опять рассуждения о войне, придирчивые о русских, хвалебные о немцах. Надобно отвечать, участвовать в разговоре. Еле досидела до конца обеда.

После обеда сказала:

— Мне надо сегодня поехать к Кирилловым.

Стогоров промолчал.

На улице пахло весною. Небо было синее и сладостно-ясное, вечереющее небо ранней весны. Последнюю вербу купила Ирина у веселого, краснощекого от холода мальчика в синей маминой кацавейке. И потянуло ее идти к детям.

Их двое, — мальчику Сереже пятнадцать, девочке Лизе тринадцать. Она у них бывает почти каждую неделю. Всегда по секрету от Стогорова. Чувствует, что они ее жалеют и осуждают. С ними живет сестра их отца; у нее тоже девочка, на год помоложе Лизы.

Когда уже Ирина подошла по шумной улице к углу того переулка, где, во втором доме от угла, жили ее дети, странное волнение охватило ее, и она быстро повернула назад. Прошла немного, и стыдно ей стало.

«Что со мною?»

Она пошла опять, и опять у того же угла точно что-то отбросило ее назад. И так несколько раз подходила она к переулку и уходила. Наконец ушла.

И всю неделю почему-то не решалась идти к детям. Наконец уже в понедельник на Страстной, опять после обеда с неприятным разговором о германской культуре и о русской дикости, отправилась туда.

С сильно бьющимся сердцем Ирина позвонила у дверей той квартиры, которую она еще так недавно называла своею. Никогда еще она так не волновалась перед этою дверью, как теперь. И сама не понимала почему. Точно зрело в душе какое-то решение.

Как всегда, выбежали в переднюю встречать ее веселые, прыткие дети, и за ними вышла Наталья Сергеевна, как всегда озабоченная, с чуть-чуть растрепавшеюся прическою.

— Милая Наташа! — сказала Ирина, обняла ее и вдруг заплакала.

Дети притихли. Лиза взялась за мамин рукав и уж сама собиралась плакать.

— Что с тобою, Ириночка? Что такое? — растерянно говорила Наталья Сергеевна. — Да пойдем ко мне, — успокойся. А вы, дети, идите себе, идите.

Входя в комнату Натальи Сергневны, Ирина говорила:

— Боже мой. Боже мой, как я устала! У тебя так хорошо, Наташа, такое благообразие во всей вашей жизни, — и лампады, и цветы, и смех детский, и говор веселый. А у меня...

— Опять поссорились? — спросила Наталья Сергеевна.

— Он меня измучил! — воскликнула Ирина. — Может быть, тебе это смешно покажется, но он заставил меня почувствовать в себе русскую душу, любовь к России, любовь ко всему, о чем мы так легко забываем. Заставил тем, что он все это ненавидит, все это проклинает. Его злоба вызвала отпор в моей душе.

— Зачем же ты с ним? — спросила Наталья Сергеевна.

— Сама не знаю зачем. Сначала любила, теперь ненавижу. Если бы Володя был здесь, я бы пришла к нему просить, чтобы он опять пустил меня к себе и к детям.

— Какой вздор! — сказала Наталья Сергеевна. — Тебе не надо просить об этом, он будет рад, ты сделаешь ему радостный праздник.

— Мне стыдно, я не смею, — говорила Ирина.

Наталья Сергеевна замахала на нее руками.

— Молчи, молчи! — сказала она.

Раскрасневшаяся и взволнованная, она быстро пошла к двери и закричала громко:

— Дети, дети!

Слышен был веселый топот трех пар детских ног. Ирина сидела, уткнувшись лицом в платок, и плакала, плакала. Как сквозь туманную завесу доносился до нее голос Натальи Сергеевны из коридора:

— Сережа, Лиза, мама останется с вами.

Дети завизжали от радости и шумно вбежали в комнату. Смущенно остановились на пороге.

— Мама плачет, — сказал Сережа.

Ирина опустила платок и засмеялась. Мокрые от слез щеки ее были румяны.

— Мама ваша глупая, — сказала она. — Мама боится вашего отца и не знает, что он скажет, когда узнает, что я вернулась.

Сережа, мальчик с такими же быстрыми и веселыми глазами, как у отца, подошел к матери, обнял ее и сказал:

— Мы пошлем папе письмо, и я знаю, что он ответит.

— Что, милый? — спросила Ирина.

И со страхом смотрела на сына, и с надеждою. А он смеялся и молчал.

— Ну, что, что ответит? — кричала любопытная Лиза.

— Догадайся сама, — говорил Сережа.

Но всмотрелся в испуганные мамины глаза, и ему стало стыдно мучить и дразнить маму. Он поцеловал ее прямо в губы и сказал:

— Папа ответит: «Христос воскрес».

И всем стало радостно, большим и малым.

Надежда воскресения

Сестры ушли к заутрене, веселые и нарядные, а Ирина осталась дома.

— Мне будет лучше остаться одной, — говорила она, — помолюсь, подумаю о Коле, отдохну и встречу вас, а вы мне скажете: «Христос воскрес».

— Хорошо, только ты не очень плачь, — сказала старшая, веселая Екатерина.

Она была замужем за врачом, отбывавшим свой военный долг в одном из здешних лазаретов; у нее было двое детей, и жизнь казалась ей очень, в общем, хорошею.

Когда уходили, младшая сестра, Евлалия, улучила минутку остаться наедине с Ириною и, быстро поцеловав ее в дверях гостиной, где не горело ни одной лампочки, шепнула ей:

— Поплачь, Иринушка.

У Евлалии жених, как и у Ирины, тоже ушел на войну. Иринин жених убит на реке Бзуре, а Евлалин жених ранен и взят в плен в Восточной Пруссии. Евлалия понимала, что слезы — хорошо. И когда она сама плакала, ей легко становилось.

Ирина прошлась по квартире. С улицы доносились веселые голоса. В столовой уже накрыт был праздничный стол. Пахло мирно и домашне. Гиацинты смешивали свой тонкий яд с темными дыханиями ванили, миндаля, шафрана и кардамона. И этот смешанный яд благоуханий был для Ирины зовом смертной тоски.

Прошла в кухню, — и там пусто. Все ушли, — Ирина одна, совсем одна.

Вернулась к себе. Надо надеть белое праздничное платье, снять на один этот день свой черный траур.

Вот оно лежит, все белое, перекинутое на спинке голубого кресла. И перед ним на полу пара белых туфель и на кровати белые шелковые чулки.

«Помолюсь немного».

Опустилась на колени перед образом, ясно сияющим отсветами лампады на белой серебряной ризе Богородицы Милующей. Донесся издалека гул выстрела, — половина двенадцатого ночи. Уличный шум здесь был неслышен, — Иринина комната во дворе.

Ирина склонилась перед образом, забылась молитвою, как легким сном. Сгорело время, и весь мир свился, и перед нею стоял он, ее милый, ее Николай, убитый. Лицо его печально и строго, и он спрашивает:

— Ирина, любишь ли ты меня?

— Люблю, — говорит Ирина.

— Ты меня никогда не забудешь, — говорит он.

Очнулась Ирина. Никого. Мерцание лампады, голубой занавес окна, синие стены. Одна. И слезы льются, льются. И знает Ирина, что ее Николай всегда с нею, на всю жизнь, и в этом горе, и в этом радость.

И опять, как легким сном, забылась молитвою. И опять Николай стоял перед нею. И казалось Ирине, что множество с ним предстоит ей воинов.

И опять спросил Николай:

— Ирина, любишь ли ты меня?

И опять ответила Ирина:

— Люблю.

Николай говорил ей:

— Если ты хочешь, чтобы любовь наша была бессмертна, люби тех, кто со мною. Слушай меня, Ирина, — люби народ мой и твой и всегда будь с народом во всех судьбах его и на всех путях его.

Вскинулась Ирина, точно окрыленная великим порывом. Разбилась молитва, рассеялся сон, — опять никого, опять одна в синих стенах перед ясным лампадным мерцанием.

Слезы льются, льются, и дрожат ноги, на полу холодея, и сердце бьется тяжело и тоскливо.

Народ мой, народ мой возлюбленный, темна судьба твоя, и заграждены пути твои, и затуманен взор твой, — но буду, буду с тобою на всех путях твоих, народ мой, тяжко страдающий.

И третий раз склонилась, и третий раз погрузилась в молитву, как в утешающий сон. Перед глазами ее свет ширился, и слышала она

ликующие звуки. И опять стал перед нею милый ее, ее Николай. Лицо его было светло и радостно, глаза его сияли, как неугасимые лампады, и голос его звучал торжеством воскресения, когда он в третий раз спросил Ирину:

— Ирина, любишь ли ты меня?

— Люблю, — радостно ответила Ирина.

Говорил Николай:

— Люби меня, люби народ мой, верь, и не бойся, и надейся на воскресение наше. Кровью нашею, пролитою в изобилии и пылающею ярко, озарили мы судьбы народа нашего, и пути его станут правы, и тьма совьется, исчезая перед взором его. Слушай меня, слушай, Ирина, — в надежде воскресения будь с народом моим, и воскреснет, и воскреснем.

И нет никого, и опять одна Ирина, и радость безмерная с нею.

Белые, праздничные одежды взяла бережно, любуясь ими, слушая дальний звон благовеста. Белые одежды надела на себя радостно и благоговейно, и такое торжество было в душе, точно радостные ангелы помогали ей облачаться одеждами, знаменующими надежду воскресения.

Радостная вышла из своей комнаты, везде зажгла огни, ждала сестер. Вот и они.

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе.

Обнимает, целует, смеется.

— Не плакала? — спрашивает Екатерина.

— Поплакала, милая? — шепчет Евлалия.

— Он приходил ко мне трикраты, — говорит Ирина, — милый мой говорил со мною трижды и принес мне надежду воскресения. Знаю, воскреснем все мы, и восстанет народ мой. Сестры, не смотрите на меня, как на безумную, — я рада, я счастлива.

— Счастливая Ирина! — шепчет Евлалия, обнимая ее.

Екатерина пожимает плечами и говорит насмешливо и ласково:

— Если плакать, так, ради Бога, не долго. И пойдемте поскорее в столовую, — я немножко проголодалась.

Неутомимость

Был в конце нежаркого лета день праздничный, теплый, слегка туманный. Туман, пронизанный горьковатым запахом гари, стоял уже пятый день. Сегодня он рассеивался, небо вверху светло голубело, и призрачные очертания высоких туч уже выделялись на нем. Под пеленой редкого тумана поля, еще не пожелтевшие деревья и словно недвижная река, радостно голубая, казались легкими и блаженными. Если задуматься, замечтаться, забыть, то можно было вообразить себя перенесенным в обиталище блаженных душ. К тому же и людей не было видно. Над рекою недавно пронеслись свистки двух-трех пароходов, а теперь широкая грудь ее звучно дышала легкими отголосками прибрежной тишины.

Прислонясь спиною к березе на высоком берегу, на мшистой земле сидел мальчик, смуглый, загорелый, босоногий, в короткой светлой одежде. По лицу ему можно было дать пятнадцать лет, да столько ему и на самом деле было. Он жадно читал книгу, быстро перелистывая страницы, нередко возвращаясь к прочитанному. Тогда он призадумывался на минуту, и складка умственного напряжения стягивала его черные, двумя тугими луками изогнутые брови.

Послышался шорох приближающихся шагов. Мальчик обернулся досадливо. Увидел подходящую девочку с кистью крупной рябины в руке и улыбнулся радостно. Как всегда, с любованием смотрел он на свою подругу, и ему было приятно, что она веселая, красивая и стройная. В красном сарафанчике, босиком. Только годом моложе его и очень дружна с ним.

Поздоровались. Мальчик увидел на ее загорелой ноге обхватывающую подъем стопы неширокую белую повязку. Он спросил:

— Что, Катышок, «порезала ноженьку голую»?

Катя засмеялась. Села рядом с мальчиком и говорила:

— Вчера в поле. Серпом неловко махнула. Хочешь рябины? Она уже вкусная. Нарочно для тебя сорвала.

— Спасибо, Катышок. Косолапые мы с тобою, Катышок, неловкие пока. А туда же, помогать пошли. Ну да ничего, в будущем году, пожалуй, у нас дело лучше пойдет.

Катя прислонилась плечом к его плечу и сказала:

— Я, Лаврик, и этим летом очень довольна.

— Оно лучше прошлого? — спросил Лаврентий.

— О да! — с убеждением отвечала Катя. — Я и представить не могла, что это — так трудно, тяжело до изнеможения и в то же время так радостно.

Лаврентий, улыбаясь, смотрел на нее и говорил:

— Пятьсот лет тому назад сюда к реке выходил паренек вроде меня и горланил звонко:

Во поле цветочки
Расцветали,
Во лузях девочки
Гуливали

А тысячу лет назад только волки здесь рыскали, да лес дремучий шумел. От лета к лету на земле все становится лучше, от века к веку. Сама природа учится у нас, и теперь она тоньше, духовнее, больше знает и благосклоннее к нам, чем тогда, когда на земле жил наш человекоподобный предок.

Катя улыбнулась. Покачала головою. Сказала:

— Расхвастался ты что-то уж очень, Лаврик. Разве мы лучше наших отцов?

— Не лучше, а счастливее, — уверенно сказал Лаврентий, — удачливее.

— Послушать маму, — говорила Катя, — мы гораздо поплоше. Очень по земле ходим, вверх не полетим.

Лаврик вспыхнул. Заговорил горячо:

— Ну да, знаю. Это наши старшие братья и сестры много лишнего наболтали. Насчет своей практичности, своей близости к жизни, своего отвращения к всему неясному. Но это не то, совсем не то. Между

нами есть всякие, по-разному смотрящие на жизнь. Но главное у нас то, что мы просто удачливее вышли.

Дети часто беседовали на такие темы. Они сходились часто и зимою, и летом. Жили рядом и в городе, и здесь на даче. Родители были дружны. А мальчик и девочка почему-то были уверены, что они так и родились друг для друга, и любили один другого чистою и тихою любовью. Настроения у них были добрые и спокойные, хотя грозовой год коснулся их семей опаляющим дыханием: Катин отец, артиллерийский прапорщик запаса, был ранен и взят в плен; отец Лаврентия, пехотный капитан, долго лежал в лазарете, где ему отрезали правую ногу до колена. Искусственная нога была сделана очень хорошо; Алексея Николаевича отпустили домой, в отставку. Здесь он учился все лето владеть ногою, хотя до последних дней не решался расстаться с костылем, и не столько потому, что нога служила плохо, сколько потому, что еще чувствовал себя нервно, не окрепшим после чудовищных потрясений войны.

— Вот хоть бы то взять, — сказал Лаврентий, еще более краснея и волнуясь, — как наши отцы были не тверды и не уверены в своей любви.

Катя опустила глаза. Она знала, что у ее отца есть дети от другой женщины. Знала и то, что Людмила Павловна, мать Лаврентия, вышла за Алексея Николаевича после того, как развелась со своим прежним мужем. Да, она знала, что родители их изменчивы и в чувствах, и в мнениях своих.

— А мы? — тихо спросила она.

— А мы не разлюбим, не изменим, и ты сама это знаешь, — уверенно сказал Лаврентий.

Катя подняла глаза, — и глаза их встретились. С минуту они смотрели друг на друга, точно в роковом поединке скрестив испытующие взоры. И потом они разом вдруг улыбнулись уверенно и нежно. Острая сладость пронизала сердца их, и они поняли еще раз, что их две жизни сплетены навеки. Так радостно было им ощутить в себе верное биение мужественных сердец, готовых ответить на всякий зов быстро проносящейся жизни.

Легкие тени призрачно легли на высокий берег, на влажную траву, и заблистали радостные росинки, точно по заре утром. На небе, сквозь мглистый туман пламенея, неяркое, но еще высокое стояло солнце, благостно глядя в смеющиеся глаза детей, не ослепляя поднятых к нему детских взоров. Было все вокруг благостно, тихо и чисто, как в обители блаженных. И с простодушным восторгом смотрела Катя на своего друга.

Послышались невдали звуки домашнего колокола. Лаврик хмуро улыбнулся, и в голосе его слышался оттенок досады, когда он говорил:

— Зовут обедать. Сядем за стол, Даша и Надя будут нам служить, и будут господа и рабы, и никому это не странно.

— Не господа и рабы, а богатые и бедные, — сказала Катя.

— В совершенном обществе так не будет, — сказал Лаврентий. — Только коллектив может быть богат, а люди все до одного должны жить в радостной, беспечной нищете. В народных домах пусть будет блеск, великолепие и веселье, а в наших домах — уют, покой, простота.

— Теперь не так, — сказала Катя.

— Мы, Катя, все это переменим, когда будем хозяевами в нашем дому.

Катя улыбалась и молча смотрела на него. Лаврик подумал вдруг, что еще не скоро им быть хозяевами в их дому. «Ну что же! — подумал он, — подождем, ведь не мы дом строили».

— Научимся, построим новый, — сказал он вслух.

Катя понимала. Не первый раз о доме своем говорили они, — о недостроенной храмине русского бытия.

— К нам вечером придете? — спросила она.

— Да. Сегодня весь день дома, завтра опять в поле.

— И отчего это такой туман? — досадливо спросила Катя.

Лаврентий засмеялся.

— Я читал в здешней газетке, — это оттого, что в Сибири тайга горит.

— Ну? Так далеко приполз? — с удивлением спросила Катя.

— Может быть, и правда, — говорил Лаврентий. — На земле все связано одно с другим. Здешние мужики говорят, что там, где-то за Волгой, торфяные болота горят. А мне, знаешь, Катышок, нравится этот туман. Так сквозь него все красиво, как во сне праздничном. Словно что-то лучше жизни.

— Лучше жизни нет ничего, — с убеждением сказала Катя.

Лаврентий посмотрел на нее строго. Она повела тонким плечиком и сказала:

— Если понадобится, я отдам жизнь за других. Скупиться не стану, но все-таки это самое лучшее, что у нас есть.

По узкой тропке поднялись они на дорогу и разошлись, каждый к себе.

Лаврик поднялся на террасу, где обедали. Отец в серо-зеленом кителе стоял в дверях из гостиной, прислонясь к косяку двери, и улыбался. От улыбки его суровое, исхудалое лицо совсем переменялось и казалось добрым, простым и таким красивым, что становилось понятно, как в этого человека должны были влюбляться женщины.

— Где же твой костыль? — опасливо спросил Лаврик.

— Да что, брат, костыль, — дома остался. Учусь пользоваться искусственною ногою. Ничего, хожу понемногу. Отдохнул, нервы стали покрепче, и уж не тянет каждую минуту, как прежде, за костыль хвататься, чтобы не упасть.

Говоря это, Алексей Николаевич почти совсем ровно подошел к столу и сел рядом с женою. Людмила Павловна была, очевидно, озабочена чем-то, и лицо ее под легким северным загаром показалось Лаврентию побледневшим и осунувшимся. Она смотрела на мужа с неопределенным выражением. Лаврик удивился, хотел что-то спросить, но удержался. Мать слегка вздохнула, окинула Лаврентия привычно-внимательными, привычно-заботливыми глазами, и, заметив в его руке, вместе с книгою, полуощипанную ветку рябины, спросила:

— С Катею был?

— Да, мамочка.

Отец был оживлен, неспокоен. Ему хотелось говорить, спорить. Он сказал жене, указывая на Лаврентия:

— Ты знаешь? Он тебе развивал свои теории? Как же, у него уже есть своя собственная теория насчет нового поколения. Он уже на нас немного свысока смотрит.

Лаврентий слегка покраснел.

— Избави Бог, папочка. Вы — герои.

— Да, да, герои, но... Где твое «но»? — с легкою насмешливостью говорил отец. — Вот в этом твоем «но» и заключается вся соль. Ну, говори, говори, стесняться нечего.

Лаврентий легонько пожал плечами и говорил:

— Вы — герои, но не воины. Вы способны на такие подвиги, которых устрашились бы славнейшие герои древности, но все же вы слишком герои. Вы годитесь для подвигов, для самопожертвования, ваша цель — слава, и вы если победите, то случайно. А вот мы будем воинами. Не героями, а машинами для побед. И нас никто не победит. Нами Россия будет сильна и непобедима. И нам никто не изменит, — мы доглядим.

Алексей Николаевич засмеялся.

— Какая великолепная самоуверенность! Ну а что ты сделаешь, если тебе твоя Катя изменит?

Лаврик самоуверенно улыбнулся.

— Я знаю, что этого не будет, — спокойно сказал он. — Ведь мы не потому будем друг другу верны, что я очарован ею, а она мною.

Людмила Павловна спросила досадливо:

— Любовь без очарования? Это что же такое?

— Чистая любовь, — опять легко вспыхивая, сказал Лаврентий. — У нас все будет без печалей: нравственность без угрозы, долг без принуждения, любовь без безумства.

— Вино без алкоголя? — спросил отец.

— Опьяняться не будем, — отвечал Лаврентий. — Просто и верно проживем. Катышок для меня, я для нее, — иного нам не нужно. Влюбляться в красавиц и в красавцев не станем. Красоты нам не надобно.

Отец вздохнул. Сказал:

— Что будет, этого никто не знает. Нам достаточно знать, чего мы сами хотим. Вот мне отняли ногу, поставили искусственную, но я хочу ходить и хожу. Хочу воевать и буду. Если хочу, значит, и могу. Долг без принуждения — это, Лаврик, не ваше изобретение; этому вы у нас научились.

Мать с укором посмотрела на Лаврика. Он покраснел и опустил глаза в тарелку.

Туман над рекою становился гуще. По реке бежал пароход, большой, пассажирский, тяжело и равномерно дыша стальными легкими своей машины, сверкая веселыми огнями. Когда он прошел, тени в саду точно еще более сгустились, и вдруг на белые стволы берез упали мелькающие багровые отсветы. Горничная Даша воскликнула:

— Батюшки, да никак это горит где-то!

И в эту же минуту загудели тревожные звуки набата в ближней церкви.

Лаврик выскочил из-за стола и с легкостью лесного проворного зверька бросился в свою комнату одеваться. Через минуту он уже выбежал опять на террасу, на ходу поправляя завернувшийся неловко под правым коленом серый чулок.

— Уже готов? — спросил Алексей Николаевич.

— Всегда готов! — крикнул Лаврик.

Он бежал по боковым дорожкам к дороге в село.

— Всегда готов, — тихо повторил отец.

Он подвинулся к жене, взял ее руку, пожал крепко. Людмила Павловна молча, сдержанно улыбаясь, глядела на него. Плечи ее слегка дрожали.

— Тебе холодно, Людмила? — спросил он тихо.

— Нет, — так же тихо ответила она.

Помолчали. И опять тихо заговорил офицер с суровым, загорелым лицом:

— Что ж, Людмила, нога служит очень хорошо. Я думаю, меня возьмут. Куда-нибудь пригожусь. А, Людмила, что скажешь? Отпустишь меня?

Она нагнулась, заплакала. Потом посмотрела на мужа. Страдание было на лице ее, но лицо ее было светлое. Алексей Николаевич обнял ее за плечи, привлек к себе и глядел на нее сурово и нежно.

— Когда же это кончится, Алексей? — сказала она. — Но ты не думай, я не ропщу. Боже мой, если так надо, — что же я? Ведь я такая же, как и все эти миллионы солдатских и офицерских жен. От Бога, от людей, от родины мы взяли долю счастья, нам надо взять и долю печали и трудов.

— Надо, Людмила, надо, — с суровою нежностью говорил Алексей Николаевич, тихонько поглаживая жену по спине. — Потерпим до конца, Людмила, чтобы нашим детям было легче.

— Алексей, — спросила она, глядя на мужа усталыми, печальными глазами, — может быть, нашим детям будет еще труднее?

— Может быть, Людмила, — спокойно ответил он. — Потому-то мы и должны воспитывать их так, чтобы им всякая тягота жизни была в подъем.

День встреч

I

В жизни мирных обывателей России, Германии, Франции и Англии в начале лета 1914 года ничто не предвещало близости и неизбежности войны. Все, как всегда, занимались своими делами и делишками, а если иногда и заходили разговоры о войне, то она все же казалась еще очень далекою. Европейцы привыкли к своему домашнему миру, и он казался им незыблемым. Жили спокойно, как у подножия давно дремавшего вулкана накануне внезапного извержения. И не знали, что скоро все они будут захвачены могучим потоком мировых событий. Но уже еле зримая тень этих событий зловеще ложилась на дела и на помыслы людские...

Розовые и белые цвели каштаны. В воздухе тихой чистенькой деревни Розенау мило звучали птичьи щебеты и звонкие голоса только что отпущенных из школы детей. Бледно-красная черепица кровель на темно-крас-

ных кирпичных домиках казалась только что вымытою прилежными хозяйками, но вымыта была она прошедшим вчера веселым теплым дождиком, хозяйки же в этот час мыли плитяные ступеньки своих домов.

В саду и в огороде около школы песочные дорожки были гладки, и грядки были ровны, и яблони, обещая хороший урожай, радовали глаз. И все было чисто и прибрано в комнате молодой учительницы Гульды Кюнер.

Гульда стояла у окна и рассматривала свои башмаки, наклонившись слегка и приподнимая немного спереди свое платье. Вешние очарования в этот милый день не радовали Гульду. Не потому, чтобы она очень устала, — она была сильная, здоровая девушка с красными щеками, с высокою грудью, с большими руками и ногами, и школьные занятия не утомляли ее. Выросшая в трудовой крестьянской семье и в бедности, она считала свою работу легкою и свое положение очень хорошим.

Весь этот день Гульда испытывала жестокое беспокойство и страх. От этого ее красивое, крестьянское, грубоватое лицо с правильными и крупными очертаниями, смягченными милою полумаскою веснушек, иногда багряно вспыхивало, словно наливаясь кровью, уши были очень красны, и красивые руки, только что чисто вымытые, более обыкновенного, — от холодной воды, — красные, крупные, унаследованные от многих поколений немецких мужиков, дрожали заметно.

Гульда волновалась потому, что сегодня утром получила неприятное письмо. Школьный инспектор ее округа, господин Адольф Веллер, приглашал ее для неотложного, весьма важного разговора сегодня от трех до четырех часов дня. Весь день для Гульды был этим письмом испорчен. На уроках Гульда была очень рассеянна и невнимательна и вела себя с детьми очень неровно, — то не замечала шалостей, то с удвоенным усердием принималась шлепать мальчишек и девчонок линейкою по спинам и по пальцам.

Едва отпустив детей, Гульда стала собираться в город Кельберг, где жил господин школьный инспектор. До города считалось четыре с половиною километра.

Гульда, пытаясь обмануть себя и отвлечь внимание от беспокойных предположений, думала о своих поношенных башмаках. Новых у нее не было, — новые она купит из того жалованья, которое получит на днях. Гульда получала достаточно для нее самой, но она уделяла кое-что на воспитание и обучение младшего брата, помогая в этом старой матери. Поэтому ей приходилось быть очень бережливою, и весь ее годовой бюджет был расчислен вперед по месяцам, — когда что можно купить.

Наконец Гульда решила, что башмаки еще достаточно крепки. Было без пяти минут два. Пора идти, а то ведь, пожалуй, и опоздаешь. Сердце Гульды сильно забилось, когда она, стоя перед маленьким зеркальцем, стала надевать свое праздничное светло-розовое платье и соломенную желтую шляпу с голубою лентою.

Что же так волновало и страшило сегодня бедную Гульду?

II

Дней пять тому назад случилась с Гульдою в школе неприятная история. Один из ее учеников, непоседливый краснощекий мальчишка Антон Шмидт, рассердил Гульду какою-то глупою, надоедливою шалостью. Гульда нашлепала его по спине линейкою, а так как ей показалось, что эти шлепки недостаточно вразумили шалуна, то она вдобавок дала ему пощечину, да так неосторожно, что у него из носу пошла кровь. Гульда смутилась, — она не ожидала таких последствий. Мальчишка, утирая нос грязным кулаком, сердито пробормотал что-то. Гульда не расслышала. Она спросила притворно-спокойным голосом:

— Что ты там бормочешь?

Антон опасливо покосился на нее и промолчал. Мальчики смеялись, радуясь внезапному развлечению. Девочки сидели скромно, с таким видом, как будто это их не касается. Кто-то услужливый из мальчишек поторопился сказать Гульде:

— Он говорил, что пожалуется.

Смущенная Гульда ярко покраснела. Она стояла посреди класса в неловкой позе и не знала, что сказать.

Антон искоса кинул на нее быстрый, хитрый взгляд и принялся отпираться:

— Я этого не говорил. Очень мне нужно жаловаться! Я и не думаю жаловаться. Я — не девчонка. Мне в прошлом году Эрих Реннер тоже нос расквасил, однако я никому не жаловался.

Гульда спросила:

— А что же ты говорил сейчас?

Антон отвечал:

— Я говорил: простите, больше не буду.

По смешливому тону его голоса и по хитрому взгляду его зеленовато-серых глаз было видно, что он говорит неправду. Мальчишки смеялись. Заулыбались и девочки.

Гульда наконец сообразила, что надобно сделать. Она отправила Антона умыться холодною водою, чтобы остановить капающую из носу кровь.

Весь остаток того дня Гульда провела очень неспокойно. Она все ждала, что вот-вот постучатся в дверь и войдет мать Антона, почтенная вдова Марта Шмидт. Войдет и начнет говорить неприятные, укоряющие и угрожающие слова. С грубостью и с мелочностью, свойственными богатым мужикам во всех странах земного шара, скажет она много такого, что совсем к этому случаю не относится, но чем можно уколоть и унизить. Скажет, например:

— Такая бедная девушка, как вы, должна была бы дорожить таким местом.

Или:

— То-то приятно будет вашей матери, когда вас выгонят с этого места.

Но госпожа Марта Шмидт не пришла. Мало-помалу Гульда стала забывать об этой истории, — и уже думала она, что все это прошло и позабыто. И вдруг сегодня письмо от школьного инспектора.

Зачем зовет ее Веллер? Неужели из-за этой глупой истории? Как не перебирала Гульда в уме все свои школьные и служебные обстоятельства, она никак не могла найти другое правдоподобное объяснение этого вызова. Ведь если бы это было что-нибудь обыкновенное, Веллер мог бы сказать третьего дня на кладбище, во время похорон одной из городских учительниц, Анны Крафт. Единственное, что оставалось предположить, — Антон пожаловался своей матери, а та, со скрытностью старой крестьянки, никому не сказав ни слова, сходила в город и пожаловалась школьному инспектору, — и вот последствия этой жалобы.

Гульда боялась верить этому и старалась найти другое объяснение. Если это так, то страшно и подумать о том, что могут сделать с Гульдою. Еще хорошо, если дело кончится строгим выговором. А то могут перевести в другую школу, — Гульде было бы это очень неприятно, — или и вовсе уволить от службы. Что же тогда скажет гофлиферант Гейнрих Шлейф, дядя ее милого? Он и без того уж сколько времени упрямится дать согласие на их брак. А без согласия господина гофлиферанта обойтись невозможно, — жалованье Карла Шлейфа слишком невелико.

Испуганное воображение Гульды рисовало ей будущее в самых мрачных очертаниях. Если госпожа Шмидт нажаловалась школьному инспектору, то, конечно, ее уволят. Даже не дадут другой школы. Правда, Гульда почти никогда не навлекала на себя никаких замечаний и была вообще на хорошем счету. Но сегодня она думала, что школьный инспектор Веллер воспользуется этим случаем, чтобы свести кое-какие личные счеты с нею.

Одна только и была надежда на то, что Антон ничего не сказал матери и что ее вызывают по какому-то другому делу.

III

Гульда взяла дождевой зонтик, — на всякий случай, — и отправилась в дорогу. Дорога предстояла приятная и легкая, — полями и перелеска-

ми. Нанимать экипаж и лошадь на такое небольшое расстояние в такой прекрасный, теплый день Гульда не хотела. Зачем делать лишний расход, если можно идти пешком? Притом же поездка в экипаже привлекла бы общее внимание и вызвала бы разные толки, тогда как пешком можно пройти гораздо незаметнее.

Встречалось больше людей, чем бы хотелось Гульде. Пока она шла по улице деревни, все еще было ничего и имело вид обычной прогулки. Выдавал только дождевой зонтик, вызывая любопытные взгляды.

Встречные кланялись Гульде, как всегда приветливо, с тем особенным оттенком покровительственной ласки, который свойственен всякому собственнику по отношению к тому, кто, стоя в каком-нибудь отношении выше его, имеет мало денег. Но Гульде иногда казалось, что на нее так смотрят потому, что уже все в деревне знают о ее деле и смеются над нею. Ласково-приветливые лица взрослых и детей казались ей насмешливыми.

Антон Шмидт попался ей навстречу. Здесь, вне школьных стен, на вешнем солнце, у изгороди, за которою весело и буйно зеленели кустарники, Антон казался еще более румяным, веселым и хитрым, чем всегда. Кланяясь Гульде, он так махнул шапкою, словно в его руке был неистощимый запас сил, делающий каждое его движение чрезмерным.

Гульда подозвала его. Ей захотелось поскорее проверить, жаловался ли он. Знать бы наверное, зачем зовет ее Веллер. Но как спросить мальчика? Чуть было не спросила прямо, но удержал какой-то самолюбивый расчет. Она подумала, покраснела и, слегка запинаясь, сказала:

— Ну что, Антон, твоя мать довольна твоим поведением?

Антон весело засмеялся и со всем благонравием, к какому только был способен, отвечал:

— Да, госпожа Кюнер, мама уже давно не бранила меня.

Он держал шапку в руке. Его круглая голова ежилась во все стороны остриженными рыжеватыми вихрами, и крутой лоб блестел от капелек пота и от усердных усилий говорить как по книжке.

Гульда спросила:

— Разве твоя мать не знает, как ты шалил в школе?

Антон отвечал:

— Уже несколько дней, госпожа Кюнер, я не получал от вас ни одного замечания.

Гульда сказала:

— А разве ты забыл, как я наказала тебя в прошлую пятницу? Разве ты скрыл это от своей матери?

Антон живо спросил:

— А разве вы, госпожа Кюнер, хотите пожаловаться?

Напускное благонравие соскочило с него, и на его лице отразились страх и злость. Он думал: «Нос расквасила, да еще жаловаться хочет!»

И это он считал большою несправедливостью. Дело казалось ему поконченным, и вновь поднимать его было не к чему.

Гульда увидела по его лицу, что он боится ее жалобы. «Значит, — подумала она, — он не сказал». На короткое время ей стало весело. Но вдруг пришло ей в голову, что ведь об этом случае могли рассказать его матери другие. Опять ей стало тоскливо, и она быстро пошла вперед.

Антон шел за нею и упрашивал, чтобы она ничего не говорила его матери. Чем ближе подходили они к дому вдовы Шмидт, тем плаксивее становился его голос. Гульда думала, что хитрый мальчишка только притворяется испуганным, а в душе смеется над нею. Она строго поглядела на него и сказала:

— Антон, не иди за мною. Я твоей матери не видела с тех пор и пока еще не собиралась с нею говорить. Не воображай, что у меня только и заботы, что о твоих шалостях.

Антон остановился. Гульда почувствовала на своей спине его внимательный взгляд.

IV

Марта Шмидт стояла на высоком крыльце своего дома. Как у всех крестьян в той местности, это был кирпичный дом под черепицею,

и стоял он, как у всех, между садом, выходящим на дорогу, и огородом сзади дома. Марта Шмидт вязала чулок и смотрела на дорогу.

Остановившись у калитки сада, Гульда первая сказала:

— Добрый день, госпожа Шмидт.

И ей самой стало стыдно, что в голосе ее звучали заискивающие нотки. Марта, улыбаясь, как любезная хозяйка, сказала:

— Добрый день, госпожа Кюнер. Погода хорошая, а у вас зонтик в руках. Не собрались ли вы в далекую прогулку? Но отчего вы не взяли с собою кого-нибудь из детей?

Гульда отвечала:

— Я иду в Кельберг.

Марта удивилась.

— За покупками? Но отчего же вы так нарядились? И вы без мешка.

— Нет, госпожа Шмидт, не за покупками и не на прогулку. Меня приглашает господин инспектор Веллер.

Говоря это, Гульда внимательно и тревожно смотрела на Марту. Марта сказала приветливо:

— Зайдите же, госпожа Кюнер, посидите немного.

Любопытство засветилось в узких глазах старой женщины. Гульда сказала:

— Благодарю вас, госпожа Шмидт. Я посижу минутку с вами на крыльце, но я должна не опоздать. Господин инспектор будет ждать меня только до четырех часов, и позже прийти было бы невежливо, да господин инспектор, может быть, не будет дома или будет занят.

Марта, усмехаясь с видом человека, пожившего на свете и видевшего людей, сказала:

— Не беспокойтесь, госпожа Кюнер, вы имеете достаточно времени и придете в назначенное время. Вы можете посидеть у меня четверть часа. Скажите, зачем же вызывает вас господин школьный инспектор?

Гульда отвечала:

— Не знаю. Может быть, какая-нибудь жалоба?

Голос ее слегка дрогнул при этих словах. Марта махнула рукою:

— Что вы, госпожа Кюнер! Кто же может жаловаться! Все в Розенау довольны вами.

Гульда нерешительно сказала:

— Да уж я не знаю.

Она взошла на ступени крыльца и села на скамейку у двери. Марта села рядом с нею и говорила:

— Уж не хочет ли господин школьный инспектор предложить вам должность учительницы в Кельберге на место покойной госпожи Крафт?

— Этого не может быть, — сказала Гульда. — Госпожа Крафт только пять дней назад скончалась, и господин школьный инспектор не успел еще об этом подумать. Притом же я думаю, что есть и другие желающие, старше меня.

Поговорив с Мартою минут пять о разных деревенских новостях, Гульда пошла дальше. Так она и не узнала, жаловалась ли на нее Марта или нет.

V

Гульда торопилась. Плотно убитая пешеходная дорожка вдоль шоссе казалась ей нескончаемо длинною. И уже когда, пройдя липовую рощу над рекою, у проезда к усадьбе богатого землевладельца, барона фон Танненберга, она завидела издали белые домики города, она с отчаянием подумала, что еще остается два километра.

За рекою дорога круто поворачивала и снова шла рощею. Здесь совсем неожиданно Гульда встретила молодого человека, высокого и сильного. Она зарумянилась радостно. В глазах ее засветился тихий восторг. Это был ее жених, Карл Шлейф, племянник гофлиферанта Генриха Шлейфа. У него были голубые, ясные глаза, румяное лицо, мягкие, русые усы, широкие плечи, и он казался Гульде олицетворением мужской красоты и силы. Он говорил:

— Какая приятная встреча! Мой патрон поручил мне уладить одно очень важное дело с бароном фон Танненберг, но я могу проводить

тебя немного. Ты гуляешь или по делу? Ты такая сегодня нарядная и такая красивая.

Гульда, дрожа и краснея от волнения, могла только слабо обрадоваться похвале ее милого. Она сказала:

— Мне надо в Кельберг.

Карл вынул часы, подумал немного и сказал:

— Я могу пройти с тобою десять минут по направлению к Кельбергу, но затем я принужден буду продолжать свой путь. А зачем тебе надо в Кельберг?

Гульда рассказала Карлу о случае с Антоном Шмидтом и о своих опасениях. Карл нахмурился. Он сказал:

— Гульда, ты поступила очень неосторожно. Конечно, мальчишек нельзя не бить, но не надо бить их по носу.

Гульда жалобным голосом сказала:

— Я боюсь, Карл, что меня уволят.

Лицо Карла приняло неприятное, жесткое выражение. Казалось, что его усы жестко топорщились, забыв свою мягкую холеность, и глаза вдруг посерели, когда он говорил:

— Мой дядя, гофлиферант, и так не хочет согласиться на наш брак. Я надеялся его уговорить. Но его самолюбие не позволит ему помириться с тем, чтобы я женился на девушке, которую выгнали со службы за то, что она дурно исполняла свои обязанности.

Гульда воскликнула:

— Я хорошо исполняла свои обязанности. Он сам виноват, — он вертелся, когда я его наказывала, тогда как он должен был стоять смирно.

Разговор кончился взаимными упреками. Расстались, холодно простившись. Гульда плакала. Но некогда быдо долго заниматься этим, — близок был уже и город.

VI

И вот новая встреча. Товарищ Карла, Отто Шарф. Он тоже ухаживал за нею. Но ей не нравилось, что он небольшого роста, черноволо-

сый и что он похож на еврея. Он казался ей насмешливым и черствым, и она даже побаивалась его. И теперь, когда он вежливо поклонился Гульде, ей казалось, что он с насмешливым вниманием смотрел в ее глаза и догадывался, что она только что плакала.

Отто Шарф спросил ее, почти теми же словами, как и Карл:

— Какая приятная встреча! Госпожа Кюнер, куда вы идете?

Робея, как школьница перед учителем, Гульда сказала:

— К господину школьному инспектору.

Улыбаясь, говорил Отто Шарф:

— Я это знаю.

Гульда досадливо покраснела и сказала:

— Если вы бываете у господина Веллера, то неудивительно, что вы это знаете.

Отто Шарф спросил:

— А знаете, зачем приглашает вас господин Веллер?

— Нет, — сказала Гульда. — А зачем?

Забыв свою досаду, она с любопытством смотрела на него, — уж очень хотелось поскорее узнать. Продолжая улыбаться насмешливо, как казалось Гульде, а на самом деле робея и волнуясь почти так же, как она, он сказал:

— Я бы вам сказал, госпожа Кюнер. Но вы так неприветливы со мною.

Гульда упрашивала:

— Скажите, прошу вас!

— Улыбнитесь мне ласково, — настаивал Отто Шарф.

Гульда улыбнулась ласково, сложила руки ладонями вместе и молящим голосом говорила:

— Прошу вас, скажите, милый господин Шарф.

Любуясь ее смущением и ее любопытством, Отто Шарф радостно улыбнулся и сказал:

— Хорошо, только не говорите господину Веллеру, что я вам сказал это: господин Веллер хочет предложить вам лучшее место.

Гульда сердито воскликнула:

— Вы надо мной смеетесь!

Покраснела и быстро пошла дальше. Отто Шарф в недоумении смотрел за нею. Он не мог понять, почему Гульда не верит ему.

VII

Подходя к дому Веллера, Гульда встретила двух его дочерей, девушек лет семнадцати-шестнадцати. Их простенькие белые платья и светлые шляпы показались Гульде очень нарядными и ущемили ее внятным томлением зависти.

Девушки смеялись чему-то своему, — Гульде показалось, что над нею. Старшая из девушек сказала:

— Отец вас ждет.

Гульда со страхом вошла в дом. Молодая служанка провела ее в кабинет господина Веллера.

Толстый Веллер сидел в кресле у письменного стола, сосал толстую сигару и крепко держал толстыми пальцами карандаш, которым он водил по строкам какой-то лежавшей перед ним на столе бумаги, вникая в ее смысл с таким усердием, что весь лоб его собрался в глянцевитые морщины и толстая шея покраснела больше обычного. Дочитав бумагу, он поднял сонные глаза на Гульду и молча показал ей пальцем на стенные часы. Было без двух минут четыре. Гульда замерла от страха. Веллер кивком головы показал ей на стул у стола и сказал:

— Садитесь, госпожа Кюнер.

Гульда робко подошла и села. Веллер молча смотрел на нее. Наконец сказал:

— Вы — красивая молодая девушка, госпожа Кюнер, и этот легкомысленный молодой человек недостоин вас. Впрочем, я пригласил вас по делу.

И опять замолчал.

«Сказать или не сказать? — думала Гульда. — Он сам знает. Или не знает? Честно поступая, надобно самой сознаться. Но мало ли

бывает маленьких событий в школе, — не обо всем же надобно говорить».

Гульда сидела и не знала, что сказать. Веллер смотрел на нее неподвижно. В голове Гульды быстро пронеслись воспоминания о том, как Веллер вскоре после смерти своей жены сделал ей предложение. Тогда, — это было год тому назад, — Гульда уже любила Карла Шлейфа и потому отказала Веллеру. Веллер до сих пор еще не был женат, и Гульда думала, что он затаил злобу против нее.

Веллер вынул сигару изо рта и внимательно глянул на Гульду.

«Знает, конечно, все знает!» — вдруг подумала Гульда. И, не стерпев страха ожидания, неожиданно для самой себя, рассказала про случай с Антоном.

К ее радости и удивлению, этот рассказ не произвел на Веллера никакого впечатления. Веллер молча выслушал и сказал:

— За то, что мальчишка на вас ворчал, вам надо было дать ему несколько хороших ударов линейкой по спине. Но я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете. Вы обязаны поддерживать дисциплину на ваших уроках.

Веллер побарабанил пальцами по столу и сказал:

— Госпожа Кюнер, я пригласил вас вот по какому делу.

Гульда чувствовала, что сердце ее мучительно замирает. Ее руки дрожали. Голос Веллера доходил до нее словно издалека. Веллер говорил:

— Вам известно, что госпожа Крафт скончалась. Школьный совет наметил вас на ее место. Я должен спросить вас, согласны ли вы перейти на это место.

От радости и от волнения у Гульды закружилась голова. Она воскликнула, всплеснув руками:

— Ах, господин инспектор!

И уж не могла ничего сказать. Очевидно, никто на нее не жаловался, иначе ей не предложили бы этого места, где жалованье больше и квартира лучше.

Веллер слегка усмехнулся и сказал:

— Я вижу, госпожа Кюнер, что вы согласны. Надеюсь, вы будете достойны. А теперь, покончив с этим делом, поговоримте о другом.

Веллер запыхтел, усиленно засосал сигару, окружил себя скверно пахнущим дымом и заговорил торжественно и волнуясь:

— Госпожа Кюнер, вы знаете мои чувства по отношению к вам. Но вы предпочли мне легкомысленного молодого человека. Однако он не торопится жениться на вас.

Гульда сказала:

— Мы надеемся, что господин гофлиферант согласится...

Веллер прервал ее:

— Госпожа Кюнер, обращаюсь к вашему благоразумию. Скоро будет война, молодой человек пойдет, потому что числится в запасе, и на войне он может быть убит. Я же не пойду, так как мне сорок шесть лет. Я уже стар для войны, но еще достаточно молод для семейной жизни.

— Господин Веллер, — сказала Гульда, — о войне ничего не слышно.

Веллер побарабанил пальцами по столу и сказал уверенно, как знающий:

— О, не слышно! Читаете ли вы внимательно вашу газету? Знаете ли вы что-нибудь о русской большой военной программе и о русском флоте, который будет готов в будущем году? Если мы теперь не будем воевать, то и никогда.

Гульда спросила:

— Но зачем нам воевать?

Веллер отвечал:

— Если мы есть великая нация, то нам нужны рынки. Нам нужно сокрушить Францию и отобрать ее колонии. У нас есть культурная миссия на Балканском полуострове и в Малой Азии. И для нашего народа мало земли, а в России земли много, и мы можем ее завоевать. И должны завоевать, потому что грубый и дикий русский народ есть только подстилка для нашего великого германского народа. Германия должна быть сильнее всех и диктовать всему миру свою волю, и тогда настанет эпоха вечного мира, и наши товары будут иметь

сбыт на всем земном шаре, чего они и заслуживают по своей прочности, дешевизне и красоте.

Веллер помолчал, глядя прямо на Гульду. Гульда не знала, что сказать. Она боялась сказать, что любит Карла и будет ему верна, боялась, что тогда Веллер рассердится и оставит ее на прежнем месте в Розенау.

Веллер встал, протянул руку Гульде и сказал:

— Итак, госпожа Кюнер, подумайте внимательно над тем, что я вам сказал. Ответом я вас не тороплю.

VIII

Гульда вышла от Веллера, точно ее на крыльях вынесло. Шла сияя. И опять встретила Карла, недалеко от реки, почти на том же месте, где и первый раз.

Он нежно утешал ее. Говорил ей ласково:

— Я был глуп и груб. Я не брошу тебя. Пусть гофлиферант откажет мне в наследстве и в деньгах, я проживу и без него. Ну, что сказал тебе господин школьный инспектор?

Сияющая от радости и от гордости Гульда рассказала о том, что Веллер предложил ей место в Кельберге. Карл уверенно сказал:

— Ну, теперь я не сомневаюсь, что гофлиферант даст свое согласие на наш брак.

IX

Гульда не волновалась бы все эти дни, если бы слышала один разговор мальчишек. Гульда не сияла бы сегодня, если бы слышала один разговор взрослых.

В тот день, когда она побила Антона Шмидта, после уроков, к Антону подошел на улице Альберт Керн, рослый рыжеватый мальчуган с длинными руками, одетый в узкую одежду, которая казалась уже тесною и короткою для его быстрого роста. У него было сердитое

лицо и угрожающий вид. Антон посмотрел на него опасливо, соображая, за что Альберт может его поколотить. Альберт сердито спросил:

— Антон, ты нажалуешься твоей матери на учительницу?

Антон отвечал:

— Вот еще, нашел дурака! Чтобы мне еще и дома влетело!

— Зачем же ты сказал, что пожалуешься? — сердито спрашивал Альберт.

Антон захохотал и сказал:

— А так, чтобы ее попугать. Видел, как она покраснела?

Альберт говорил все так же сердито:

— Слушай, Антон, если ты хоть полслова скажешь дома о том, что она тебе расквасила нос, то я тебя изобью, как собаку. Пусть потом делают со мною, что хотят, но ты меня будешь помнить.

Антон опасливо покосился на сжатые кулаки Альберта и сказал:

— Я не скажу ни матери, ни кому другому, можешь быть спокоен.

Другой разговор был сегодня, за несколько минут до второй встречи Гульды с Карлом. Карл и Отто Шарф встретились у ворот в парке фон Танненберга. Шарф рассказал Карлу о том, что Гульда переходит в город и получает там очень хорошее место. Оттого так и нежен был с нею Карл.

Ничего этого Гульда не знала и потому была весела. И еще потому она была весела, что знала то, чего не знал Карл. Она смотрела на него нежно и думала: «Если Карл не успеет обвенчаться со мною и пойдет на войну, то надо будет серьезно подумать о предложении господина Веллера. Карла, может быть, и не убьют на войне, но ему могут оторвать руку или ногу. Быть женою однорукого или одноногого очень неприятно, и уж лучше носить имя госпожи Веллер».

Эти мысли очень растрогали и разнежили Гульду, и, прощаясь с милым при выходе из лесочка, она нежно поцеловала его. Так нежно, что Карл весь этот день чувствовал в своей душе райскую музыку.

Ошибка гофлиферанта

Гофлиферант Гейнрих Шлейф сидел вечером на своем обычном месте в лучшем из кельбергских кафе, в кафе Баумвальда на Карлплаце, и пил свою обычную кружку пива. Казалось, что он весь налит пивом, и не только коротко подстриженные бачки, но и глаза его были пивного цвета. Перед гофлиферантом сидел его племянник Карл Шлейф и уговаривал его дать согласие на его брак с Гульдою Кюнер, расхваливая Гульду в сотый раз в одних и тех же выражениях.

Гульда — славная, честная девушка. Она — бедная девушка, но она имеет свой, честно заработанный, кусок хлеба. Она будет верною женою и хорошею, экономною хозяйкою.

Гофлиферант был непреклонен и повторял в сотый раз одно и то же:

— Я не хочу, чтоб мой племянник женился на простой деревенской девушке, у которой нет ни одного пфеннига и нет почтенных и уважаемых в городе родственников.

Как всегда, ровно в десять гофлиферант кончил свою кружку. Крикнул:

— Кельнер, прошу сосчитать!

Карл сказал кельнеру:

— Еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

— Я выпил мою кружку, и мне пора домой.

Карл сказал:

— Дядя, за ту кружку я буду платить.

Гофлиферант остался. Сидя над второю кружкою, он говорил:

— Я не могу допустить этого брака. Я — гофлиферант! Мои изделия употребляются при дворе моего кайзера. Мои изделия известны всей Германии. Мои изделия вывозятся за границу, и даже некультурная Россия потребляет их и через их посредство знакомится с благами нашей германской культуры.

Карл воскликнул:

— О да! Гофлиферант Гейнрих Шлейф высоко держит знамя германской культуры, и я горжусь честью быть его племянником.

Гофлиферант пожал его руку и сказал:

— Карл, ты — умный и славный молодой человек, и ты можешь понимать. Да, я сорок лет приношу пользу моему возлюбленному отечеству. Меня уважают все в городе.

— И во всей Германии, — вставил Карл.

Гофлиферант кивнул головою и продолжал:

— Если приезжий на бангофе спросит любого трегера или, выйдя на улицу, спросит любого мальчишку: «Не знаешь ли ты, где живет гофлиферант Гейнрих Шлейф?» — то всякий мальчишка скажет: «О, как же не знать, где живет господин гофлиферант Шлейф! Он живет в своем собственном доме номер семь по Альбрехтштрассе, а его контора находится на Кайзерплатце на углу Вильгельмштрассе». О, гофлиферант Гейнрих Шлейф не последний человек в своем родном городе, и в нашем дорогом отечестве нет города, где бы не употреблялись изделия гофлиферанта Гейнриха Шлейфа!

Гофлиферант поставил опорожненную кружку на стеклянное блюдце и сказал громко:

— Кельнер, прошу сосчитать!

Карл сказал:

— Кельнер, за эту кружку я плачу. Подайте еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

— Я выпил мою кружку, и мне пора домой, где меня ждет госпожа гофлиферантша Гейнрих Шлейф.

Карл сказал:

— Дядя, за ту кружку я заплачу.

Гофлиферант не возражал. Новая кружка была принесена и поставлена перед ним. Гофлиферант тыкал себя толстым, светло-пивного цвета пальцем в широкую грудь и говорил:

— Гофлиферант Гейнрих Шлейф не гордится своими заслугами перед своим дорогим отечеством. Он только честно и добросовест-

но исполнял свой долг. Выше всего он ставил интересы своих клиентов, чтобы никто не мог сказать, что изделия гофлиферанта Шлейфа не есть товар высокого качества, отпускаемый по дешевой цене с гарантией за прочность.

Карл сказал:

— Нет, дядя, этого никто не может сказать. Товар гофлиферанта Шлейфа есть товар самого высокого качества.

Гофлиферант продолжал:

— Да, высокие качества моего товара известны всем. Я употребляю самый хороший материал и самые усовершенствованные машины, у меня работают самые хорошие мастера, я плачу им аккуратно в срок, и они имеют у меня хороший заработок. Когда к ним приходят агитаторы от социалистов, они смеются и говорят: «Нам не нужно никакого социализма, мы — национал-либералы, и мы работаем на господина гофлиферанта Шлейфа».

Карл сказал:

— Мой товарищ, Отто Шарф, социал-демократ, говорит, что есть немало социалистов и на фабриках гофлиферанта Шлейфа.

Гофлиферант покраснел, стукнул кулаком по столу и сказал сердито:

— Отто Шарф — мальчишка и бездельник, и его мать — паршивая русская свинья, и я не хочу говорить о каком-то Отто Шарфе, когда я говорю о моем племяннике. Гофлиферант Шлейф не заносчив, но он знает себе цену. Каждый вечер гофлиферант Шлейф идет в это кафе, где рядом с ним может сесть каждый; он выпивает свою кружку в двадцать пфеннигов и дает кельнеру десять пфеннигов, — не больше и не меньше. И никто не смеет сесть за тот столик, где я привык пить свое пиво. Кельнер, прошу сосчитать!

Карл сказал:

— Кельнер, я плачу за эту кружку. Еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

— Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждет госпожа Амалия Шлейф, супруга гофлиферанта.

Карл сказал:

— Дядя, за ту кружку я заплачу.

Гофлиферант не спорил. Он сидел перед новою кружкою пива и продолжал распространяться о своих достоинствах.

Гофлиферант говорил:

— Я не гордый человек, нет. Я пожму руку всякому человеку, который честно занимается своим трудом. Я уважаю госпожу учительницу Гульду Кюнер, потому что она — честная и достойная девушка. Если она придет в мой магазин, я велю сделать ей уступку, как самому почтенному из моих клиентов, и скажу, чтобы ей отпустили товар хорошего качества, хотя бы она покупала на самую малую сумму. Но всякий человек должен знать свое место. У меня и у моей Амалии нет детей, но мой племянник, сын моего единственного брата, должен помнить, что у меня есть зато много двоюродных братьев и сестер. Если мой племянник хочет наследовать мое дело и мою фирму, то он женится на дочери одного из почтенных коммерсантов. Я не мечу высоко, я не хочу, чтобы мой племянник женился на одной из юных девиц фон Танненберг, или фон Клостербург, или фон Либенштейнт. Я хочу только того, чтобы жена моего племянника была из равной нам семьи. Я сказал, а слово гофлиферанта Гейнриха Шлейфа твердо. Кельнер, прошу сосчитать!

Карл не унывал. Он решился идти до конца и сказал храбро:

— Кельнер, за эту кружку я плачу. Еще одну кружку господину гофлиферанту.

Гофлиферант возражал:

— Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждет моя жена, моя дорогая Амалия.

Карл сказал:

— Дядя, за ту кружку я заплачу.

Гофлиферант отвечал:

— Хорошо. Молодые люди расточительны, но я сам был молод, и я понимаю, когда молодой человек хочет позволить себе немного покутить. Лучше покутить чинно и благоразумно со старым дядею,

чем с легкомысленными и необузданными молодыми людьми, вроде какого-нибудь повесы Отто Шарфа.

Карл сказал:

— Дядя, если я женюсь на Гульде Кюнер, то я не буду проводить свое время с легкомысленными молодыми людьми, потому что Гульда Кюнер — скромная девушка. Она будет заботливою и экономною хозяйкой, и мне приятно будет сидеть дома.

Гофлиферант отвечал:

— Гофлиферант Гейнрих Шлейф не хочет, чтобы дочь простого мужика вошла в его дом и села впоследствии на то кресло, на котором ныне сидит госпожа гофлиферантша Гейнрих Шлейф, урожденная Амалия Липперт, дочь гофлиферанта индустриенрата Фридриха Липперта. Нет, я хочу, чтобы все шло, как прилично, без заносчивости и без унижения.

Гофлиферант, опорожнив эту кружку, сказал громче, чем обыкновенно:

— Кельнер, прошу сосчитать!

Карл мужественно сказал:

— Кельнер, за эту кружку я плачу. Еще одну господину гофлиферанту.

Гофлиферант возразил:

— Я выпил мою кружку, и мне пора идти домой, где меня ждет моя милая Амальхен.

При воспоминании о милой Амальхен голос гофлиферанта дрогнул и в его глазах блеснули светло-желтые слезинки. Карл сказал:

— Дядя, за ту кружку я заплачу.

Гофлиферант остался. И еще. И еще. И еще.

Наконец в двенадцать часов ночи, когда кафе закрывалось и когда все добрые граждане богоспасаемого города Кельберга уже мирно спали в своих кроватях, под своими теплыми пуховыми одеялами, вместе со своими добродетельными женами, гофлиферант вышел на площадь, поддерживаемый Карлом. Карл хотел было проводить его до дому, но гофлиферант решительно этому воспротивился. Он говорил:

— Гейнрих Шлейф всю жизнь твердо стоял на своих собственных ногах и не нуждается ни в чьей помощи. Я дойду один, а ты иди до-

мой. Нехорошо молодому человеку возвращаться домой очень поздно. Твоя почтенная хозяйка, госпожа Клара Фрейман, может подумать о тебе дурно, а если это повторится, то она перестанет держать тебя у себя на квартире.

И на углу Карлплатца и Карлштрассе Карл простился с гофлиферантом и отправился домой, в свою скромную каморку на окраине города, на Нахтигальштрассе. По дороге предавался он грустным размышлениям о дядиной непреклонности и сладостным мечтаниям об очарованиях прелестной и невинной Гульды.

II

Гофлиферант шел привычною дорогою по Карлштрассе. Шаги его были очень нетверды.

Скоро пришел он на Кайзерплатц, обширную площадь со статуею императора. Пять улиц выводили на эту площадь: справа от Карлштрассе — Вильгельмштрассе, где была контора и магазин гофлиферанта; слева — Фридрихштрассе; через площадь — Альбрехтштрассе и Альбертштрассе.

Перейдя через площадь и обогнув памятник, гофлиферант направился по одной из этих улиц и скоро добрался до дома под номером седьмым. С трудом взобрался он по внешней лестнице к дверям своей квартиры, причем его удивило, что лестница стала как будто повыше на одну ступеньку. Но скоро он сообразил в чем дело. Он подумал: «Я выпил сегодня больше одной кружки пива, и это подействовало на мои ноги, но не на мою голову. Всегда я вхожу правою ногою на первую ступеньку, левою на вторую, правою на третью, и так далее все шесть ступеней. Но сегодня одна из моих ног ступила на ступеньку, где уже стояла другая нога, и вот почему я насчитал семь ступенек. Нет, — думал гофлиферант, — в моем доме шесть ступенек, а семь ступенек — это в доме господина ратмана Вильгельма Шпицера, тоже номер семь, но на другой улице, на Альбертштрассе».

Гофлиферант достал из жилетного кармана ключ от входной двери. Долго возился он, ключ долго не хотел входить в скважину. Наконец что-то щелкнуло в пружине замка, дверь заскрипела и отворилась.

Гофлиферант с досадою подумал, что служанка Гертруда не исполняет своих обязанностей и уже давно не смазывала петель двери. Он пошарил по стене, повернул выключатель и глянул на себя в зеркало.

— О! — сказал он, укоризненно покачивая головою, — старый Гейнрих, ты очень красен. Не годится тебе пить больше одной кружки, хотя бы ты за лишнее пиво и не платил ни пфеннига. Это вредно для твоего здоровья.

В соседней комнате послышалось шлепанье туфель. Гофлиферант умилился. Он воскликнул:

— Моя Амалия не спит и ждет своего старого Гейнриха!

И его широко улыбающееся лицо обратилось к двери.

Чей-то грубый голос за дверью спрашивал:

— Кто там разговаривает так поздно ночью?

Гофлиферант испугался и подумал: «Амалия сердится и говорит поэтому низким голосом. Она спросит: что ты смотришься в зеркало, как молодая девушка? Зачем ты для этого тратишь электричество, которое стоит так дорого?»

Гофлиферант погасил свет и поспешил в комнаты. Но, к его ужасу и негодованию, на пороге встретил его господин ратман Вильгельм Шпицер, в домашней куртке и в туфлях, такой же толстый и такой же красный, как и гофлиферант.

Гофлиферант воскликнул:

— Господин ратман!

Ратман воскликнул:

— Господин гофлиферант!

И оба они воскликнули одновременно:

— Как вы сюда попали?

И оба ответили одновременно:

— Я у себя дома!

И опять оба в одно время воскликнули:

— Это — мой дом!

И в это время в души их обоих закрались мрачные подозрения. Гофлиферант воскликнул:

— Моя Амалия!

Ратман воскликнул в тот же миг:

— Моя Берта!

— Вы идете от моей Амалии! — говорил гофлиферант.

— Вы идете к моей Берте! — говорил ратман.

И оба они воскликнули одновременно:

— Не употребляйте имени вашей несчастной почтенной супруги, которую вы обманываете с чужою женою.

— Прошу вас удалиться из моего дома! — воскликнули оба они одновременно.

И наконец свет истины озарил голову гофлиферанта, — над головою ратмана он увидел люстру. Такая же точно люстра, как и у гофлиферанта, но лампочки заключены не в шарообразные футляры льдистого стекла, как у гофлиферанта, а в футляры многогранные, хотя стекло такое же точно.

Гофлиферант в ужасе воскликнул:

— Как я сюда попал!

Ратман отвечал:

— Я не знаю, как вы сюда попали, господин гофлиферант. Но я бы желал знать, как вы сюда попали и что вы здесь ищете в такое позднее ночное время.

Гофлиферант говорил, весь красный от пива и от смущения:

— Я отворил дверь моим собственным ключом! Я думал, что я на Альбрехтштрассе номер семь.

Ратман отвечал:

— Вы на Альбертштрассе номер семь, господин гофлиферант, и вы отворили мою дверь своим ключом. Я не буду удивляться, если окажется, что мой замок сломан.

Гофлиферант спросил:

— Но почему же вы это думаете?

Ратман отвечал:

— Мой замок имеет свой ключ, и чужим ключом он не может быть без повреждения отворяем.

Гофлиферант подумал, что ратман слишком мрачно смотрит на положение вещей. Необходимо проверить это немедленно, чтобы потом ратман не вздумал говорить о том, чего не было. Гофлиферант сказал:

— Мы должны это посмотреть, господин ратман.

Ратман запальчиво ответил:

— Мы это посмотрим сейчас же, господин гофлиферант.

Оба отправились в переднюю и там без труда убедились в том, что замок сломан. Ратман сердито поглядел на гофлиферанта и воскликнул:

— Господин гофлиферант!

Гофлиферант пожал плечами, развел руками и сказал:

— Я очень извиняюсь, господин ратман, за повреждение вашего замка, произведенное мною без умысла, и я уплачу что следует за починку замка.

— Хорошо, — сказал ратман. — Но мы должны это обсудить. Пожалуйте в мою гостиную, господин гофлиферант.

Вошли опять в гостиную. Послышался за дверью тревожный голос Берты Шпицер:

— Вильгельм, с кем ты разговариваешь так поздно?

Ратман отвечал:

— Не беспокойся, Берта, это господин гофлиферант Шлейф. У нас с ним деловое совещание.

— В такой необыкновенный час? — с удивлением спросила Берта.

— Дела всегда дела, — сказал ратман. — Иди, Берта, через десять минуть я вернусь к тебе.

За дверью послышались удаляющееся шаги Берты. Ратман повернулся к гофлиферанту и, указывая ему на кресло, сказал:

— Итак, господин гофлиферант?

Гофлиферант сел на указанное кресло и, утирая платком выступивший от волнения пот, говорил:

— Я пришлю завтра к вам слесаря...

Ратман перебил его.

— Извините, господин гофлиферант, но это очень неудобно, чтобы вы чинили замки в моем доме. Это подает повод к разным неприятным слухам. Да и к чему вам беспокоиться? Я сделаю это сам, а вы уплатите мне сейчас в возмещение моих убытков некоторую сумму денег.

Гофлиферант отвечал:

— В вечернее время я не ношу с собою лишних денег. В моем кошельке находится сорок пфеннигов, но этого, я думаю, мало за починку такого хорошего замка.

Ратман сказал спокойно:

— Вы дадите мне вексель.

Гофлиферант воскликнул с удивлением:

— Вексель! На такую сумму! Я завтра же пришлю вам что следует.

— Я желаю иметь пятьсот марок, — невозмутимо сказал ратман.

Он сел против гофлиферанта, сложил руки на животе и спокойно смотрел на своего незваного гостя.

— Господин ратман! — воскликнул гофлиферант.

Ратман говорил:

— Я сказал Берте: дело. Что же я скажу, если она спросит: что же тебе дало это дело, за которым ты лишал себя ночного отдыха?

Гофлиферант растерянно говорил:

— Это невозможно, господин ратман!

Ратман сказал решительно:

— Господин гофлиферант, я мог бы сделать большой скандал. Но я его не делаю из уважения к вам.

Гофлиферант понял, что спор бесполезен. Он бросил на ратмана негодующий взгляд и сказал с тихою злобою:

— Давайте бумагу, я пишу вексель на триста марок.

— Пятьсот, господин гофлиферант.

Пришлось гофлиферанту писать вексель на пятьсот марок.

III

На другой день, когда Карл сидел в своей конторе, ему сказал конторский мальчик в курточке с бронзовыми пуговками и с узкими галунчиками:

— Господин Шлейф, к вам пришел мальчик от господина гофлиферанта Шлейфа.

Карл взял с ясеневого пенька над конторкою котелок и вышел на улицу, где его ожидал другой мальчик с такими же галунчиками и пуговками. Карл надел котелок, мальчик снял фуражку с галунами, поклонился и сказал:

— Добрый день, господин Шлейф.

Карл сказал:

— Добрый день, Фрицхен. Что скажешь?

Фрицхен отвечал:

— Господин гофлиферант просит вас пожаловать вечером в девять часов в кафе господина Баумвальда.

Карл подумал, поглядел для чего-то на часы, кинул взгляд вдоль улицы и наконец сказал:

— Скажи господину гофлиферанту, что я приду.

Мальчик опять поклонился, надел фуражку и пошел к Карлплатцу спорою походкою хорошего посланного мальчика, не тихо и не скоро, не останавливаясь перед витринами хороших магазинов с хорошими и дешевыми товарами. Карл же вернулся в контору, к своей конторке. Он думал: «Гофлиферанту понравилось пить мое пиво. Хорошо, пусть пьет, мне не жалко, я могу сделать экономию на другом. Но я бы хотел, чтобы мои деньги и мое время не пропали даром и чтобы гофлиферант согласился на мой брак с Гульдою. Он должен понять, что я имею свой расчет в жизни и что хорошая жена полезнее для

хозяйства, чем хорошее приданое, которое можно все растратить на прихоти избалованной в богатстве жены».

IV

Вечером в кафе Карл усердно хвалил Гульду. Гофлиферант молчал. Когда третья кружка подходила к концу, гофлиферант сказал:

— Госпожа Гульда Кюнер — хорошая девушка, и она получила хорошее место в городе.

И замолчал. Карл еще ревностнее продолжал хвалить свою возлюбленную.

Допивая четвертую кружку, гофлиферант сказал:

— Вчера я долго шел домой и по дороге успел подумать о многом. Я, гофлиферант Гейнрих Шлейф, заблудился и пошел не по настоящей дороге. Я долго думал и понял, что всякий человек может один раз в жизни сделать ошибку, только надо, чтобы ему было чем заплатить за эту ошибку.

Карл сказал:

— Дядя, я еще не сделал ошибки.

Гофлиферант возразил:

— Нет, Карл, ты сделал ошибку уже тогда, когда влюбился в бедную девушку. И вторую ошибку ты сделал, когда ты дал ей надежду на брак с тобою. Но у тебя, Карл, будет чем заплатить за твои ошибки, — я решил дать мое согласие на твой брак с Гульдою.

Карл засиял. Он думал: «О, мои расходы не пропали даром!» И воскликнул:

— Кельнер, еще одну кружку господину гофлиферанту и одну также мне!

Гофлиферант говорил:

— У Гульды Кюнер нет денег, но я на свой счет сошью ей все, что надо для молодой девушки, выходящей замуж. Скажи ей, Карл, пусть она завтра же идет к госпоже Пельцер, — я уже сказал, чтобы госпожа Пельцер сняла с нее мерку для белья. И оттуда пусть она идет

к госпоже Шварц, которая сошьет ей платья, и к господину Крюгеру, который сделает ей башмаки. И потом пусть она идет в мою контору, где ей дадут еще триста марок на прочие мелкие расходы.

Карл прослезился и воскликнул:

— Благодарю вас очень, дядя, очень благодарю. Господь Бог вознаградит вас за ваше великодушие и за вашу щедрость!

— О! — воскликнул гофлиферант. Я платил за мою ошибку, я буду платить за твою ошибку; мои клиенты в некультурной России заплатят за наши ошибки.

СОЧТЕННЫЕ ДНИ

Рассказы

Сочтенные дни

Если на прочный помост станут взваливать груз за грузом, то кажется сначала, что бесконечна способность сопротивления тяжелых бревен помоста. Но вот вкатывается еще одна тачка с каким-нибудь пудом или двумя камней, и вдруг слышен слабый, но зловещий треск. Помост еще держится, но уходи от него подальше, — уже скоро бревна подломятся, все сооружение рухнет на землю, и столб пыли заволочет грузный грохот обвала.

Если человек долго сидел под замком, и вдруг в стене его затвора повалилось одно бревно и придавило узнику ноги, и в щель стены повеяло свежим воздухом, узнику вдруг становится и страшно, и радостно. Страшно, — не сломаны ли ноги? Удастся ли сбросить бревно? Или так и погибнешь, словно крыса в мышеловке? И все же радостно, потому что грудь узника дышит ровно и свободно. Перед глазами плывут радужные пятна и кольца, и все кажется сном.

Такой перелом в настроениях наших и в нашем отношении к войне случился, когда немцы взяли обратно Перемышль. И таким узником с придавленными ногами, но с широко и свободно дышащею грудью оказалась вскоре Россия. Еще не было свободных путей никуда, но уже пустынный ветер свободы веял. Его гул был страшен для слабых, — многим чудилась близкая гибель России еще и в те томительные дни.

В то лето, в начале перелома, ощущалось только смятение тяжелого обвала, болезненная придавленность и безмерное, беспредмет-

ное раздражение. И это раздражение особенно тяжело чувствовалось не в средоточениях, — там люди заняты делом, им не до психологии, — а на проселочных путях жизни. Люди, отдыхавшие летом, ложе отдыха почувствовали жестоким и колючим.

На берегах Волги, в верхних и средних ее частях, в то лето поселилось немало людей, которые раньше жили на дачах где-нибудь близ Петрограда или на Финском или Рижском побережье. В семи верстах от торгового верхневолжского города жил со своею семьею профессор Борис Павлович Кратный. Его семью составляли жена, дочь, двое мальчишек. Они жили в большом доме, среди парка, красивого и уютного, немного запущенного и оттого еще более милого, грустного и задумчивого. Хозяин барской усадьбы, офицер, был на войне, на юго-западном фронте, в штабе одной из армий. Его жена захолустной жизни терпеть не могла и жила на даче под Киевом у своих родственников, — ближе к мужу и среди беспечно-богатых людей, жизнь которых текла так безоблачно, словно и не было войны. Дом поэтому сдавали дачникам. Маленькую дачу, на берегу Волги, сдавали и раньше, если не ожидалось приезда родственников. Там поселилась другая семья, местные интеллигенты Балиновы, — мать-вдова, дочь-вдова, сын — долговязый и улыбчиво-мрачный гимназист, только что перешедший в восьмой класс. Только в это лето Кратные и Балиновы познакомились и сошлись очень, понравились друг другу, что редко бывает с русскими интеллигентными семьями.

Однажды утром, воспользовавшись очень хорошею погодою, собрались сделать небольшую прогулку на дачном пароходе, вниз по Волге до ближайшей пристани, и там, на другой стороне реки, провести день.

Хотя пристань маленьких дачных пароходов была тут же, под парком, только спуститься с крутого берега, а все-таки опоздали, и на большой даче, где жила семья Кратного, и на маленькой, где жили Балиновы. Может быть, надеялись, что, по обыкновению, опоздает пароход, но, как назло, пароход сегодня пришел вовремя.

Кратный охотнее сегодня остался бы дома. Его занятия, казалось ему, требовали большой усидчивости. Он дорожил летними месяцами как временем, когда удавалось больше работать, чем в городе зимою. Поэтому он предпочитал селиться летом не в шумных дачных местностях с обычным набором музык и развлечений. Его жена, Далия Алексеевна, понемногу усвоила его вкусы и привычки, хотя вначале скучала и сердилась.

И потому еще сегодня Кратный охотно остался бы дома, что он читал недавно вышедшую необыкновенно интересную книгу по его специальности и в этой книге многое требовало основательных справок, соображений и возражений. В результате могло получиться несколько популярных газетных статей, полемическая статья для специального журнала и несколько страниц в той книге, которую кончал Кратный. И потому его тянуло поработать. Но его жена, Далия Алексеевна, настаивала, чтобы и он поехал. Со свойственными ей настойчивостью и запальчивостью она говорила:

— Нельзя же все сидеть за книгами. Ты совем изведешься, если у тебя и летом не будет достаточно отдыха. Мальчики тебя почти совсем не видят.

Это было не совсем так, — с мальчишками Кратный бывал достаточно, и сегодня он бы все-таки остался. Но у него было слишком живое воображение, и всегда, если к обеду запаздывала жена или кто-нибудь из детей, ему воображались всякие ужасы. Сегодня же, конечно, непременно опоздают. Пожалуй, вздумают даже у кого-нибудь ночевать. Дети же у Кратного были резвые и своевольные. Поедут на лодке, зашалят, сами утонут и мать утопят.

В это лето все окружающее казалось Кратному особенно враждебным и зловещим. И потому его воображение работало особенно болезненно. Далия же в последнее время очень нервничала. Была неспокойна. Часто сердилась на своих детей. Точно завидовала их беспечной веселости и самоуверенности.

У Кратного было два сына, веселые мальчишки — Гука и Мика, четырнадцати и двенадцати лет, и дочь Верочка, семнадцати лет, тоже

веселая и бойкая; все они были красивые, сильные, рослые. У них была своя особенная жизнь, которой Кратный не понимал и к которой не мог и не хотел примениться. По капризу сильного умом и душою и много размышляющего человека он думал, что только его мысли и настроения верны. Чужую мысль он схватывал на лету, легко и свободно, но уважать ее не мог. Дети казались ему слишком сильными, слишком обыкновенными и потому странными. Они были очень уверенные и самостоятельные и в то же время не отличались никакими особыми талантами. Учились неплохо, но ни в чем не отличались. Были хорошими товарищами и тоже держались в какой-то средней плоскости, — не влияли на других и не поддавались влиянию вожаков. Умели взорвать чью-нибудь попытку верховодить, но сами верховодить не хотели, да и не умели. Никогда нигде не были первыми, но не были и последними.

— Золотая середина, — досадливо говорил иногда о них Кратный.

Кратному неприятно было думать, что у него, так успешно работавшего в своей области, дети будут заурядными людьми. И ему была непонятна эта смелость и уверенность посредственности. Иногда он с досадою думал, что его семья являет как бы прообраз будущего человечества, — счастливая и бездарная, уверенная и тупая толпа, все действия которой элементарно правильны и которой не надобно вождей и героев.

Далия тоже не понимала своих детей, но она этого не замечала, и потому ей с ними было легче, чем ему. Они мало с нею считались, и ей казалось, что они ей послушны. Никогда с нею не споря, они все делали по-своему и умели делать это так, что она никогда не замечала их своеволия.

Сегодня все трое детей Кратных уже с раннего утра были у берега на даче Балиновых. Верочка с Володею Балиновым и с братьями спустилась к реке. Здесь ее братья, Гука и Мика, шалили у воды, высоко подобрав синие штанишки, разбрызгивая загорелыми ногами холодноватую воду, а Верочка спорила до слез с Володею. Володя дразнил ее нарочным спором, улыбчивый, тощий и хмурый. Верочка краснела и хмурила брови.

Наверху, у взрослых, было свое. Наталья Степановна Балинова торопила кухарку печь в дорогу ватрушки. Ватрушками она очень гордилась, — старый семейный рецепт, переживший незапамятные годы. Ее дочь, Калерия Львовна, сидела на скамейке под окнами дачи, то смотрела на Волгу, то опускала невнимательные глаза на книгу, — она читала этот роман уже четвертый день, и он ей наконец надоел. Разговаривать с людьми она не любила. Ее жених был в плену, и она хотела в жизни пока только одного, — чтобы скорее кончилась война и он вернулся бы. Сначала она тосковала о нем и плакала. Когда он попал в плен, она успокоилась, — не убьют, вернется. И опять, как до войны, стала носить красные сарафаны.

Когда Кратный с женою подходили по берегу к саду маленькой дачи, ватрушки все еще не были готовы, но Наталья Степановна сердилась на Кратных, ворчала и упрекала их. В то же время к пристани подошел пароход. Немногочисленные приезжие вышли по шаткой доске, брошенной с пристани на борт парохода, несколько человек ждали очереди входить.

Завидев Кратных, Наталья Степановна заворчала:

— Ползут наши улитки. Наконец-то, — сказала она громко. — А мы вас ждем, ждем.

Калерия подняла глаза от книги, встала и вяло усмехнулась. Оттого, что ее сарафан был ярко-красен, казалось, что ее лицо молодо, свежо и румяно, и незаметны были усталые складки около губ.

— Пароход! — кричали снизу мальчишки. — Сейчас отходит.

Балинова наскоро завязывала ватрушки. Говорила суетливо:

— Идите, я вас догоню. Скажите, чтобы минутку подождали. Если Иван Порфирьевич, он подождет.

Калерия побежала вперед. Кратный и Далия пошли за нею. Но уже пароход отходил как раз в то время, когда Кратный и Далия подходили к тому месту, где дорожка спускалась круто вниз, к пристани. Мужики с палубы парохода кричали им что-то грубое и насмешливое. Наталья Степановна, запыхавшись, подбежала к верхнему краю спуска и остановилась, говоря сердито:

— Вы всегда опаздываете!

Далия оправдывалась... Так многословно говорила и так ожесточенно, — и выходило, что все виноваты и что она давно бы пришла, если бы ей не мешали.

— По хозяйству. Вы не знаете, какая она бестолковая, наша Паша. Воды не добьешься. И в самый последний момент, когда уже надо уходить, вдруг у нее какие-нибудь дела.

Калерия не спорила и не упрекала. Она спокойно села на скамейку близ дома путевого сторожа и спрашивала:

— Что же теперь делать?

— Ну что ж! — решила Далия. — Сядем на следующий пароход.

Она никогда не знала времени, и ей всегда казалось, что если подождать, то все же можно приехать вовремя. Поэтому всегда везде опаздывала, чем приводила мужа в отчаяние.

Наталья Степановна с раздражением говорила:

— Следующий пароход придет только через два часа. Когда же мы туда попадем? К вечеру.

Обыкновенно она была спокойная и любезная женщина, и ее раздраженный тон был непонятен ей самой. Тем более что времени было еще много. Был одиннадцатый час в начале, и до Берлогина, куда они хотели ехать, пароход шел около получаса. Калерия подумала, что красный цвет ее сарафана раздражает мать. Она вяло усмехнулась. Подумала: «Не надеть ли другое платье?»

Но ей стало скучно думать о том, что придется переодеваться.

«Нет, останусь так!»

Прибежали снизу мальчики и Верочка, очень огорченные неудачею. Упрекали мать все наперебой:

— Мамочка, с тобою всегда опоздаешь.

Далия прикрикнула на них:

— Ну, пожалуйста, без наставлений. Вы одинаково весело можете провести время и здесь на берегу.

Гука сказал весело:

— Если бы мама была царицею, она вставала бы в семь часов вечера.

— Ну и глупо, — сердито крикнула Далия. — Я сегодня в семь утра проснулась.

— А встала?

— А если она мне чаю целый час не несла? И башмаки?

Стали рассуждать, что же теперь делать. Было три выхода. Ждать следующего парохода? Нанять лодку? Идти пешком?

Наталья Степановна советовала ждать парохода. Ей приятно было думать: «Вот опоздали, так теперь подождите».

Калерия Львовна хотела нанять лодку. Медленное движение вниз по реке всего более соответствовало бы ее тоскливо-бездеятельному настроению.

Далия настаивала:

— Пойдемте пешком.

Сообразив, что ждать два часа скучно, уже она отказалась от мысли сесть на следующий пароход. А ехать в лодке так далеко она не хотела. Далия боялась воды с тех пор, как ее двоюродный брат утонул десять лет тому назад. Он погиб при загадочных обстоятельствах, и нельзя было решить, утонул ли он, купаясь, или его утопили. В деревне, где это случилось, ходили темные слухи, но дело осталось невыясненным. Далии казалось с тех пор, что вода притягивает. Когда она долго смотрела с высокого берега на реку, у нее кружилась голова, и она отходила подальше. Но все же она любила воду, реку и море, и даже купалась. Очень сложно было ее отношение к воде, — любовь, страх, неодолимое влечение и темная жуть.

Спорили недолго. Самая настойчивая была Далия. И она настояла-таки на своем. Ее быстроногие мальчишки были рады, и у них засияли счастливые улыбки. Солнце, небо и золотистая дорожная пыль всегда радостно возбуждали их. Они принялись возиться. Наталья Степановна посмотрела на них сурово и сказала:

— Мальчики! У вас отец — такой ученый, а вы возитесь, как крестьянские мальчишки.

Мальчишки остановились и смотрели на нее.

Гука нахмурился и серьезно сказал:

— Товарищ, вы ставите вопрос не в ту плоскость.

Все засмеялись. Вдруг перестали сердиться друг на друга. Пошли узкою дорожкою над берегом, между крутым срывом и полями зрелых колосьев.

Гимназист Володя Балинов, по обыкновению, ссорился с Верочкою. Оба они были еще слишком молоды, чтобы по-настоящему влюбиться друг в друга, но уже всемирная влюбленность волновала их обоих. Калерия Львовна, как всегда, была молчалива и думала о своем. Первого своего мужа она никогда не вспоминала. Думала о том, что ее жених в плену. Он попал в плен тяжело раненный. Теперь поправился, но шрам на щеке останется на всю жизнь. Он пишет, что шрам безобразит его. Но ей он еще более мил.

Кратный шел рядом с Калериею. Не знал, о чем говорить с нею.

— Вы чем-то озабочены? — спросил он, заглядывая в ее скучающие глаза.

Она посмотрела на него с безразличною доверчивостью.

— Нет, ничего, — сказала она, поеживаясь полными плечами, на которых вздрагивали узкие лямки красного сарафана, оставляя на загорелой коже узкие натертые полоски.

Потом, не замечая, что сама себе противоречит, стала говорить, что ее заботит, и в голосе ее звучала тревога.

— Давно от Сергея писем нет. Это меня начинает беспокоить. Здоров ли? Говорят, что их там очень плохо содержат. Правда, он — прапорщик, офицерам все же лучше. Но все-таки очень беспокойно, — прежде он довольно часто писал.

Кратный уже знал, что Сергей — ее жених. Он сказал:

— Все же безопаснее, чем на фронте. Не убьют. После войны вернется.

Он увидел, как быстро краснело ее плечо. Принагнувшись вперед, заглянул в ее лицо, — оно все ярко пылало. Кратному стало жаль Калерию, — она могла обидеться за жениха. Он хотел сказать несколько утешительных слов, но она уже говорила:

— Он взят в плен тяжело раненный, нет, он не думал о безопасности.

Кратный пожал голый локоть ее руки. Она посмотрела на него и улыбнулась застенчиво и благодарно.

Шли по полям. Уже видна была за оврагом с шумною речкою деревня Кобылки. Хрипло залаяли две собачонки. Гука сказал:

— Ну вот, сейчас узнаем все новости.

Мика побежал к оврагу. И тогда всем вдруг стала понятна причина общего раздражения. Далия принялась многословно объяснять, что без газет утром очень неприятно. Никто с нею не спорил. Кому из горожан не понятна эта утренняя тоска о почтальоне!

В деревне Кобылках жил Кирилл Потапчик, бывший пьяница и хулиган, а теперь местный вольный письмоносец. Почтовая станция была за три версты от Зеленой Горки, где жили Кратные и Балиновы, казенного почтальона не полагалось, а потому письма с почты получал и дачникам разносил Потапчик. За это он получал по пяти рублей с дачи, кроме частых на чай. Переставши быть записным пьяницею, Потапчик казался степенным и честным человеком. По большей части, особенно в будни, он исполнял свои обязанности добросовестно. По праздникам он пил денатурат или ханку, падал на дороге, засыпал и рассыпал письма. Дачники собирали их сами и доставляли друг другу с оказиею.

Когда спускались с крутого берега к речке, где было больше каменьев, чем воды, Калерия сказала:

— Прошлое лето приходили открытки, нынче я еще ни одной не получила.

Володя сказал:

— Рашка ворует, зимой на стену картинки повесит.

— Тише, Володя, — сказал Кратный, — она услышит, обидится.

Рашка, дочь Потапчика, долговязый подросток, вся черная от загара, стояла на крылечке своего дома и сверкала зубами, неимоверно белыми, — улыбалась. Ее ноги были черны от загара и от грязи, так что издали казалось, что она обута. И от ее загорелости ее светлая юбочка казалась особенно нарядною.

Рашка радостно закричала:

— Белые кости пришли в гости.

Она была веселая и всему радовалась.

— Заходите, — говорила она, — папка принес газеты. Теперь отдыхает. Собирался сейчас разносить. Может быть, сами возьмете? А писем сегодня нет.

И улыбалась воровато.

— Сразу видно, — шепнула Верочка Калерии, — что она стянула наши открытки.

Кратный вошел в дом к Потапчику, остальные ждали у крыльца. Скоро Кратный вышел с пачкою газет. Жадно расхватали газеты. Тут же сели на крыльцо, на скамейку, читали. Был слышен только шелест бумаги. Мальчишки толкались и засматривали из-за плеча взрослых. В окно высунулась взлохмаченная голова Потапчика.

— Пишут, наших шибко побили, — сказал он.

И улыбался так, словно рассказывал что-то необыкновенно приятное. Кратный поднял на него удивленные глаза. Потапчик нагло хмыкнул и скрылся.

В газетах пришлось прочесть печальные вести. Все стали злы и угрюмы. Калерия первая отбросила газетный лист и порывисто встала.

— Пойдемте! — сказала она.

За нею поднялись и другие. Кратный засунул газеты в боковой карман пиджака. Молча пошли дальше. Ни слова не сказали, пока шли через фабричную слободу над Волгою. Длинный порядок новеньких домов, уютных и хозяйственных, — играющие на берегу ребятишки, — пахучие, смолистые бревна, — опрокинутые вверх черными доньями лодки, — все шло мимо сознания. И даже мальчишки не смеялись, не шумели, не шалили, — тихо переговаривались о чем-то друг с другом.

Вот две церкви, — старообрядческая с оградою, где нарядливы и чинны цветочные клумбы, и православная, около которой поломанная ограда, сорный пустырь, крапива и лопух. А за ними дома старших фабричных служащих и спуск, — деревянная новенькая лестница, — к пароходной пристани. Здесь останавливаются и «Самолет», и «Кавказ», и «Меркурий». Есть и наемные лодки.

Сели на скамеечке у лестницы вниз. Мальчишки Кратного швыряли камни в кур. Полевые скаты за рекою были зелено-ярки. Из ворот фабричной ограды вышли фельдшерица Ульяна Ивановна Козлова и ее муж, учитель Павел Степанович. Она — бойкая, скорая и большая. Он — маленький, щуплый, в очках. Поздоровались.

— На почту заходили, за газеткой, — объяснила Ульяна. — Прочитали там же, на крылечке.

— Ну, что скажете? — спросил Кратный.

— Да что сказать!

— Что же будет? — спросила Калерия.

— Не справиться нам с германцами, — уверенно сказал Козлов. — Вы то возьмите, у них у солдата в ранце сочинения Гёте лежат, а наши христолюбивые воины наполовину неграмотны. И притом же порядку никакого. Нет, нам с германцами не справиться.

Кратный слушал его внимательно. Уверенность щуплого учителя с серенькою бородкою удивляла и сердила его. И вдруг ему стало страшно и неловко. Он смотрел на людей, и казалось, что они потому и молчат, что знают что-то, чего он не знает. Он заговорил злобно, точно споря:

— Мы должны верить. Насколько мы — русские, мы должны верить в Россию и в победу.

Кратный сам чувствовал, что это выходило слишком патетически. И веры у него не было. Калерия смотрела на него молча, ничего не отвечая. И все более настойчиво казалось Кратному, что она знает что-то, чего он не знает и не понимает. Он опять осмотрелся, — и у Ульяны, и у ее мужа было то же выражение. Потом все эти дни это ощущение не покидало его.

Меж тем Верочка и Володя нанимали две лодки перевезти на тот берег. Крикнули снизу:

— Готово.

Все, тихо переговариваясь, пошли вниз.

Долго усаживали Далию. Она не хотела ехать с молодежью, боялась их шалостей, но и боялась отпустить их одних. Наконец усадила

детей с собою и строго велела им сидеть смирно. И вместе с нею поехал Кратный.

Лодочник, чахлый пожилой мужик, заговорил:

— Сказывают, опять наших бьют. Видно, не берет наша сила. Мириться надо.

— Сегодня помиримся, через пять лет опять воевать, — отвечал Кратный.

Мужик глядел мимо его плеча, греб с усилием и говорил:

— Всех мужиков забрали, одни бабы остались. В Березках на всю деревню три мужика. Работать некому. Бабы воют, — она сына растила, кормила, а его на убой гонят. Скорее бы войну кончали.

Кратный взглянул на своих мальчишек. Мика сказал:

— Если бы мы постарше были, мы бы добровольцами пошли.

Мужик, не слушая их, продолжал свое, унылым, ровным голосом тянул бесконечные жалобы на то, что все дорого, что всем дают прибавки и что ему надо прибавку. Кратный слушал, и словно в сердце ныла заноза. И он обрадовался, когда наконец лодка стукнулась о доски маленького плота. И мальчишки попрыгали на песок из лодки так, словно вырвались из душного затвора.

Вошли в рощу. Остановились в тени старого дуба.

У берега изба-чайная, при ней лавка. Заспорили, что брать, — чай, молоко.

Мальчишки возились на поляне. Далия и Наталья Степановна отправились в чайную. Долго не возвращались. За ними пошел Кратный. Застал их в ожесточенном торге с хозяином. В чайной сидело несколько мужиков. Кратного поразило недоброжелательство и злорадство мужиков.

— Не стоит торговаться, — сказал он тихо.

И почти силою увел Далию.

Когда Кратный выходил из чайной, все вдруг казалось ему скучным, сорным, глупым и непонятным. Казалось, что и петух, и куры, и тощая, грязная свинья чем-то похожи на хозяев.

— Подавать, что ли? — насмешливо спрашивал хозяин, мужик дюжий, с перешибленным носом и ястребиным взором.

Наталья Степановна заказала чай и молоко.

Козлов и Балиновы яростно заспорили о войне.

Кратный повторял настойчиво:

— Все зависит от нас самих. Если мы будем верить в Россию, мы победим. Стоит только захотеть победы. Если во всех нас будет волевое напряжение к победе, оно скажется во всем ходе наших дел и мы победим.

Учитель Козлов уныло повторял:

— Да хотеть-то мы не умеем. Все точно неврастеники какие-то. Разве можно нас с германцами сравнивать?

Устроились за щелистым деревянным столом в тени веселых березок, — береза даже и в старости кажется юною да веселою. Долго ходили в чайную и обратно, за сахаром, за ложками. Сначала ложек не дали, угрюмая прислуживающая девица принесла стаканы и блюдца, потом кипяток в чайнике побольше и чайник поменьше для чаю. Все разное, с пообколоченными краешками, с неотмытою грязью в западинах и в сгибах. Володя пошел за ложками. Туполицая лавочница тупо говорила ему:

— Ложки только если с вареньем.

— Да мы не хотим вашего варенья, — сказал Володя.

Туполицая лавочница отвечала:

— Тогда, значит, вприкуску, зачем же вам ложки!

— Да уж мы знаем зачем! — досадливо сказал Володя.

Хозяева долго и нудно ворчали:

— Варенья не берут, ложечки требуют.

Наконец достали и швырнули на прилавок две ложки. Володя сказал:

— Зачем же бросаете?

— Что ж вам, на подносе подавать, что ли? — язвительно спросил хозяин.

— В ноги кланяться прикажете? — так же язвительно кричала хозяйка.

И хозяин говорил уже свирепо:

— Довольно вы над нами побарствовали. Попили нашей кровушки.

Володя поторопился уйти. Два фабричных рабочих хохотали, сидя в углу за столом. Лавочник и его жена смотрели на Володю злобно и угрюмо и говорили странные, ненужные слова:

— Господа туда же называются.

— Напялили шляпки, лодырничают целые дни.

— Нет, они бы попробовали по-нашему.

— Горбом деньги наживаем.

— У них деньги легкие, а между прочим, на варенье жалко раскочиться.

— С собой принесли чего-то в картузиках, сидят, жрут.

Седой мужик в неимоверно грязном зипуне, закутанный, несмотря на зной, долго слушал и сказал неожиданно злобно:

— А ты бы, Саватеич, вместо ложечки его палкой по башке огрел.

И эти странные слова нашли сочувственный отклик:

— Вот в самый раз палкой.

— По башке хорошенечко.

И каждый раз, когда приходили за чем-нибудь в чайную, опять поднимался спор с лавочником и с его женою. Это были глупые, тяжелые люди. Никак не хотели понять и согласиться. На все твердили одно:

— У нас такое правило.

Взяли кувшин молока. Приволокла его угрюмая девица, и на ее лице было напряженное и злое выражение, словно она тащила громадную тяжесть.

Пили молоко только мальчишки и Ульяна. Далия любила молоко, но теперь из чувства противоречия пила противный чай. Ульяна не любила молока, но теперь вдруг захотела его пить, чтобы показать, что все деревенское ей нравится. Она говорила:

— Я верю только в деревню. Городские жители ничего не могут устроить.

Кратный отвечал ей:

— Голубушка, я тоже думаю, что хозяйственный мужик прочно устроит жизнь, когда придет его очередь стать у власти. Только вот вопрос: скоро ли придет для него эта очередь?

И опять закипал нудный интеллигентский спор. Козлов говорил о кооперативах.

Наконец кончили, стали расплачиваться. Пришла угрюмая девица, сказала шальные цены. Далия ожесточенно заспорила. Кратный сказал:

— Не стоит спорить, Далия. Знаешь, теперь все дорого.

Балиновы и Кратные заплатили поровну. Ульяна сказала:

— Возьмите и нашу долю.

— Вы сегодня у нас в гостях, — отвечал Кратный.

Калерия заглянула в кувшин. Молоко было не допито. Мальчишки не захотели больше пить, и мать смотрела на них злобно. Шипела:

— Напрасно брали. Скверное молоко, жидкое.

И вдруг вспомнила, что где-то на свете есть книги и высокие идеи и что о копейках не стоит так много думать. Но, отвечая своим мыслям, сказала злобно, словно нарочно принижая строй своей мысли:

— Нам даром никто ни копейки не дает. Все на войне наживаются, только писателям никто не прибавит.

— Кто наживается, Далия? — спросил Кратный. — Не дай Бог на войне наживаться!

Гука сказал:

— Понесем молоко с собою.

— Кувшина не дадут, — сказала Калерия, — а платить за него не стоит.

— Ну так разольем его, — закричал Мика, — пусть никому не достается.

— Мальчишки, как вам не стыдно! — сказала Далия.

Но остальные все, в большой досаде, поддержали мальчишек. Да и Далия не стала спорить. И молоко пролили.

Гука потащил кувшин в сторону. Поставил на землю. Поглядел по сторонам опасливо. Подошла Калерия и вылила молоко на землю деловито и упрямо.

Хозяева чайной стояли на пороге и ругались. Слова их не были слышны, но фигуры и жесты были достаточно выразительны.

Калерия приподняла кувшин и бросила его на землю.

Угрюмая девица, громко ругаясь, подбежала.

— Кувшин зачем бьете? Хозяева ругаются. Деньги плачены.

— Цел ваш кувшин, — флегматично отвечала Калерия.

— Молоко что разлили?

— Деньги заплачены.

— Чего ж озорничать!

Но уже ее не слушали и шли по лесной дорожке.

— Ну вот, чайку напились, над Волгою посидели, — говорил Козлов.

Возвращаясь, перессорились из-за того, садиться ли здесь в лодку или идти к дому по этой стороне. Лодка осталась на этой стороне только одна, — другому лодочнику надоело ждать, и он переехал к пароходной пристани.

Балиновы и Верочка сели в лодку. Ульяна и ее муж хотели было сесть вместе с ними, — им здесь было ближе к дому, — но Далия так решительно сказала:

— Пойдемте лучше с нами, все равно всем не поместиться, а там мы своего перевозчика покличем, — что Козловы остались.

Пошли пешком до того места, откуда можно будет крикнуть перевозчику около дачи Кратных. Шли через дачный парк, где было успокоенно и тихо и только один раз пробежали мимо две девочки, нарядные и веселые, как серафимы из фаланстерии Фурье. Гука и Мика осторожно посторонились перед ними, как перед существами особенной, нежной породы, и побежали дальше, шаля и смеясь. Далия шла рядом с Козловым и почему-то жаловалась ему на соседей:

— Как опускаются интеллигентные люди! — тоскливо говорила она. — Калерия только о своем женихе думает. Больше положительно ничем она не может интересоваться.

Козлов думал, что Калерия — очень хорошая и милая, но не знал, как спорить с Далиею. Ульяна рассказывала Кратному о своей родине, — далекий северный край. Кратный слушал, только изредка встав-

ляя слово. Ему казалось странным, что Ульяна увлекается своими рассказами и говорит так весело, словно все на свете благополучно и не было этих ужасных поражений русского войска. Душа его была упоена тоскою, небо казалось ему пустым, и солнце катилось, как раскаленный и бессмысленный медный шар.

Вечером дома Кратный думал о сегодняшних разговорах. Всеобщее безволие заражало его. Он уныло думал: «Конечно, не справиться нам с германцами».

А в это самое время учитель Козлов говорит наставительно своей жене Ульяне:

— Профессор Кратный правду говорит насчет России. Он — ученый человек и, кроме того, умный человек. Если мы все возьмемся за ум, то германцу против нас не устоять.

На другой день сыновья Кратного отправились в город. Как всегда, встали очень рано, когда еще большие спали. Раннее утро было росистое и душистое. Мальчишки для города надели новенькие синие рубашки, длинные галстуки, нарядные шапочки; штаны у них были короткие, до колен, а обуви они не надели, побежали, как всегда, босиком.

Оба мальчика все семь верст прошли пешком. У села Зеленые Горки встретили отца Леонида с сыном-студентом и дьячка, которые шли на церковную землю. Отец Леонид с сыном прошли вперед. Мальчишки разговорились с угрюмым дьячком. Дьячок жаловался на судьбу, на бедность, на большую семью, на священника.

— Вот возьму да и повешусь. Назло ему повешусь.

Мальчишки с жутким любопытством расспрашивали его и ничего не понимали. Третья копейка, четвертая копейка, обиды, — но не смели спросить.

— Ведь это грешно — повеситься, — говорил Мика.

— А ему не грешно! Нарочно перед его окном повешусь.

И вдруг метнулся в сторону, завидев что-то в траве.

— Отец Леонид! — кричал он. — Ведь этакий человек! Рясу распахивает, карманы дырявые, непременно что-нибудь потеряет. Изволите видеть, кошелек обронил.

Отец Леонид был уже далеко, не слышал. Дьячок затрусил за ним. Гука сказал:

— Я живее добегу.

Выхватил кошелек из дьячковых рук и побежал. За ним помчался и Мика.

По дороге купались в Волге. В городе зашли во все лавки. Купили что надо, навьючились десятком пакетов, на пароход не успели и опять пошли пешком.

На обратном пути отдыхали на погосте села Зеленые Горки. Погост был небольшой, светлый, уютный. Могилы — холмики с простыми деревянными крестами — тесно жались одна к другой, а у самой церкви было несколько могил с каменными плитами.

— А ночью сюда не пойдешь? — спросил Гука.

— Есть охота. Да я не боюсь, — отвечал Мика.

— Ульяну сюда привести, — сказал Гука и засмеялся.

— Думаешь, струсит?

— А кто ее знает.

К завтраку прибежали домой, к половине второго.

После завтрака пришла Рашка. Принесла газеты. Гука дразнил ее:

— Рашка, слышала? Набор девок будет.

Рашка поверила. Но не испугалась.

— Что ж, я пойду, — говорила она, широко ухмыляясь.

— А твои открытки? Коллекция? — спрашивал Мика.

Рашка покраснела.

— Какая такая коллекция? — задорно спросила она. — Никакой у меня нет коллекции.

— Правда, Рашка, ты все открытки наши себе берешь, которые с картинками? — спросила и Верочка.

Рашка смеялась.

— Нужны мне очень ваши картинки.

Но поторопилась уйти.

А Верочка принялась по обыкновению ссориться с Володею Балиновым. И не понять было, из-за чего.

Отец Леонид посмеивался и мирил их. Они говорили о религии, как бы под влиянием его присутствия. Но он сказал:

— Теперь надо заниматься не религиею, а общественными вопросами.

И это поразило их:

— Батюшка, как же это вы так!

— Да уж я такой. Я всегда правду говорю. За то меня и архиерей не любит. Вечером пойдете к Козловским?

— Мы в ссоре.

— Пустяки! Помиритесь. Хорошие люди не должны ссориться друг с другом.

Кратный угощал отца Леонида тминною наливкою.

— Вы — хозяин хороший, — говорил священник.

Посмеивался, с видимым удовольствием пил рюмку за рюмкой и становился все милее и добродушнее.

— Уж такие гостеприимные хозяева, — говорил он.

Ни Кратный, ни Далия никогда хорошими хозяевами не были, и эта тминная наливка, бутылка в руках Кратного, казалась ему ненужною и чужою. И в душе был горький осадок от всей этой ненужности роковой и противоречивой жизни.

Вечерело, становилось темно. За Волгою видны были взлетающие ракеты, — у Козловских были именины. За скатами полей всходил багровый месяц. Блеснула золотая зарница. Облака были похожи на синий дым.

— Что вам с ними ссориться! — говорил отец Леонид. — Иван Петрович в городе, Марья Павловна одна с Алексеем Иванычем. Им скучно. Право, помирились бы! Что там старое помнить.

Кратные давно были знакомы с Козловскими. Мать очень молодая. Сын кончал университет. Занимался филологиею. Отец в Петрограде, приезжал два раза в лето на несколько дней. Служил в каком-то министерстве.

Кратные были с Козловскими в ссоре. Началось зимой, поспорили из-за войны. Весной помирились, летом опять поссорились. На этот

раз из-за каких-то пустяков. Козловская находила неприличным поведение одной их общей знакомой. Далия заступилась за свою подругу, — и ссора вспыхнула. Теперь Далия с возмущением рассказывала о том, какие злые и мелочные люди Козловские.

— Сидят в своем углу, на всех шипят.

И то, что она говорила о Козловских, совсем не соответствовало тому представлению о них, которое сложилось у Кратного. Кратный слабо дивился в душе, но не спорил. Отец Леонид говорил:

— Это — недоразумение. Они вас любят и уважают.

— Они никого не любят, обо всех дурно говорят, — спорила Далия.

— Вот уж это вы напрасно, — возражал отец Леонид, — они все о вас очень хорошо говорят. Неправды сказать не могу, иерейская совесть не позволит, уж вы мне поверьте.

— Это они от хитрости, — спорила Далия, — чтобы показать, что вот они какие добрые.

А сама радовалась тому, что Козловские говорят о ней хорошо.

К вечеру, кончив работу в больнице, пришла фельдшерица Ульяна Ивановна с мужем. И, как всегда, было странно, что она — бойкая, скорая и большая, а он — маленький, щуплый, в очках. И они заговорили о том же:

— А мы к Козловским. Они нас звали. Айда-те вместе. То-то они рады будут!

Видно было, что и она, и ее муж очень польщены приглашением Козловских. И сразу можно было догадаться, что им поручено непременно уговорить и привести с собою Кратных.

Верочка вдруг ярко покраснела. Ей вспомнилось многое милое. Вспомнилась сладкая весенняя тоска, белая ночь, Нева, прогулка с молодым Козловским. Так живо вспомнились его веселые глаза, которые умели становиться такими глубокими и задумчивыми. Захотелось опять увидеть его.

— Я пойду, — сказала она решительно.

Далия сказала с кислою улыбкою:

— Как ты хочешь. Пожалуй, и я с тобою.

Ульяна радовалась очень откровенно:

— Ну вот, уговорила.

Стали собираться. Верочка очень волновалась. Володя Балинов злился. Он знал, почему Верочка хочет возобновить встречи с Николаем Козловским.

Верочка, словно не замечая его досады, сказала:

— Вы, Володя, конечно, с нами?

Володя досадливо сказал:

— Вы с Николаем Козловским хотите устроить прогулку с ведрами? Так надо подождать хоть до завтра.

— Фу, как это глупо! — закричала Верочка. — Пятиэтажная глупость! Больше того, — небоскреб глупости!

— Что за прогулка с ведрами? — спросила Далия.

Ульяна засмеялась и сказала:

— Это Володя намекает на то, как мы со Степаном венчались. Я вам разве не рассказывала?

— Нет, — сказала Далия, — расскажите.

— Мы не хотели, чтобы кто-нибудь знал, что мы хотим повенчаться. Кому какое дело, вот еще! Разве у нас много денег, чтобы свадьбы пировать? Ну вот, мы сговорились с отцом Леонидом, пошли в церковь просто, в чем были. Даже я взяла ведра, будто за водою. А Степан взял у меня одно ведро, будто хочет мне помочь. Ведра около церкви оставили, зашли туда, а отец Леонид уж нас ждал там. И повенчались. А потом домой вернулись с ведром, словно за водой ходили. Докторша спрашивает: «Вы, говорит, нынче вдвоем за водой ходили»? А я ей: «Мы всегда будем вдвоем ходить, потому что мы повенчались». — «Когда повенчались?» — говорит. «Да вот, говорю, только что из церкви». Так она как стояла на своем крылечке, так и села на ступеньки: «Ну и шуткари, — говорит, — вот это, — говорит, — я понимаю».

Все смеялись, Ульяна раньше и громче всех.

— Ну что же, пора идти, — сказала она. — Нас там ждут давно.

— Пошел бы и я с вами, — говорил отец Леонид, — потанцевал бы. Да ряса мешает. Не люблю я потому к светским на вечера хо-

дить. Сидишь долгогривою чучелою, и все кажется, что ты всех стесняешь.

Торопливо собрались, и все ушли. Прислуга жила в отдельной кухне. Дом заперли на замок. Старик сторож обошел весь дом, притворяя деревянные ставни.

Когда уже совсем стали уходить, Далия заколебалась. Говорила:

— Шляются всякие, покрадут. Парк не огорожен. Сторож — глухой старик. Ставни — одна видимость.

Мальчишки успокаивали:

— Мама, чего ты боишься! Везде кругом соседи.

Им хотелось идти поскорее.

Шли и всю дорогу говорили о кражах. У Филимоновых, у Анисимовых. Узкая тропинка то бежала в лесу, то выводила на полянки. Овраги попадались по пути. Ветер веял в лицо, теплый и грустный.

Верочке хотелось бы, чтобы у Козловских никого не было. Но когда подходили к их даче, слышны стали голоса, музыка, смех. Кто-то запел.

— Да у них бал, — разочарованно сказала Верочка.

И вдруг ей стало весело.

У ворот толпились любопытные соседи из деревни. Смеялись, завидуя и злясь.

Гости и хозяева были в саду. Висели фонарики.

Николай обрадовался Верочке.

Его сестра, Магдалинка, почему-то была невесела.

Шумное веселье гостей казалось преувеличенным.

Козловская-мать играла на пианино. Молодежь танцевала.

И вдруг развеселая песня. Озорничая, парни шли мимо. Камни полетели через ограду. Снаружи послышался визг, смех, ругань. В саду барышни бросились бежать в дом. Молодые люди побежали за калитку. Козловская удерживала их.

— Не троньте, сами пройдут.

И в самом деле, парни прошли. Опять стало весело. Кратному было странно, что этот случай так быстро забылся и никого особенно не взволновал.

— Мы — люди интеллигентные, — говорила Козловская, словно отвечая на его мысли.

Она торопливо курила тонкую папиросу. Ее глаза слегка щурились, и на лице было усталое выражение.

— Ах, — говорила она, — удивляться и сердиться на каждый пустяк не стоит. Люди еще не привыкли к жизни новой и уже отошли от старой. Нам всем неловко и нелегко, и еще долго так будет.

Поднялись на верхний балкон. Там пили чай. Прозрачный полусумрак располагал к мечтам. А люди шумно спорили.

По Волге медленно двигались огни пароходов. В ночной темноте это было очень красиво. Так медленно продвигались. Кратный сказал:

— Пока еще русские пароходы ползут по этой пока еще русской реке.

— А потом? — спросила Козловская.

— Потом? Поселятся здесь немецкие мужики, честные и трудолюбивые, и будет звучать немецкая речь и в славном городе Москау, и в славном городе Ней-гард-ам-Волга.

— Как вы невесело шутите! — тихо сказала Козловская.

Возвращались поздно ночью в темноте, слушая тревожное плесканье волн. Николай провожал до пароходной пристани.

Верочка и Николай шли рядом. Долго не видались. А теперь стало так сладко. Николай сказал:

— Верочка, мне надо вам сказать кое-что.

И он рассказал ей, что уходит в армию. Добровольцем. Верочка вспыхнула. Заспорили, поссорились, помирились, — ах, много ли надо времени!

— Верочка, поймите, я иначе не могу. Разве можно думать только о себе в такое время?

Кое-как помирились. И уже Верочка говорила отцу:

— Папа, я пойду в сестры милосердия.

Кратному стало грустно. К общей посредственности его детей присоединится еще и это стремление пойти туда, куда все идут, поступить по общеодобренному образцу.

Он прислушивался к их разговору и знал, что настроения их бодры. Во что бы то ни стало жить, — вот что они знают и умеют. И знают, для чего жить.

И даже притомившиеся и дремливо шагавшие мальчишки двигались, однако, с привычною, бессознательною уверенностью господ и повелителей жизни.

Уныние все сильнее охватывало Кратного.

Он тревожно прислушивался к их разговору.

Их знание было ему недоступно. Но он чувствовал, что все его страхи им не страшны.

Верочка — бесхитростный ребенок с неомраченною душою. Откуда же это знание и эта уверенность?

Он вслушивался в их разговор, и ему очень хотелось подойти к ним. Ему показалось вдруг, что в его уме слагаются настоящие, верные слова. Он нагнал Верочку и Николая, пошел рядом с нею, сжал ее руку и начал:

— Милые мои, дорогие!

И вдруг смутился. Но, заглянув в свою душу, он все-таки захотел сказать последнюю правду. И сказал:

— Все это уже не для нас, все это привычное и милое.

— А для кого же? — спросил Николай.

Верочка со страхом посмотрела на отца. Он говорил:

— Надо строить жизнь, новую, молодую, крепкую. А вы знаете, для строения надо расчистить место. Разрушить и уже потом строить.

— Мы этого не боимся, — спокойно сказал Николай.

В тишине, влажной и чуткой, его голос звучал свежо и значительно. Кратный ласково улыбнулся.

— Знаю. Вы, вновь вступающие в жизнь, все это устроите.

— Да, устроим, — гордо сказал Николай.

Кратный говорил:

— Может быть, и России не будет, — но что же нам печалиться? Эти ясные звезды, и эта река, и весь русский пейзаж останутся. И соловей весною. И сладкая девичья любовь. Все вечное, все заветное.

И наш великий, славный, могучий, прямой, ясный и яркий язык. Может быть, на этих берегах будет звучать немецкая речь, — но наречие наше, на котором написаны такие прекрасные книги и будут написаны еще другие, не менее прекрасные, это наречие не забудется. Как изучают теперь языки латинский и греческий, так школьники будут изучать русский язык, и молодые ученые будут вникать в его гибкие красоты. И пока живет человечество, не забудется наш язык.

Николай слушал его с удивлением.

— Папочка! Что ты говоришь! — горестно воскликнула Верочка.

Далия засмеялась.

— Очередной парадокс! — сказала она.

Ее голос прозвучал более резко, чем бы она хотела.

— Почему вы говорите, что России не будет? — спросил Николай.

— Нет у нас воли к власти, к государствованию, — говорил Кратный. — И нет воли к войне, к победе.

— С такими порядками и не может быть победы.

— Порядки порядками, но люди... Вот рядом с Россиею — Германия. Рядом с нами живет народ честный и трудолюбивый, живут люди, которые знают, чего хотят, и знают, как достигать своих целей. Что мы можем поставить против их? Миллионы слабых воль, зевот и потягот? И что порядки! Разве такое большое множество людей может быть угнетено малым числом притеснителей?

— Ну, механика сложная, — возразил Николай.

Переправились. Простились с Николаем. Он сел в лодку и поехал на ту сторону. Тьма проглатывала плеск его весел.

Кратные шли домой.

Плотовщики встретились. Три полупьяные, озорные парня. Что-то несли в узле. Их наглый смех, казалось, будил ночной трепет осинок.

— Пойдем скорее, — испуганно шептала Далия.

Когда подходили к дому, Гука и Мика побежали вперед. Скоро из темноты послышались их испуганные крики.

— Воры были, — кричал Гука.

— Ставня сорвана, — кричал Мика.

Возбуждение, почти радостное, было в их голосах. Приключение почти радовало мальчишек.

— Я говорила, я говорила, — сердито повторяла Далия, точно упрекая кого-то, и ее серые глаза потемнели.

И, как всегда, Кратный, сбитый с толку ее сердитым голосом, почувствовал себя в первую минуту неловко, словно он был виноват в чем-то.

Поспешно вошли в дом. Зажгли свечи. Обежали все комнаты.

Воры, видно, пробыли недолго. Унесли со стола ярко-желтую, кустарную скатерть и самовар, кое-что из одежды Кратного.

Мальчишки выскочили в сад.

— Куда вы? — окликнула Далия.

— Догнать их, — возбужденно и радостно кричали мальчишки. — Они далеко не успели уйти.

Но Далия удержала мальчишек.

— Нельзя, — говорила она. — Их здесь все боятся. Совсем дикие люди. Они во всех домах воруют, и никто не смеет их удерживать.

— А мы удержим, — сказал было Гука.

Но пришлось остаться, — уж очень настойчиво закричала Далия:

— И думать не смейте. Сейчас же идите в дом.

— Но где же Паша? — спросила Верочка. — Не убили ли ее?

Мальчишки побежали за Пашею. Скоро она пришла, заспанная и тупая, зевая и морщась. Она, конечно, ничего не слышала.

Долго продолжались взволнованные разговоры.

Всю ночь не спали. Мальчишки побежали за урядником. Было свежо и росисто, трава была мокрая и веселая. Мальчишки сняли башмаки и чулки и оставили их на скамье под окнами маленькой дачи. Кратный, Далия и Верочка легли спать.

К уряднику трудно было достучаться, трудно было его разбудить. Наконец, мальчишки растолковали ему, в чем дело.

— Сейчас приду, — сказал урядник.

Но по его сонному и равнодушному лицу было видно, что это «сейчас» растянется надолго. Мальчишки пробовали торопить его. Он угрюмо сказал:

— Я не собака. Дайте чаю напиться.

Только что успели заснуть — пожар. Мальчишки, видя, что урядника не дождаться, побежали домой. Из-за деревьев увидели они дым и бледное на безмятежно-синем утреннем небе пламя. Мальчишки побежали быстрее, и скоро было видно, что это горит кухня при их даче.

Верочка, Кратный и Далия вытаскивали что-то из дому. Паша стояла и выла. Изба горела, как костер, весело и прямо подымая над собою золото огня и тяжелые клочья черного и белого дыма.

Прибежали Балиновы. Соседи. Дача начала дымиться. Гука спросил у отца:

— Где твоя рукопись?

— Бог с нею, — сказал Кратный.

Мальчишки бросились спасать рукопись. Выбежали, когда уже крыша горела.

Дача сгорела. Мужики пришли поздно. Стояли, почесываясь и пересмеиваясь. Когда уже дача догорала, приехала пожарная вольная дружина с фабрики.

Очевидно было, что кто-то поджег.

Приютились пока у Балиновых. Кратный говорил тихо:

— Между прочим, сгорела моя книга. Пора уезжать.

— Как же с книгою?

Кратный пожал плечами и сказал почти спокойно:

— Придется писать заново. Но теперь все же меньше работы. Все уже обдумано. Года полтора понадобится.

Верочка смотрела на отца с удивлением.

— Папочка, — сказала она, — да ведь мальчишки всю твою рукопись вытащили. Она цела, — разве ты не помнишь?

Кратный провел рукою по лбу.

— Странно, что я это забыл, — сказал он. — У меня голова очень болит.

И вдруг ему как-то странно стало весело. Обыкновенность его детей явилась ему в совсем новом освещении. Он думал: «Я забыл об этом, потому что мальчишки сделали это совсем просто, как дело

очень обыкновенное. И Верочка напомнила мне это без всякого особенного подчеркивания. Простая фактическая поправка. Даже не сказала «спасли». Просто «вытащили». Что ж, пожалуй, эти совсем обыкновенные мальчишки, когда подрастут, смогут всякое дело сделать как простое и обыкновенное. Умрет, может быть, романтизм громких подвигов, поблекнут торжественные лозунги, но зато будет строиться совсем иная, не наша, простая, прочная, по-своему счастливая жизнь. Если доживем, посмотрим».

Но теперь все же было здесь жутко, неуютно, чуждо. Ульяна пришла днем и говорила, что в Кобылках можно дешево нанять избу на остаток лета. Но Далия не хотела оставаться.

— Скорее, скорее в город.

Наскоро укладывали то, что осталось от пожара. И все эти дни были как во сне. Балиновы тоже заторопились уезжать. Наталья Степановна говорила:

— Я без вас здесь ни за что не останусь.

Уезжали в один день, рано утром, ехали на дачном пароходике до города, чтобы там сесть в поезд.

Бледный фабричный, обсыпанный фарфоровою мукою, стоял зачем-то на пристани и говорил сурово:

— Дачнички налегке.

Прибежала Рашка. Она оживленно говорила с детьми, набравшимися на берег со всех окрестных изб, и злорадно смеялась:

— Скатертью дорога.

Но когда дачники подходили ближе, она делала приветливое лицо и говорила:

— Пожили бы еще немного. Погода больно хороша.

— Да и ты хороша, Рашка, — отвечал Гука.

Рашка смотрела на него исподлобья, не зная, смеется он, говорит ли правду. Немного сбитая с толку и от застенчивости наглая, она опять принималась смеяться.

Ей было радостно, что можно будет развесить дома по стенкам все открыточки с видами Волги и чужедальних городов, — никто чужой

теперь не увидит, не станет отнимать. А гости будут ей завидовать. За это лето открыток у нее набралось так много, что она обещала поделиться ими с подругами.

— Пусть только они уедут, — шептала она, сверкая зверино-белыми зубами.

И подружки, трепаные, веселые девчонки, смотрели на нее жадными, заискивающими глазами и льстили ей.

Когда уехали дачники, пришли фабричные и деревенские ребятишки и принялись хозяйничать как умели.

Все здесь было для них чужое, им не жаль было обламывать яблони и кусты шиповника. Вокруг дач росли горы мусора.

А в городе у Кратных начались по-прошлогоднему городские разговоры и толки, суета и смятение. Мелькание бесед и дел, быть может и нужных, — кто это оценит? И день за днем, и все сочтенные дни до предела, нам и теперь все еще не совсем ясного.

Колебание стен

— Наш дом — потрясучий, — говорил Никодим Борисович Сковородищин, — мимо телега едет, а он весь трясется.

Сковородищин сидел в гостях у полковника Лакиновича и кутал в плед зябкие плечи. Он был человек маленький и хрупкий и служил в одном тихом месте. Хотели взять его в солдаты, да в лазарете отлежался.

Все гости полковника Лакиновича и сам Лакинович (математик), и его жена, и его шесть дочерей (три в очках, три в пенсне), — все были очень милые, слушали Сковородищина с сочувствием и очень любили и жалели его и его жену, Евгению Тарасовну, — она сидела здесь же, улыбалась снисходительно и смотрела на мужа, как большая на маленького. А была она такая же маленькая и хрупкая, как муж. Только она была красивая, и брови у нее лежали крутыми дужками, а Сковородищин красотою не хвастался, и брови у него давно уже атрофировались.

Сковородищин рассказывал:

— Мы с Евгенией Тарасовной уж стали бояться, что разрушится наш дом и задавит нас как есть начисто. Архитектор приходил, ничего, такой из себя солидный. Говорит: непосредственной опасности нет, ничего, не сомневайтесь, некоторое время еще постоит. Я его спрашиваю: сколь долго это некоторое время продлиться может? Этого, говорит, знать никак невозможно. С тем и ушел, мне, говорит, некогда. А сам, видим, торопится. Так мы и живем: дом дрожит, и мы дрожим.

Шесть дочерей Лакиновича (три в очках, учительницы, и три в пенсне, курсистки) ахали и ужасались. Учитель словесности, недавно потерявши место в казенной гимназии за то, что его ученики знали больше, чем положено по программе, переводил слова Сковородищина на французский язык для своей жены, француженки. Француженка понимала русскую речь Сковородищина так же хорошо (она жила в России шесть лет и сама делала покупки), как и французскую речь мужа (он прожил в Париже шесть недель и никуда шага не ступил без Анриетты), но на всякий случай приветливо улыбалась.

Евгения Тарасовна сказала, ласково глядя на мужа:

— Вы, Никодим Борисович, преувеличиваете. Если бы опасность была, были бы трещины.

— Верно, Евгения Тарасовна, — соглашался Сковородищин, — только тем и утешаюсь, что пока еще нет трещин. Зато кошмары у меня каждую ночь.

— Да и наяву не лучше кошмара, — говорила Евгения Тарасовна — у нас сегодня прислуга ушла.

— Это — ваша Ольга Дмитриевна? — спросила хозяйка. — Да она же такая солидная была.

— Получила подарки, на чай от наших гостей, деньжонки набрались, ну, ей и захотелось отдохнуть, — объясняла Евгения Тарасовна. — Очень хорошая была, такая честная. Новую не знаем где найти, из конторы брать не хочу, да и по объявлениям боюсь, — нападешь, не дай Бог, на воровку.

И все сочувствовали трудному положению Сковородищиных. Поэтому главною темою разговоров в тот вечер были неудобства и затруднения современной жизни, дороговизна, прислуга, хвосты.

Приехали Сковородищины домой, с Выборгской стороны на Васильевский остров, на последнем трамвае. Швейцар ворчал, Евгения Тарасовна на это обижалась, Сковородищин горбился, кутаясь в старенькую шубу. Все унимал шепотом Евгению Тарасовну:

— Вы ему ничего не говорите, Евгения Тарасовна. Он — хороший, только ему спать хочется, а мы его разбудили.

Поднялись в шестой этаж на лифте и тут только хватились ключа. Ключ французский, дверь захлопнулась сама, когда уходили, а теперь как попасть? Прислуга ушла, дверь за нею закрыли на ключ и на крюк, ключ оставили в кухне на столе. В квартире никого.

Напрасно Сковородищин шарил по всем карманам, напрасно перебирал он бумажонки, напиханные во все отделения кошелька, — ключа не было. И вдруг на лестнице стало темно, — кабинка лифта опустилась вниз, и швейцар, сообразив, что успели войти, выключил ток. В это время где-то проехал, гудя, автомобиль, и дом испуганно задрожал.

Евгения Тарасовна жаловалась слезливым голоском:

— Вот вы так всегда, Никодим Борисович. Я-то и на лестнице могу проспать, а вот вы с вашим желудком, — что вы станете делать?

Но Сковородищин пришел в ужас при мысли, что Евгения Тарасовна ляжет спать на лестничной площадке. Он в ужасе зашептал, горбясь и глядя в темноту бесполезно-расширенными глазами:

— Что вы, что вы, Евгения Тарасовна! Нет, уж мы как-нибудь попадем.

И он принялся отчаянно нажимать пуговку электрического звонка. Слышно стало, как заливается за дверью колокольчик. Евгения Тарасовна тронула его за рукав и зашептала:

— Что вы делаете, Никодим Борисович? Ведь там же никого нет! Только электричество зря изводите.

Сковородищин перестал звонить и сказал смиренно и робко:

— Голова кругом пошла! Евгения Тарасовна, вы здесь посидите на ступеньке, я пойду к дворнику, у него должен быть другой ключ с черного хода, я войду и вам открою.

— Дворник не станет вам ночью ключ искать, — отвечала Евгения Тарасовна. — Только наговорит вам всяких неприятностей.

По тому, что голос звучал немного снизу, Сковородищин догадался, что Евгения Тарасовна уже села на ступеньку. Это несколько приободрило его. Он сказал:

— Ничего, Евгения Тарасовна, уж я как-нибудь попрошу. Может быть, и найдет.

Послышались мелкие шаги его, сбегавшие вниз. Евгения Тарасовна прислонилась к стене и прислушивалась. Одна лестница, площадка, другая лестница, площадка, третья... Вдруг приостановился. Что это? Никак назад возвращается?

И вот слышен его встревоженный шепот:

— Евгения Тарасовна, не остался ли ключ в вашей сумочке?

— Что вы, Никодим Борисович! — отвечает укоризненно Евгения Тарасовна. — Я вам отдала его, как только пришла. Вот вы всегда так, — сами куда-нибудь засунете, а потом с меня спрашиваете.

Сковородищин вздыхает и идет вниз, а Евгения Тарасовна сидит, чувствует порою, как в плече отдается легонькое колебание стены, и прислушивается к нисходящим шагам. И слышит, — четыре лестницы прошел Никодим Борисович, на четвертой площадке постоял, вверх пошел. Ждет Евгения Тарасовна, — что еще?

— Евгения Тарасовна, — шепчет Сковородищин, — дверь в кухне мы с вами на крюк заложили. Не попасть туда снаружи, и дворника беспокоить нечего, — он рассердится, а мы все равно не попадем.

— Что же нам делать? — спрашивает Евгения Тарасовна.

В темноте ничего не видно, но Сковородищин представляет ясно, как Евгения Тарасовна сидит на ступеньке, маленькая, худенькая, жмется к вздрагивающей стенке, собирается плакать. Тоскливо Сковородищину, он не знает, что делать и как ему попасть в свою квартиру.

— Евгения Тарасовна, — шепчет он, — я пойду поищу слесаря, пусть замок взломает.

— Не пойдет ночью слесарь, — отвечает Евгения Тарасовна.

И сам Сковородищин знает, что ночью не найти слесаря. Что же делать? Отчаянные мысли шевелятся в его голове. Он думает, что стена может обрушиться, и тогда они как-нибудь пролезут в квартиру. А вдруг их задавит! Ну что же, один конец. Но ему жаль Евгению Тарасовну, и он ищет другого выхода.

— Евгения Тарасовна, — шепчет он, — поедемте к Лакиновичу.

— Зачем? — безнадежным голосом спрашивает Евгения Тарасовна.

— Вы там переночуете на диване в гостиной, а я похожу по улицам, — шепчет Сковородищин.

Слышно в темноте, как Евгения Тарасовна тихонько смеется хрупким смехом, словно всхлипывает. И потом она говорит, — и в голосе ее не то смех, не то слезы, не то просто простуда:

— Что вы, Никодим Борисович, вам с вашим желудком беречься надобно. Да и как мы доедем? Трамвая нет, извозчика не достать, извозчик три рубля возьмет.

— Все равно, и три рубля дадим, — отчаянно говорит Сковородищин, махая рукою. — Спросит четыре — и четыре дадим, ничего не сделаешь. А я пойду к Рвищеву, у него переночую.

Живет Лакинович на Выборгской, а Рвищев у Калинкина моста. Далеко, не согласна так Евгения Тарасовна. Как же быть?

Думали, думали, надумали идти к генералу Дороганову. С генералом мало знакомы, но он человек добрый, пустит, а живет он близко, в этом же доме, только подъезд у генерала с улицы. Жаль, конечно, что уж не случилось так, чтобы генерал жил тут же, на этой же лестнице, — опять придется беспокоить и швейцара, и дворника. Да ведь что ж делать!

Евгения Тарасовна шепчет:

— Никодим Борисович, вы дайте им на чай по полтиннику, а генеральскому — рубль.

А уж у Сковородищина деньги тут, приготовлены. Всегда носит мелочь в скрытых кармашках шубы и пиджака и знает, откуда что вынимать.

Ну, на ночь кое-как устроились. Генерал уж спал, — военная косточка, рано встает, рано ложится, и генеральша спала, да генералова дочка, Вера Аркадьевна, еще не спала, дневник дописывала; она и устроила Сковородищиных, — в родителей, добрая девица. И умная, и веселая.

Постлали Сковородищиным в столовой, ему на тахте, а ей на диване. На новом месте не спалось Сковородищину. Ночью не спалось от дум, а под утро стали мимо проноситься трамваи, грузовики, телеги, — гул на улице сквозь окна слышен, и колебание стен пугает.

Евгения Тарасовна, слыша, что Сковородищин лежит тихо и дыхания не слышно, время от времени спрашивала тихонько:

— Никодим Борисович, вы не спите?

— Нет, Евгения Тарасовна, — отвечал он, — не сплю. Все думаю.

— Что же вы думаете, Никодим Борисович?

— Думаю, как нам попасть в квартиру. Придется дверь ломать, иначе ничего не поделаешь.

— Да вы не думайте, Никодим Борисович, — шептала Евгения Тарасовна. — Спите с Богом. Как-нибудь обойдется.

— Да как обойдется-то, Евгения Тарасовна?

— В крайнем случае, Никодим Борисович, поедемте к маменьке в Полтаву.

— Нельзя без паспорта, Евгения Тарасовна, а паспорт в квартире. Всегда с собой ношу, а сегодня топил печку, нагнулся, он у меня из кармана выпал, я его положил в письменный стол да и забыл.

Евгения Тарасовна вздыхала и говорила:

— Перебудим мы всех своими разговорами. Спите себе, Никодим Борисович.

Утром встали рано, раньше хозяев, хотели уйти потихоньку, не беспокоить. Да горничная Серафима, добрая душа, без чаю не отпустила. Пока чай пили, барышня встала, пришла. Молоденькая, смеется.

Им горе, а ей смешно, веселая девица, быстроглазая, рыженькая, на лисичку похожа. Смеется и говорит:

— А ключ-то не с вами ли?

А Сковородищин и сам так думал. Ночью, перебирая все обстоятельства, он вспомнил, что вчера ключ, наверное, остался у Евгении Тарасовны. Вчера был праздник, третий день Рождества. Сковородищин на службу не ходил, сидел дома, лечился да разбирал свои гравюры, — любитель был, ходил по старьевщикам, выбирал, покупал, собрал большую коллекцию. Евгения Тарасовна ходила к знакомым спросить насчет прислуги, пришла перед обедом, сама дверь открыла, ключа ему не отдавала, не мог вспомнить Сковородищин, чтобы она отдала ему ключ. А потом не до того было, — прислуга Ольга Дмитриевна, солидная женщина, хорошая, подавши обед, ушла и посуды не прибрала, не помыла: на поезд торопилась, не опоздать бы, лучше раньше на вокзал приехать. Самим пришлось все это делать, — мыть, прибирать.

Стал хитрить Сковородищин, говорит:

— Евгения Тарасовна, что-то мне припоминается, перед тем как идти к Лакиновичам, будто я ключ в ваш кошелек положил, в сумочку. Сам не знаю, с чего это мне вздумалось. Думаю, — у меня в карманах всякой ерунды да чепухи насовано, а у Евгении Тарасовны все в порядке, вернее будет.

— Что же вы раньше не сказали, Никодим Борисович! — упрекнула его Евгения Тарасовна. — Ну, посмотрим.

Так и вышло, — ключ в сумочке, в кошельке. Вера Аркадьевна, генералова дочка, смеется. И Сковородищин рад, что ключ нашелся, а больше рад, что Евгения Тарасовна не сердится. Правда, ворчит:

— Вот вы так всегда, Никодим Борисович, сами сунете куда-нибудь, а потом с меня спрашиваете. Ну, да ведь без этого нельзя.

— Вот ведь ерунда какая вышла! — смущенно и радостно говорит Сковородищин. — Только вас побеспокоили напрасно.

— Ну вот, — отвечает Вера Аркадьевна. — Какое же беспокойство! Я очень рада, что так все хорошо кончилось.

Поблагодарили, попрощались, ушли. А вот дома опять стало неуютно и жутко. Холодно, — печи не топлены. Дров на кухне нет. Часов в одиннадцать только притащил дворник дрова, свалил в кухне на пол. Так грохнул, — вся мебель в квартире заходила и гравюры в рамочках на стенах закачались. Просто беда, — сердится, что ли, на что младший? Дал ему Сковородищин на чай полтинник, — он сунул в карман и не взглянул.

Стал Сковородищин таскать дрова в печи, печи топить, — много муки было с дровами, сырые. Напихает Сковородищин в печку для растопки бумаги, щепок, лучины, бересты, — запылает, затрещит, — ну вот, затопил. А через пять минут подошел, — погасло, начинай сначала.

Евгения Тарасовна принялась стряпать, — утром, возвращаясь от генерала, принесли кое-что.

На службу Сковородищин не пошел, по телефону отпросился. Ничего, Лев Петрович не рассердился, даже посочувствовал. Говорил:

— Хотя я без вас как без рук, ну да уж сегодня кое-как обойдусь. Иван Гаврилович вас пока заменит.

Еще бы не заменить! Иван Гаврилович не прочь и совсем заменить Сковородищина, — тоже хороший работник. Нет, дома долго засиживаться нельзя.

Труден был этот день Сковородищину. Пиджачок испачкал, сам утомился. Евгения Тарасовна тоже устала. Позавтракали в три часа чем Бог послал. Обед как варить, подумать страшно.

Сидели в кабинете Сковородищина, пригорюнившись. Вдруг раздался звонок с парадной.

— Кого Бог дает? — спросил Сковородищин.

— Кого-то черт принес, — в ту же минуту сказала Евгения Тарасовна. — Вот уж не в пору-то!

Пошел Сковородищин отворять, и через минуту услышала Евгения Тарасовна знакомый голос. Курсистка Фимочка Кочанова. Ну, на такую не рассердишься, милая девушка. Правда, очень бойкая, но добрая, и занятия свои любит, и поговорить с нею о чем хочешь мож-

но, — не сплетница, не выдаст. А если и невпопад придет, можно ей прямо сказать:

— Некогда, Фимочка, уж вы лучше другой раз придите.

Не обидится.

Так и теперь хотела повернуть Евгения Тарасовна. Очень мило встретила гостью, расцеловала ее и говорит:

— Ах, милая Фимочка, рада я вам, а только такое у нас дело, — даже чаем угостить не знаю как.

— Знаю, — сказала Фимочка, — у вас прислуга Ольга Дмитриевна ушла. Мне Вера Аркадьевна сказала. Это ничего, я вам помогу.

Развернула принесенный с собою сверточек, надела белый передничек, смеется. Сама румяная-румяная, не то с мороза, не то с молоду да с веселу. И так была милая, чернобровая, черноглазая, стройная, тонкая, а в белом передничке вдвое милее стала. Спрашивает:

— Что готовить к обеду, Евгения Тарасовна?

Как ни отнекивались Сковородищины, Фимочка все сделала, что надо было. Комнаты убрала, пыль с мебели смахнула, полы подмела, на стол накрыла, суп сварила, — из круп, французский, — рыбу на второе, на третье компот, — обед подала и кофе заварила.

И Евгения Тарасовна, и Никодим Борисович были умилены и растроганы. Ходили за Фимочкою, пытались что-то делать и только мешали. Уж она им не раз говорила, смеючись:

— Да сидите вы, ради Бога, без вас все сделаю.

После обеда все втроем сидели и пили кофе, и уж так ободрились и развеселились, что даже рассмеялись, когда от промчавшегося по улице грузовика на подносе задребезжали чашки. Фимочка спросила:

— Все хорошо?

— Уж так вам благодарны, что и сказать нельзя, — отозвалась Евгения Тарасовна.

— Уж так хорошо, точно в рай попали, — поддержал и Никодим Борисович.

— Значит, вы мною довольны? — опять спросила Фимочка.

— Да уж, Господи, да уж так довольны! — восклицал Сковородищин.

А Евгения Тарасовна от полноты чувств встала и принялась целовать Фимочку. Фимочка звонко засмеялась.

— Ну, вот и хорошо, — сказала она. — Значит, паспорт я сейчас отнесу старшему, пусть завтра пропишет, а сама, кстати, и за вещами съезжу. Через час буду опять здесь.

Оба, муж и жена, смотрели на нее с удивлением. Фимочка расхохоталась.

— Ну что ж, — сказала она, нахохотавшись, — была у вас прислуга Ольга Дмитриевна, теперь будет сотрудница Фимочка. Вы не сомневайтесь, я и все сделать успею, и на курсы найду время. Да, Боже ты мой! да чему же тут удивляться! Почему нельзя курсистке за стол и комнату быть сотрудницею в приличном семействе?

— Сотрудницею! — раздумчиво сказал Сковородищин. — Вот это хорошее слово.

— Настоящее слово, — уверенно сказала Фимочка.

Оделась и ушла. Сковородищины посмотрели друг на друга.

— Пришла девице блажная фантазия, — сказал Сковородищин, осторожно посматривая на Евгению Тарасовну. — Что мы теперь с нею будем делать?

— Никодим Борисович, она — милая, — возразила Евгения Тарасовна, — и она вошла в наше положение. Поживем — увидим. Может быть, скоро все наши Даши и Паши пойдут на фабрики да на заводы, а у нас будут сотрудницами учащиеся барышни. На фабриках хорошо платят, а барышне у плиты удобнее, чем на фабрике.

— Да, Фимочка — милая, — согласился Никодим Борисович.

Скоро Фимочка вернулась со своими вещами. Устроилась в той по коридорчику между столовою и кухнею комнате, которая носила название ледника, потому что ее, за ненадобностью, не топили. Фимочка сама вытопила печку. Ночью было ей не тепло, — сразу не натопишь, настыла очень, — но это ее хорошего настроения не испортило.

Через несколько дней Сковородищины опять были в гостях у Лакиновичей. Поехали на трамвае вместе с Фимочкой. На трамвае, известное дело, их потолкали и поругали. Двадцать два дюжих мужика сидели на скамейках, посреди вагона стояли девушки, дамы, старики. Мужик, не попавший на скамейку, держался одною рукою за лямку, другою за плечо стоявшей впереди Фимочки и при каждом толчке вагона топтал калоши Евгении Тарасовны. Она сказала:

— Вы мои ноги давите.

Он крикнул:

— А вы бы в автомобиль сели. Шляпку наденет, думает, ей все права дадены.

Другие мужики хохотали.

Сковородищин вступился было за жену, но она зашептала опасливо:

— Никодим Борисович, оставьте его. Еще он скандал поднимет.

Кое-как доехали. Лакинович (педагог, математик), его жена (с заботами о женах запасных) и его шесть дочерей (три в очках, учительницы русского языка и литературы, и три в пенсне, курсистки на историко-филологическом отделении) очень интересовались новым домашним устройством у Сковородищиных. Очень хвалили Фимочку и очень удивлялись ей. Не совсем понимали, прилично это барышне или нет. Фимочка весело смеялась.

В остальном все было совсем обыкновенно и были почти те же гости, что и тогда. Из новых был поэт в косоворотке и в поддевке. Он прочел несколько своих стихотворений. В них было много слов, совсем непонятных для русского городского жителя. Но филологички (все шесть) были в восторге.

Когда сели пить чай в уютной столовой, за столом теснились веселые гости и любезные гостьи, — господа. На столе шумел самовар, блестела красивая чайная посуда, очень аппетитно были разложены и расставлены печенья, булочки, сыр, варенье. Одна из филологичек разливала чай. Две горничные, — прислуга, — очень выдержанные, чинные, спокойные, одетые просто, чисто и прилично, блистающие белизною передников, разносили чай. У них был такой вид, точно они — рабыни, предан-

ные господам, и высшее счастье для них в том, чтобы разносить стаканы и чашки.

Господа, — хозяева, гости, гостьи, — разговаривали о своем, негодовали и радовались, хмурились и смеялись. Две горничные, — прислуга, — делали вид, что не слышат барских разговоров, и хранили на лицах выражение почтительного внимания.

Фимочка, которой было все равно, самой ли наливать себе чай или брать его из рук горничной, смеялась веселее всех.

Самосожжение зла

Этот правдивый, простодушный рассказ извлечен мною из одной старой, милой книжки, где много содержится нравоучительных и забавных историй и повестей, приключений веселых, печальных, смешных и удивительных. Показалось мне почему-то, что то происшествие, которое я собираюсь пересказать, в отдаленных подобиях прообразует душу века сего. Впрочем, длинные предисловия излишни.

Андалузский дворянин из знатной семьи, дон Родриг де Инестрос, человек заносчивый, грубый и жестокий, окончил военную службу тем, что поссорился со своим генералом и поселился в приморском городе Санлукар де Баррамеда, лежащем близ того места, где очаровательный, хотя и мутный Гвадалквивир, широко разливаясь, впадает в море. В этом городе дон Родриг женился на благородной девице отменно доброго и приятного нрава. Огорчаемая часто невниманием, грубостью и кутежами дона Родрига, донна Марианна умерла в молодых еще годах, оставив мужу двоих детей, сына и дочь, столь же несходных нравом, сколь несходны были между собою их родители. Сын, дон Хоакин, был весь в отца, и отец весьма любил его. Дочь, донна Лаура, была в мать и красотою, и тихою прелестью души. Отец ее ненавидел, был с нею жесток и наконец, чтобы все свое имение оставить любимому сыну, решил отдать юную Лауру в монастырь.

Лаура отличалась не только красотою, но и умом, и скромностью. Она хорошо пела, знала много песен и романсов и с большим искусством играла на клавикордах. За ум и скромность Лаура была почитаема в лучших городских семьях, и многие юноши и почтенные мужи почли бы за счастье назвать ее женою. Но дон Родриг упрямо отказывал всем, кто к ней сватался. Он говорил:

— Дочь моя имеет склонность к уединению. Светская жизнь ей не нравится, и Лаура уже давно просится в монастырь.

Но семнадцатилетняя Лаура о монастыре помышляла со страхом и с отвращением. Ее прирожденная скромность только увеличивала естественную в девице этого возраста чувствительность, и мечты ее, не стремясь к светским вольным обхождениям, создавали ей идиллические картины любви и счастья.

Дон Габриель Ромеро, молодой дворянин из Гренады, еще с детских лет вместе с отцом своим переселившийся в Санлукар, при первой же встрече полюбил Лауру. Он знал жестокость ее отца, но любовь всегда живет светлыми надеждами. Габриель был красив и строен, в обращении любезен и приятен. В манерах его сказывалось, что он получил отменно хорошее воспитание. Притом же от недавно умершего отца он наследовал большое состояние и был одним из богатейших людей в той местности. Все это внушало Габриелю уверенность в том, что он будет счастливее других. Но он ошибся. Дон Родриг ответил ему таким же холодным и кратким отказом.

Лаурина дуэнья, старая Мерседес, видя слезы Лаурины, вздумала было, улучив добрый миг, замолвить перед доном Родригом слово за Габриеля. Но дон Родриг сказал ей резко:

— Твоих советов, старая, никому не надо. Твое дело — смотреть за Лаурою. Отец этого мальчишки вышел в люди из землепашцев, в его доме еще слишком пахнет маслинами, а мой род древний, и я с этими людьми породниться не желаю.

Узнав о том, что дон Родриг отказал Габриелю, много плакала бедная Лаура. Жалея свою питомицу, старая Мерседес нашла случай повидать Габриеля. Она ему сказала:

— Не думайте, дон Габриель, что Лаура хочет в монастырь. То — воля ее отца. Он хочет, чтобы дон Хоакин был богат, а потому и старается устроить так, чтобы дочери не пришлось выделять приданое.

— Если Лаура любит меня, — сказал Габриель, — я женюсь на ней и без согласия ее отца.

— Дон Родриг прогневается и лишит ее наследства, — сказала Мерседес.

— А и не надо мне его богатства, — отвечал Габриель, — своего довольно.

И недолго думая написал письмо и умолил старую Мерседес передать его Лауре. Он писал: «Лаура, дерзко и безрассудно мне говорить Вам о моей любви, потому что никто в Испании и за ее пределами не может быть достойным Вас. Но если самая живая страсть и самое нежное обожание могут заслужить Ваше внимание, то я надеюсь, что Вы не пренебрежете моею к Вам страстью и моим обожанием, которые безмерны. Прежде чем писать Вам, я спрашивал дона Родрига и услышал от него, что Вы намерены идти в монастырь. Трудно мне было поверить, что таково действительно Ваше решение, и потому дерзаю спросить Вас. Если справедливо мое подозрение, что дома Вы угнетены, то позвольте мне избавить Вас от деспотической власти, тяготеющей над Вами. Не бойтесь, что отец Ваш будет гневаться. Он лишит Вас наследства, но это не должно страшить Вас. Поймите, что власть отца не беспредельна и лучше однажды нарушить долг повиновения, чем быть несчастною на всю жизнь. Ваш ответ Вы можете передать в те же руки, которые отдадут Вам это мое письмо».

Подписи не было, — Мерседес на словах сообщила, от кого письмо.

— Что же мне делать, милая Мерседес? — спрашивала Лаура, много раз прочитавши письмо. — Мне страшно и подумать о том, чтобы уйти из родительского дома самовольно.

— А в монастырь хочешь? — спросила Мерседес.

Лаура задрожала и воскликнула:

— И подумать страшно и противно! Все равно что живой в гроб лечь.

Мерседес принялась расхваливать достоинства Габриеля, его красоту, мужество, великодушие, щедрость, богатство, пышное убранство его дома. Лаура слушала ее внимательно, глаза Лаурины сверкали, и смуглые щеки ярко рдели.

— Если пропустишь этот случай избавиться от неволи, — говорила Мерседес, — то уже не избегнешь монастыря.

— Как же мне быть? — спрашивала ее взволнованная Лаура.

Мерседес отвечала:

— Надобно тебе тайно повидаться с доном Габриелем и сговориться с ним.

Долго не решалась ни на что Лаура. Наконец, понуждаемая старою Мерседес, трепеща и замирая от страха и от стыда, села она писать письмо. Ничего не говоря о своих чувствах, назначила она для свидания следующую ночь.

Надобно ли описывать, в каком восторге был Габриель, как с наступлением темноты нетерпеливо прислушивался он к бою часов на колокольне ближней церкви святого апостола Иакова? Наконец сладостный срок настал.

В самую полночь пришел Габриель под окно Лауриной комнаты, выходившее на глухой переулок. Там уже ожидала его Лаурина девушка, стоя у перекрестка, закутанная в черный платок, с цветом ночи сливающийся. В темноте едва только видны были ее черные, широкие от страха глаза да босые ноги из-под черной юбки смутно белели на крупных, плоских камнях, которыми вымощен был узкий переулок. Девушка подвела Габриеля к заветному окну, слегка стукнула в ставень и стала на страже снаружи, меж тем как Мерседес стерегла внутри дома у двери Лауриной горницы.

Трепещущая Лаура показалась в окне. Многое нашли влюбленные, что сказать друг другу. Быстро прошел час свидания, жуткий, но столь приятный для обоих, что они пожелали повторить его.

Неоднократно приходил Габриель в полночь к окну Лауриной горницы. Наконец Габриель и Лаура дали друг другу обещание соединиться браком и с тех пор считали себя соединенными навеки. Но

Лаура все никак не могла решиться на то, чтобы Габриель увез ее из родительского дома. Она еще не совсем верила тому, что отец захочет насильно отдать ее в монастырь, и надеялась упросить отца, чтобы он согласился повенчать ее с Габриелем.

Меж тем над головами беспечных влюбленных собиралась гроза.

Габриель, прежде чем познакомиться с Лаурою, имел связь с молодою девицею, Хименою Папельяс. Химена, не имея ни отца, ни матери, была свободна в своих поступках и не стеснялась пользоваться этою свободою. Она часто принимала Габриеля. Любовь к Лауре заставила Габриеля позабыть свою прежнюю любовницу. Ревность и корысть одинаково озлобляли пренебреженную Химену: она не была богата, и Габриель давал ей много денег, когда ходил к ней. Теперь же прекратились посещения, прекратились и подарки. Химена велела своей служанке выследить Габриеля.

Узнав, что Габриель имеет свидания с Лаурою, Химена поняла, что Габриель хочет жениться на Лауре: добродетели и скромность Лауры были достаточно известны, чтобы можно было подозревать мимолетную связь. Химена решилась расстроить этот брак чего бы это ей ни стоило. Случай, счастье злых, ей, казалось, благоприятствовал.

Хоакин часто посещал некую донну Мигуеллу Ордонес, дочь которой, приятельница Химены, красавица Конча, была воспитана с большою вольностью.

— Милая Конча, — сказала однажды Химена своей приятельнице, — когда у тебя будет дон Хоакин, позови меня.

Конча согласилась. Она еще не знала, что Габриель оставил Химену, и потому не опасалась ее соперничества.

И вот в ближайший день Хоакин встретился у своих приятельниц с Хименою. Было весело, вино было очень хорошее, Конча и Химена соперничали в пении песенок вольных и чувствительных. Наконец зашел разговор о том, что молодым девицам следует поскорее выходить замуж, чтобы любовная страсть не заразила их сердец.

— А ваша сестра? — спросила Химена. — Отчего же она не выходит замуж?

— Лаура собирается в монастырь, — отвечал Хоакин.

Химена засмеялась и сказала:

— А вы не думаете, что ваша сестра имеет милого и видится с ним?

— Этого не может быть, — отвечал Хоакин.

— Химена, откуда ты можешь это знать? — спросила удивленная Конча.

Она ничего не знала о замыслах Химены, и дразнить Хоакина не входило в ее расчеты.

— Вы не можете поверить, что она уже выбрала себе мужа? — продолжала Химена.

— Не думаю, чтобы это могло быть, — отвечал Хоакин, — я уверен в ее добродетели и в ее послушании. Притом же она еще слишком молода, чтобы иметь такие мысли. Если бы она была немного постарше, ее отвезли бы в монастырь, — она давно хочет постричься, только о том и мечтает.

— Вы очень ошибаетесь, — сказала Химена. — Правду говорят, что свои узнают последними. Я хочу открыть вам глаза. Знайте, если вы не поспешите выдать замуж Лауру, то она выберет себе мужа, не спросясь вас.

— Я этому не верю, — отвечал Хоакин.

— Я не хочу думать дурно о вашей сестре, — продолжала Химена, — и придавать дурной смысл ее благосклонности к дону Габриелю. Если бы ваша благородная сестра не имела намерения выйти замуж за Габриеля, она не разговаривала бы с ним каждый вечер у своего окошка.

Тут только поняла Конча, что ревность заставляет Химену говорить это. И она быстро стала на сторону подруги, лукавым смехом разжигая гнев Хоакина. За нею стала улыбаться и ее мать.

— Я вижу, — возразил Хоакин, — вы говорите о том, что дон Габриель иногда приходит ко мне. Но мои окна очень далеки от покоев моей сестры. Кроме того, знайте, что Габриелю никак нельзя иметь бесед с моею сестрою, за нею смотрят очень строго и воли ей не дают.

Все три женщины слушали его с насмешливым и недоверчивым видом. Химена сказала:

— Я тоже не сразу поверила. Но это происходит так явно, что уже и соседи все об этом говорят. Не верят, что ваш отец ничего не знает. Толкуют, что он притворяется незнающим, чтобы сбыть Лауру с рук без всяких издержек.

Хоакин был так разгневан, что уже не мог вымолвить слова. А дамы, забавляясь его яростью, еще более разжигали его злость. Он ушел от них в великом бешенстве.

Возвратясь домой, Хоакин, несмотря на поздний час, немедленно пошел к отцу и рассказал ему все, что слышал. Дон Родриг пришел в великий гнев. Он уже собирался идти к Лауре, восклицая:

— Я выбью из нее дурь!

Но Хоакин остановил его:

— Подождем, последим. Теперь она может отпереться от всего. Лучше изобличить их на деле.

— Ты прав, — сказал дон Родриг. — Ты — умный малый.

Хоакин самодовольно усмехнулся. Отец и сын долго беседовали, понижая голос до шепота, — все совещались, как отомстить Габриелю. Решили пока таить гнев и наблюдать за поступками влюбленных.

Вскоре дон Родриг услышал, что в Кадикс пришли корабли из Индии, на которых были погружены его товары. Дон Родриг обрадовался случаю уехать из города и предоставить другим распутывать эту неприятную историю. Ссориться с богатым Габриелем не входило в его расчеты. Как он ни любил сына, но все же предпочел в этом случае остаться в стороне. В его черствое сердце закралась даже досада на Хоакина, из-за которого ему грозили неприятности. Притом же он был уверен, что его любимец устроит все хорошо. Он думал: «Пусть заслужит мое наследство».

Он выехал со своими слугами из Санлукара. В доме остались только Хоакин со своим пажом и Лаура с Мерседес и молодою служанкою.

Проводив отца, Хоакин почувствовал некоторое беспокойство. Дерзкая отвага Габриеля внушала ему страх, но этот страх все же не откло-

нял его от исполнения замышленного. Хоакин усердно следил за Лаурою. В одну ночь он увидел, как Габриель разговаривает с нею под ее окном. Тогда Хоакин решил приступить к исполнению злого замысла.

Лаура, заметив, что Хоакин с нею особенно холоден, решилась воспользоваться отсутствием отца, чтобы уйти к Габриелю. С этою целью, увидев, что Хоакин уехал после обеда со двора, Лаура села писать своему милому. Она просила Габриеля прийти к ней в ближайшую ночь, чтобы посоветоваться, что им надлежит делать.

Лаура не знала, что отъезд ее брата был притворный. Он хотел застать ее врасплох. Отъехав недалеко, он вернулся и тихо вошел в дом. Никто его не видит: старая Мерседес дремала в саду под пиниею, убаюканная тихим журчанием фонтана, а Лаурина служанка и Хоакинов паж о чем-то шептались, укрывшись от зноя в густые кусты около забора, шептались так тихо, словно боялись, что ютящиеся там рогатые жуки подслушают и разжужжат соседям их секреты. Хоакин прокрался к дверям Лауриной комнаты. Слегка приоткрыв дверь, он увидел, что Лаура пишет. Усмехнувшись злорадно, он ждал. Едва только Лаура окончила письмо и собиралась его запечатать, Хоакин поспешно вошел в комнату. Лаура затрепетала, хотела спрятать письмо, но было уже поздно.

Хоакин вырвал из ее рук письмо и прочитал его. Он закричал с диким хохотом:

— Вот твоя девическая скромность! Вот твое послушание!

Лаура упала на колени и молила о пощаде. Но Хоакин, не желая ничего слушать, вышел из комнаты и запер ее на ключ. Затем он громким криком созвал слуг.

— Старая ведьма! — крикнул он на испуганную Мерседес, — хорошо ты смотришь за Лаурою! Иди в свою комнату и молись Богу на досуге. И ты, скверная девчонка, иди туда же!

И он запер на ключ служанку и Мерседес.

— Кто носил письма дону Габриелю? — грозно спросил он пажа.

— Не знаю, — равнодушно отвечал мальчишка.

Ему было забавно, что его подруга попала под замок. Ни о чем другом он не думал. Хоакин велел ему идти за знакомым священником.

— Скажи отцу Бенедикту, что умирающий ждет исповеди.

Паж посмотрел на Хоакина с удивлением.

— Разве донне Лауре плохо? — спросил он. — Не позвать ли врача?

— Врача я сам приведу, — отвечал Хоакин, — а ты делай, что тебе велят, да беги живее, пока не бит.

Испуганный паж во всю прыть проворных голых ног помчался к отцу Бенедикту. Скоро отец Бенедикт пришел. Хоакин встретил его на пороге дома.

— Кто умирает? — спросил священник.

— Идите за мною, — угрюмо сказал Хоакин.

И повел его к Лауре. Старец, многое видевший в жизни, не особенно был удивлен тем, что дверь к умирающему была замкнута на ключ. Хоакин ввел священника к Лауре. Она стояла на коленях перед резным темным Распятием и со слезами молилась. Услышав звук отмыкаемой двери, она обратила к вошедшим испуганные глаза и схватилась рукою за тяжелое Распятие. Хоакин сказал отцу Бенедикту:

— Исповедайте и разрешите от грехов эту несчастную девицу. Она заслужила наказание смертью и примет смерть из моих рук, как только вы окончите ваше дело.

Священник, испуганный словами и яростным лицом Хоакина и тронутый слезами и отчаянием юной девицы, сказал:

— Дон Хоакин, подумайте, какое жестокое беззаконие помышляете вы совершить!

Но все его увещания были тщетны. С нетерпением слушал его Хоакин и наконец яростно закричал:

— Я призвал вас исповедовать мою сестру, а не подавать мне советы. Я сам знаю, что делаю. А если вы не согласны, то идите отсюда. Я и без вас пролью кровь этой порочной девицы, которая опозорила честь нашего рода.

Тогда, видя его неумолимость, священник сел на стул, стоящий близ Распятия, и тихим голосом подозвал Лауру. Она склонила перед ним колени и исповедала свои грехи с такою кротостью и с таким смирением, что священник проникся еще большею жалостью к ней.

Он снова стал умолять Хоакина, чтобы он сжалился над Лаурою и пощадил ее жизнь. Он говорил:

— Донна Лаура имела законные намерения. Если она и хотела избрать себе мужа против воли своей семьи, то все же не заслуживает за это наказания смертью.

В великой ярости Хоакин разразился страшнейшими ругательствами и богохульствами. Он закричал:

— Довольно! Не хочу я слышать вашей болтовни. Вы кончили ваше дело, так можете идти домой. Только берегитесь рассказывать кому-нибудь о том, что здесь видели и слышали, если жизнь вам еще мила.

Отец Бенедикт, дрожа от ужаса, не посмел более сказать ни слова и поспешно вышел. Меж тем Лаура стояла на коленях перед Распятием, плакала и молилась. Едва отец Бенедикт вышел из комнаты, Хоакин бросился на Лауру, ухватил ее за волосы и нанес ей несколько ударов кинжалом. Лаура едва успела вскрикнуть от ужаса и от боли и тяжело свалилась на пол. Хоакин, считая ее мертвою, вышел. Он замкнул за собою дверь, но в торопливости не вынул ключа, — спешил довершить свое злодеяние.

Паж забавлялся на дворе, бросая камешками в то окно, из которого выглядывали бледные, испуганные лица дуэньи и служанки. Хоакин позвал его и сказал грозно:

— Если ты побьешь стекла, я тебе оторву голову.

В подкрепление угрозы Хоакин хотел было поколотить мальчишку, но вспомнил, что он еще пригодится сегодня для важного дела, требующего верности и точности, а потому переменил намерение, вытащил из кошелька, хотя не без колебания, золотой дублон и отдал его пажу. Вместе с тяжелою монетою Хоакин отдал пажу и то письмо, которое отнял у Лауры.

— Отнеси это письмо к дону Габриелю Ромеро и скажи ему, что письмо дала тебе сама донна Лаура. Понял? Обо мне не смей говорить ни слова. Да попроси ответа. Скажи: донна Лаура просит ответа. Если сделаешь все хорошо, получишь еще столько же.

Паж был очень обрадован, первый раз в жизни сделавшись обладателем столь крупной суммы. С видом большого усердия он ухватил письмо и монету и побежал. За воротами он осмотрелся и быстро куснул монету, чтобы узнать, не поддельная ли она. Потом, не доверяя крепости карманов, он сунул дублон за щеку, помчался, сверкая на заходящем солнце красною курткою и смуглыми ногами, и в душе его было сильное желание заслужить обещанную награду. Он исправно сделал все, что ему было велено.

Габриель очень удивился тому, что письмо не Мерседес ему принесла и даже не Лаурина девушка. Не случилось ли чего со старухою? Но Габриель не решился спросить об этом у пажа, чтобы не выдать неосторожным словом верную дуэнью. Он только спросил:

— Тебя дон Хоакин послал?

— Нет, — отвечал мальчишка, — донна Лаура. Дон Хоакин куда-то уехал верхом.

Почерк письма убедил Габриеля, что письмо действительно от Лауры. Не показывая своего удивления, прочитал письмо и сказал мальчишке:

— Передай, что я все исполню, что здесь сказано.

Мальчишка побежал к своему господину. Выслушавши его сообщение, Хоакин подарил ему второй дублон и отправился к одному из своих собутыльников, Гильерму Варела.

— Друг мой Гильерм, — сказал ему Хоакин, — завелся соловей ночной, повадился ночью распевать под нашими окнами и мешает мне спать.

— Если ты, Хоакин, — отвечал Гильерм, — хочешь убить ночного соловья, то я охотно помогу тебе.

— Этим ты окажешь мне большую услугу, — сказан Хоакин. — А если тебе придет нужда в верной шпаге, то рассчитывай на меня смело.

— Между друзьями что за счеты! — отвечал Гильерм. — Но не понадобится ли нам третий?

— А кого позвать? — спросил Хоакин.

— Позовем Мануеля Репеса, — посоветовал Гильерм.

Так и сделали. Ночью все трое пошли в переулок у дома дона Родрига и там, таясь в нише ворот, ждали.

Едва только пробило одиннадцать часов, Габриель вышел из дома. На этот раз он был особенно осторожен. Весь вечер раздумывал он, почему письмо принес мальчишка, а не старая Мерседес. Полный томительных опасений и мрачных предчувствий, он тщательно зарядил пистолеты, взял остро наточенную шпагу, закрыл лицо плащом и широкими полями шляпы и шел осторожно, прислушиваясь к малейшему шороху. Но везде было тихо и темно, и только мерцавшие на темно-синем небе великолепные сочетания звезд слабо освещали его путь по тяжелым плитам затихших улиц. Слабо и томно пахло доцветающим лимоном, и с моря доносился далекий гул прилива.

Габриель подошел к знакомому окну. Оно было закрыто. Он осторожно постучал в ставень. Никто не отзывался. Привыкшими к ночной темноте глазами он осмотрелся вокруг. Служанки Лауриной не было видно. Габриель взмостился на приступок дома, рванул ставень, — он заскрипел и распахнулся, и при слабом свете догорающей лампады Габриель смутно различил лежащее на полу в белом платье чье-то тело.

«Лаура убита!» — с ужасом подумал Габриель.

В ту же минуту он услышал сзади себя звон оружия. Габриель поспешно соскочил на землю. Три человека напали на него. Он защищался отчаянно. Любовь и гнев увеличивали его ловкость и умножили его силу; взятые не напрасно пистолеты дали ему перевес над противниками, и скоро он был победителем. Раненные выстрелами из его пистолетов, друзья Хоакина обратились в бегство. За ними бежал и сам Хоакин. На звуки пистолетной стрельбы прибежали коррехидор и стражники. Габриель рассказал, что на него напали и что в этом доме, по-видимому, совершено убийство. В это время принесли сюда раненого Гильерма, — он упал недалеко, и стражники подняли его. Хотя рана Гильерма была неопасна, но он вообразил себя умирающим, совесть заговорила в нем, и он признался, что дон Хоакин подговорил его убить Габриеля за то, что тот склонял к бегству его сестру Лауру.

— А что с донною Лаурою? — тревожно спросил Габриель.

— Убита доном Хоакином, — сказал слабым голосом Гильерм и потерял сознание.

Коррехидор в сопровождении Габриеля и стражников вошел в дом. Добрались до Лауриной комнаты. Лаура, приведенная в чувство ночною прохладою, стонала, лежа на полу. Один из стражников привел врача. В то же время освобожденные из-под замка Мерседес и девушка прибежали и осторожно перенесли Лауру на ее постель.

Раны Лаурины, хотя и многочисленные, оказались неопасны. Прилежный уход скоро поставил ее на ноги. Тем временем власти принялись за расследование дела. Хоакин был уличен в покушении на убийство сестры и приговорен к смертной казни.

Выгодные торговые дела долго задерживали дона Родрига в Кадиксе. Наконец кто-то из друзей написал ему о процессе его сына. Встревоженный дон Родриг поспешил в Санлукар. Корабль, на который он сел, потерпел крушение, нанесенный внезапным порывом ветра на одну из мелей, которыми изобилует устье Гвадалквивира. Дон Родриг едва спасся от смерти. К довершению беды береговые жители ночью ограбили его. Кое-как, с большим промедлением времени дон Родриг добрался до Санлукара.

Сидя на ленивом и медленном осле, который останавливался каждый раз, когда находил случай полакомиться сочным плодом, дон Родриг въехал в Салукар в тот самый час, когда Хоакина вели на площадь, где его ждали палач с топором и плаха.

Дон Родриг увидел сына, но в каком виде? Со связанными за спиною руками, в рубашке из грубой шерсти, с непокрытою головою и голыми ногами шел по пыльным улицам города Хоакин де Инестрос. Конный солдат держал в руке конец веревки, которою были связаны руки Хоакина. Мальчишки бежали за Хоакином, свистели и кричали:

— Убийца! Проклятый!

Это зрелище так потрясло старого дона Родрига, что он поспешил домой и отравился.

А Лаура, оправившись от болезни, вышла замуж за Габриеля. Она часто ходила плакать на могилах отца и брата, хотя они и были так жестоки к ней. Габриель сказал ей однажды:

— Если бы ты сразу согласилась бежать из отцова дома, все обошлось бы гораздо лучше.

Лаура, осушив слезы, отвечала:

— Я и так довольно счастлива и о минувшем не жалею. Ведь и святые все прошли множество напастей и искушений и преуспели. Огонь очищает железо, искушение очищает праведного.

И старая Мерседес сказала:

— Если бы Лаура самовольно ушла из родительского дома, то и отец, и брат искали бы причинить ей зло. Смирение же и покорность Лауры их зло обратили на них самих, — и так мы увидели, что злое само себя сгубило.

Габриель подивился этим словам. Но, обдумав их внимательно, он воздал хвалу Господу, устрояющему все к лучшему, и уже никогда впредь не упрекал Лауру.

Страж великого царя

Драматическая сказка в четырех действиях

Действующие лица·

Киноджа, царь Табаристана
Ходжистэ, его дочь.
Камру, страж.
Чундср, его жена
Халис, их сын.
Див.
Змея, живущая в огне.
Джафар, великий визирь.
Миемун, мудрец.
Ферух, военачальник.
Гости царя и народ

Действие первое

Сени перед чертогом царя Габаристанского. Лестница, опускающаяся прямо вперед. Над чертогом — огороженная плоская кровля. В глубине сеней — высокая, широко раскрытая дверь в пиршественную залу. Из залы слышен ликующий шум. Пир кончается. Довольные угощением, выходят гости, — царевичи, знать, мудрецы, наставники, ученые, правители. Царь Киноджа провожает мудрейших. Гости хвалят пир, чертог, царя, царевну. Внизу лестницы стоят бедно одетые Камру и Халис

Г о с т и. Великий царь, пир твой подобен торжеству в райских сенях.

Слышен невнятный, но громкий и грозный голос.

Г о л о с. Я иду.

Все смущены

К и н о д ж а. Я слышу этот голос уже несколько ночей. И не знаю, чей это голос и что он значит.

М и е м у н. Печаль уходит от чертога великого и мудрого царя.

К и н о д ж а. Но отчего же в этом голосе слышна угроза?

М и е м у н. Счастье великого царя гонит ее, и она ропщет.

Выходит Ходжистэ.

Х а л и с *(отцу)*. Кто эта прекрасная?

К а м р у. Дочь великого царя. Но зачем ты глядишь на нее так пристально?

Х а л и с. Лицо ее подобно луне в четырнадцатый день месяца. Ее локоны чернотою напоминают тьму благоуханной ночи. Стройный стан ее подобен кипарису, а царственная походка — поступи фазана. Сладостная речь ее подобна пению соловья, искусного и влюбленного, который знает тысячу трелей и одну. Это и есть та красавица, которую видел я во сне нынче ночью, когда мы в поле перед этим городом остановились на ночлег.

Увлекаясь, выдвигается вперед и поднимается по ступеням лестницы. Камру останавливает его

К а м р у. Любовь к царевне погубит тебя. Будь скромен. Дорожные сны и полевые сказки пусть остаются за оградою великого и славного города.

Становится впереди сына. Тогда царь и придворные замечают его.

К и н о д ж а. Кто это? В лохмотьях и покрытый густою пылью.

Д ж а ф а р. Кто ты? Откуда пришел ты в непраздничной одежде к высокому порогу?

К а м р у. Я — боец на мечах и ловец львов. Я постиг искусство метания стрел и так умело и сильно пускаю их, что они пробивают даже твердый камень. И еще многие тайны и хитрости доступны мне.

Д ж а ф а р. Глядя на твои лохмотья, не скажешь, что ты богат. Что же твое искусство?

Гости смеются.

М и е м у н. Знающий знает тщету богатства и умножает не золото, а мудрость.

Ф е р у х. Сильный знает бессилие золота и умножает не сокровища, а силу.

Д ж а ф а р. Но этот человек уж слишком презирает богатство. Он сам в лохмотьях, а сын его полунаг.

Х о д ж и с т э. Самый мудрый тот, кто знает свой срок.

К и н о д ж а. Пусть он сам о себе скажет.

К а м р у. Был я на службе у царя Ходженского, но царь не умел оценить моей ловкости. Я оставил его. И вот пришел к великому царю Табаристанскому.

Д ж а ф а р. И царь Ходженский отпустил тебя ни с чем? Малого же стоила твоя служба!

Камру. У меня есть сокровище, есть богатство, с которым не сравнятся никакие дары, — мой сын. Он силен и прекрасен, и судьба его вся перед ним.

Джафар. За такое сокровище на базаре не только быка, не дадут и теленка.

Миемун. Чего стоит отрок, знает тот, кто дал ему жизнь.

Киноджа. Если они голодны, пусть их накормят. Джафар, скажи, чтобы мне дали вина, хочу выпить здесь, под этими ясными звездами, последнюю сегодня чашу.

Царь и гости пьют Ходжистэ подходит к Халису

Ходжистэ. Прекрасный отрок, ты чей?

Халис. Вот мой отец.

Ходжистэ. Кто же вы? На царском пире только ты один в бедной одежде, ты и твой отец. Но на царском пире я не видела отрока прекраснее тебя и мужа более сильного и величественного, чем твой отец. Вы оба как царь и царевич, изгнанные из чертога предков ваших буйными рабами, упившимися вином.

Халис. Мой отец — сильный воин, но не царь.

Ходжистэ. Как стройны твои обнаженные ноги!

Халис. Я тебя знаю. Я тебя видел.

Ходжистэ. Где? Когда? Я тебя не помню.

Халис. Я видел тебя нынче ночью во сне.

Ходжистэ. Ты очень глупый или очень мудрый. *(Смеется.)*

Халис. Ведение мудрого — безумие для неразумного.

Ходжистэ. Но ты-то в этом что понимаешь, милый отрок? Вот приближается ночь. Если никто не пустит вас ночевать к себе в дом, твои ноги будут дрожать от холода. Возьми этот плащ. Покройся им и во сне опять постарайся увидеть меня. *(Дает Халису свой плащ. Говорит отцу)* Отец, возьми этого человека на службу. Он будет верен тебе.

Киноджа. Ты умная. Ты смотришь на человека и видишь его мысли и желания. Душа человека открыта перед тобою, и ты видишь, что он будет верен.

Ходжисто, застыдившись от похвалы отца и улыбаясь, уходит за чертог

К и н о д ж а. Пусть этот человек служит мне. Да будет он стражем моего чертога.

К а м р у *(падая ниц перед царем)*. Благодарю тебя, великий царь. Благоволение царя пламенно и страшно, но ты будешь доволен моею службою.

Киноджа уходит в чертог.

Х а л и с *(отцу)*. Я люблю царевну.

К а м р у. Что это за безумие! Разве возможно, чтобы нищий породнился с великим царем?

Х а л и с. Не знаю, хорошо ли, что я утаил от нее... Но она дала мне плащ.

К а м р у. Что ты утаил от нее?

Х а л и с. Я не сказал ей, что добрая женщина дала нам приют на эту ночь.

К а м р у. Зачем царевне знать об этом? Она только посмотрела на тебя, и ушла, и уже забыла.

Х а л и с *(любуясь подарком царевны, повторяет)*. Она дала мне свой плащ.

К а м р у. Иди к той доброй женщине, которая дала нам приют на эту ночь, и скажи матери, что я должен остаться здесь на страже у царского чертога. Спи спокойно и забудь о царевне.

Х а л и с. Лучше мне умереть, чем забыть о ней.

К а м р у. Друг мой, я слышал, спросили однажды у великого мудреца: «Что такое любовь?» И мудрец ответил: «Любовь — это как бы смерть при жизни».

Х а л и с. Сладостная смерть! Ах, лучше умереть любя, чем жить без любви.

Медленно уходит. Все гости уже ушли. Огни пиршества гаснут. Камру становится на стражу. Киноджа выходит на кровлю. Смотрит вокруг. В чертоге у двери стоит Ходжисто, притаившись, и слушает

К и н о д ж а. Страж, скажи мне, отчего я не могу заснуть.

К а м р у *(низко поклонившись царю).* Если царь будет спать ночью, у него не останется времени для поклонения Богу.

К и н о д ж а. Но я и днем не спал.

К а м р у. Если царь будет спать днем, то пострадают его подданные.

К и н о д ж а. Когда я им нужен, они хотели бы, чтобы я судил их и днем и ночью. И тогда они смотрят на меня и судят меня еще строже, чем я их сужу. Когда они мне нужны, они были бы рады, если бы я спал круглые сутки. Когда я тревожу их, они ропщут и готовы были бы усыпить меня навеки. Они не могут обойтись без людей, которые за них думают, сражаются и молятся. А для поклонения Богу иная минута святее целого дня. Нет, страж, я не сплю по иной причине.

К а м р у. Великий царь, ты ждешь того, кто приходит внезапно. Но не тревожься, — я на страже, никто не войдет в твой чертог и не похитит твоих сокровищ.

К и н о д ж а. От приходящего внезапно никто не остережется.

Издали доносится угрожающий голос.

Г о л о с. Я иду! И кто из людей заставит меня вернуться?

К и н о д ж а. Страж, ты слышишь этот голос?

К а м р у. Я слышал этот голос, когда с женою и с сыном шел в твой славный город. Жена и сын думали, что я знаю, чей это голос, и спрашивали меня. Кто знает хотя немногое, того спрашивают обо всем. Но я ничего не мог сказать им. Я знаю мой долг и не допытывался, что это за шум. Но если ты, царь, повелишь мне, я тотчас узнаю, кто это, и доложу об этом двору, населенному рабами святейшего закона.

К и н о д ж а. Иди узнай и скажи мне. Только мне, — никому иному не надо знать.

Камру уходит. Киноджа окутывает тело и лицо черным покрывалом, поглощающим всякий свет. Становится незрим. Идет вслед за стражем. Ходжистэ выходит на кровлю. Слышен голос.

Голос. Я иду! Кто меня задержит?

Входят Халис, несет в глиняной посуде пищу для отца, и Чундер, несет в глиняном кувшине воду для мужа.

Халис. Отец, где ты?

Ходжистэ. Твой отец ушел в пустыню прогнать духа, который тревожит великого царя.

Халис *(испуганно и радостно)*. Здесь прекрасная царевна.

Халис и Чундер кланяются царевне

Ходжистэ. И мой отец ушел в пустыню. Ушли сильные, остались женщины и дети.

Чундер. Царевна, сын мой заменит отца на страже. Он силен и верен, как и его отец, и пока отрок здесь, ты, царевна, ничего не бойся.

Ходжистэ. Я никогда не боюсь. Меня не научили страху. *(Халису.)* Милый отрок, иди за твоим отцом и помоги ему охранять в пустыне великого царя. Ужасны и неодолимы тайные силы, но страхи бегут от того, кто чист и непорочен.

Халис кланяется царевне до земли и уходит. Чундер садится на ступени Ходжистэ смотрит вдаль.

Ходжистэ. Кто за себя не боится, тот вдвое боится за другого. Я боюсь за отца и за милого, ты — за мужа и за сына. Одна тоска в наших сердцах.

Чундер. Царевна, а кто же твой милый и где он?

Ходжистэ. Все дальше, все дальше уходит.

Чундер. А кто же он?

Ходжистэ. Женщина, ты слишком любопытна. Скажи мне лучше утешительную сказку.

Чундер. Если хочешь, милая царевна, я расскажу тебе о том, как один...

Луна восходит над чертогом, полная и ясная. Серебристый туман заволакивает все предстоящее, и не слышно слов утешительной сказки. Отходит от чертога действие и влечется в пустыню.

Действие второе

Пустынное поле. Перекресток двух тихих дорог. Полная луна светит ярко и смотрит, любопытная, как беременная женщина. Див с темным, но прекрасным лицом стоит в тени цветущего и благоухающего истомно дерева и кричит страшным голосом.

Д и в. Я иду! Кто заставит меня вернуться?

Входит Камру. За ним Киноджа в черном плаще, поглощающим всякий свет.

К а м р у. Прекрасный и великий Див, почему ты говоришь эти страшные слова?

Д и в. Я — ангел смерти.

Камру, мгновенно ужаснувшись, падает на лицо свое, кланяясь Диву. Но мужество воина тотчас же возвращается к нему. Он поднимается и говорит с Дивом как человек, всегда готовый встретить смерть.

К а м р у. Путь перед тобою свободен. Отчего же ты медлишь на этом перекрестке, и с кем ты споришь?

Д и в. От многих душ исходящие незримые нити держат на земле того, к кому я послан, но и эту сеть я разрушу, как легкую паутину.

К а м р у. Чем же ты умерщвляешь?

Д и в. Взором моим и голосом я зову душу, которой настал срок расстаться с телом.

К а м р у. Куда ты идешь?

Д и в. Я иду в чертог царя Киноджи.

К а м р у. Чертог великого царя охраняется крепко.

Д и в. Дни царя истекают, и я иду, чтобы взять его душу и отнести ее к превысокому престолу.

К а м р у. Я должен вернуть тебя обратно. К господину моему не пущу тебя, страшный.

Д и в. Никакою силою меня не вернешь и не остановишь.

К а м р у. Дам тебе многоценный выкуп за душу господина моего.

Д и в. Ты слишком смело обещаешь. Когда ты узнаешь, чего я требую, ты откажешься.

К а м р у. Я дам все, чего ты потребуешь.

Входит Халис.

Х а л и с. Отец, что ты делаешь в этом мрачном месте? В первую же ночь ты оставил порог высокого чертога! Ты забыл о царе, и царевна в тревоге и в страхе. Что подумает царь, если узнает, что ты ушел?

К а м р у. Я спорю с этим духом о душе моего великого господина.

Д и в. Разве есть еще верность на земле? Везде, куда я приходил, я видел, что люди торопятся пасть к ногам нового господина. Один только ты хочешь сохранить сочтенные дни и умножить дни обреченного моему мечу.

К а м р у. Скажи, какой ты возьмешь выкуп.

Д и в. Чтобы я оставил душу твоего господина в его теле, ты хочешь принести великую жертву. Подумай, — если царь умрет, тебя и другой царь не прогонит. Тот, кто служит ни о чем ином не думая, нужен каждому властелину, как бы тот ни именовался. Тебе, нищему, не все ли равно, кому ты служишь? У тебя нет дома и нет родины.

К а м р у. Я верен моему господину, потому что я верен моему слову. Я должен вернуть тебя обратно.

Д и в. Если ты за душу великого царя отдашь мне душу твоего сына, я вернусь и царь избегнет смерти.

К и н о д ж а *(радостно)*. Я избегну смерти.

Среди лунного сияния над безлюдными дорогами и над пустынею он один окутан мраком, и слова его поглощены окружающим его молчанием и тьмою

К а м р у *(радостно)*. Великий царь избегнет смерти!

Х а л и с. Царевна для меня недоступна. Лучше мне умереть за великого царя, ее отца, чем жить вдали от прекрасной царевны Ходжистэ.

К а м р у *(Диву)*. Я отдам тебе и мою жизнь, и жизнь моего сына.

Д и в. Твоей жизни мне не надо. Довольно одной. Избыток жертв уменьшает их цену. Отдай мне только жизнь Халиса.

К а м р у. На твоих глазах я принесу его в жертву. Халис, милый сын мой, единственное мое сокровище, готов ли ты умереть за господина нашего Киноджу, великого царя?

Х а л и с. Великий и справедливый царь дорог для всех. Он любит своих, он милостив к чужим. Счастье народа истекает от великого царя. Умереть за доброго царя хорошо, добрый царь сохраняет мир среди своего народа. Если умрет справедливый царь, ему может наследовать владыка жестокий, и от его злобы погибнут тысячи людей, ему подвластных, и вся страна превратится в пустыню. А потому будет разумно и справедливо, если ты, отец, убьешь меня.

К и н о д ж а. Отрок рассуждает разумно. И что нищему мальчику долгая жизнь! А за его верность и за его жертву я щедро награжу моего стража. Денег и других сокровищ в казне моей много.

Камру связывает Халису руки и ноги и вонзает нож в его грудь.
Халис вскрикивает.

Х а л и с. Ходжистэ! *(Стонет. Умирает.)*

К и н о д ж а. Умирая, вспомнил он ласковый взор прекрасной госпожи. Счастливый отрок!

Д и в. Царь останется на земле, пока сам не призовет меня.

К и н о д ж а. Этого ты не дождешься. *(Поспешно уходит.)*

Д и в. Змея, живущая в огне, вознесет твоего сына. *(Скрывается.)*

К а м р у. Я знаю Змею, живущую в огне. Она обовьет тело моего сына и вознесет его высоко над землею,— дымом и пеплом вознесет его милое тело. *(Поднимает тело Халиса и уносит его.)*

Действие третье

Сени чертога, как в первом действии. Луна светит Ходжистэ, на полную луну, как родная сестра, прекрасным лицом дивно похожая, и Чундер разговаривают

Х о д ж и с т э. Прекрасный отрок — твой сын, женщина, и я полюбила его. Но нельзя мне быть его женою. О, лучше бы я была рабынею! Рабынь в доме великого царя хорошо кормят и не обременяют многою работою, и я могла бы стать женою твоего сына, если бы он захотел меня. Но кто из юных, посмотрев на меня однажды, не пожелал бы моей любви!

Ч у н д е р. Слушай, госпожа, — у одного царя была дочь необычайной красы.

Х о д ж и с т э. Красивее меня?

Ч у н д е р. Красивее тебя, госпожа, нельзя быть. И никогда не было никого красивее тебя, и не будет. Царевна, о которой я говорю, была почти так же прекрасна, как и ты. В нее влюбился дервиш.

Х о д ж и с т э. Безумный! Разве возможно, чтобы нищий породнился с царем?

Ч у н д е р. Дервиш пришел к царю и сказал ему: «Царь, отдай мне твою дочь, я люблю ее».

Х о д ж и с т э. А она любила его?

Ч у н д е р. Нельзя не полюбить того, кто любит.

Х о д ж и с т э. Что же отвечал дервишу царь?

Ч у н д е р. Царь сказал: «Приведи мне слона, нагруженного золотом, тогда я отдам тебе дочь».

Х о д ж и с т э. Царь посмеялся над бедным дервишем.

Ч у н д е р. Дервиш пошел к райрайяну, и дал ему райрайян слона и столько золота, сколько может поднять самый сильный слон.

Х о д ж и с т э. И дервиш получил царевну?

Ч у н д е р. Царь сказал: «Слон стар, и золото нехорошее. Знаю, райрайян дал тебе слона и золото. Принеси мне голову райрайяна, и отдам тебе мою дочь».

Х о д ж и с т э. Бедный дервиш!

Ч у н д е р. Пошел дервиш опять к райрайяну. И сказал ему райрайян: «Обмотай веревку вокруг моей шеи, веди меня к царю и скажи: «Я принес голову вместе с ее телом». Если царь согласится взять ее, отрежь мою голову и отдай ему».

Х о д ж и с т э *(всплеснув руками, как простая девушка, пораженная изумлением)*. Никто в этом мире не превзойдет великодушием райрайяна!

Ч у н д е р. Дервиш привел на веревке райрайяна к царю. И тогда царь послал за дочерью и сказал райрайяну: «Это — твоя рабыня, отдай ее кому хочешь».

Х о д ж и с т э. И райрайян взял ее себе?

Ч у н д е р. Райрайян отдал ее дервишу.

Х о д ж и с т э. Счастливый дервиш!

Ч у н д е р. Царевна, если ты любишь моего сына, и если он любит тебя, — а тебя нельзя не любить, — обратитесь к мудрому и благому, и он поможет вам.

Х о д ж и с т э. Кто мудр и кто благ?

Киноджа вернулся. Снимает поглощающий всякий свет плащ и выходит на кровлю. Ходжистэ уходит в чертог, таится за дверью и слушает. Входит Камру. Кланяется царю низко.

К а м р у. Да умножатся богатства, честь и пышность великого царя! Да продлятся дни царя, великого источника всяких благ!

К и н о д ж а. Скажи мне, что это был за голос?

К а м р у *(почтительно сложив руки на груди)*. Некая женщина дивной красоты, поссорившись со своим мужем, оставила свой дом. Она сидела там на земле, на перекрестке двух путей, не зная, куда ей идти, и громко причитала. Но я утешил ее тихою речью и восстановил мир и согласие между ею и ее мужем. И теперь эта женщина обещала не оставлять мужа до самой его смерти.

К и н о д ж а. Ты рассказал мне притчу, но я знаю ее смысл, и напрасно хочешь ты его скрыть от меня.

К а м р у *(падая ниц перед царем)*. Иносказание — прозрачная для мудрого взора одежда истины.

К и н о д ж а. Когда ты по моему повелению ушел отсюда, я облекся черным плащом и пошел вслед за тобою. Я слышал все, что ты говорил с тою женщиною, и видел, что ты сделал с твоим сыном. Не женщина то была, — то был Див умерщвляющий, посланный за моею душою. За душу мою он потребовал выкуп, душу твоего сына, и ты согласился дать этот выкуп, чтобы спасти мою жизнь. И когда твой нож прервал дыхание жизни твоего сына...

Ходжистэ вскрикивает.

К и н о д ж а *(спокойно продолжает, точно и не слышал этого крика)*. Я увидел вашу любовь и верность ко мне и вот говорю тебе: мудрый и верный, и знающий многое, ты все же был нищ и мал. Ты испытывал крайнюю нужду и пренебрежение богатых и сильных, и этим всегда было огорчено твое сердце. Отныне успокоится твой дух, и я сделаю тебя богатым и знатным. Сын же твой, — о нем не печалься, он восстанет, и ты увидишь его в славе и величии.

Ходжистэ выходит и плачет громко.

Х о д ж и с т э. Милый отрок погиб! Горе мне, горе!

Ч у н д е р. Сын мой погиб! Горе мне, горе горькое!

К а м р у. Погиб отрок, но зато жив великий царь.

К и н о д ж а. О сыне вашем чистые воспоминания останутся у вас, и незапятнан ничем будет образ его.

Х о д ж и с т э. За тебя, отец, погиб милый отрок. И если завтра Див явится снова, и потом опять, не погибнет ли за одного весь народ?

К и н о д ж а. Я принял жертву, потому что отрок по доброй воле принес ее мне.

Действие четвертое

Двор перед чертогом царя Лестница в чертог Наверху ее на площадке приготовлено высокое царское место Раннее утро. Солнце только что взошло. Лучи его еще неярко, но празднично-ясно озаряют всю сцену.

Немного отступя от середины лестницы, на дворе разложен костер. Огоньки только что начали выбегать из-под перепутанных тонких и сухих стволиков. Слуги время от времени приносят новые охапки хвороста и подбрасывают их в костер.

Тело Халиса лежит у костра. Ходжистэ плачет над ним, и рядом с нею плачет Чундер. Собрались правители, князья, ученые. Киноджа на царском месте. Синклит властей внимает его рассказу. Камру стоит на страже у чертога.

Киноджа *(продолжая говорить)*. Так спас мою жизнь верный мой слуга. Для спасения царя он не пожалел и сына своего отдать в жертву темной силе. Камру, мой верный слуга, отныне ты будешь моим великим визирем. Ключи от моей казны доверяю тебе.

Джафар. А я? Великий царь, я служил тебе со всем усердием, не жалея ни трудов, ни сил, ни здоровья. Или ты забыл мою верную службу? Или все мои труды вменяешь ты ни во что?

Киноджа. Тому, кто в силе, все служат верно и с усердием, а кто обманывает сильного владыку, тот теряет вместе с головою жизнь. Я оставляю тебе твою мудрую голову, и от тебя возьмут только облачение визиря. Перед высокою властью не все ли подвластные равны? Ты, как и все, в этой стране живущие, — раб мой, и весь ты в воле моей. Ныне, раб среди рабов, войди в толпу слуг моих. Ближе других стань к моему высокому престолу, чтобы я всегда слышал твои мудрые советы. А золотую цепь, и ключи золотые, и золотом шитый плащ сними и отдай ему, моему верному Камру, которого я из стражей моего чертога возвожу в великие визири.

Джафар *(ворчит)*. Из грязи да в князи.

Рабы подходят к Джафару, снимают с него цепь и златошитый плащ, а от пояса отвязывают золотые ключи И делают все это с рабским злорадством и с гнусным смешком Цепь и плащ надевают на Камру, и ключи передают ему. Камру, облеченный знаками своего нового достоинства, склоняется перед царем.

Костер разгорается. Халиса рабы кладут на костер Перед костром возникает Див. Пламя костра стелется по земле, весь костер обволакивается густым дымом.

Д и в *(повелительно)*. Царь, отдай Халису дочь свою, Ходжистэ, прекраснейшую из дев земных.

К и н о д ж а. Халис мертв. Как мертвому отдам я мою дочь, прекраснейшую из дев земных?

Д и в. Царь, отдай ему твою дочь.

К и н о д ж а. Тело его сгорит. Как я отдам мою дочь развеянному по ветру пеплу?

Д и в. Царь, отдай ему твою дочь.

Х о д ж и с т э. Отец, отдай меня в жены милому отроку. С ним вместе взойду на костер, где великая пламенеет любовь, достойная дочери великого царя.

Из дыма возникает пламенем одетая Змея, живущая в огне.

З м е я. Царь, дочь твоя принадлежит мне. Душу свою она отдала этому милому отроку в тот зачарованный миг, когда подарила ему свой плащ.

К и н о д ж а. Ты говорила с отроком? Ты что-то подарила ему?

Х о д ж и с т э. Да, я подарила милому отроку мой плащ, потому что он был полунаг и дрожал от холода и его стройные ноги были обнажены. Я отдала ему мой плащ и вместе с плащом отдала ему мою душу. Отец, отпусти меня к милому моему.

К и н о д ж а. Пламенной вести кто смеет не верить? Приходящему в огне надо повиноваться. Дочь моя, иди к тому, кому ты отдала свою душу. Узнает мудрая змея, что сильнее, огонь ли погребального костра, роса ли твоих слез. Огонь ли упадет на землю, своим же задушенный дымом, тела ли ваши распадутся в бешеном мире стихийных сил.

Ходжистэ подходит к костру. Дым обнимает ее Она колеблется, дрожит, закрывает глаза рукою и потом, вдруг рванувшись, бросается к костру.

З м е я. Ты — моя добыча. Почему же ты пришла ко мне добровольно отдать свою душу? Я больше люблю, когда жертва плачет, и не хочет, и сопротивляется, и ее влекут ко мне силою.

Х о д ж и с т э. Я иду к моему милому.

Дым разрывается на клочья, уносимые ветром. Костер ярко пылает. Из пламени выходит Халис. Лицо его радостно, кудри, как ветром колышемое пламя, и одежда легка и бела, как влажный и туманный дым.

З м е я. Испепеленный ли восстанет? Добыча моя!

Ходжистэ наступает ногою на ее голову. Змея шипит и вдруг рассыпается золотыми искрами. Костер быстро вспыхивает необычайно ярко, и вдруг сильным порывом ветра весь пылающий хворост разносится и исчезает в воздухе. Солнце сияет ярко. Халис обнимает свою Ходжистэ.

К и н о д ж а. Восстал отрок. Что же мне делать? В душе моей — великое смятение.

Д ж а ф а р. Не всякий ли живущий на этой земле — раб неведомой и темной силы? Он восстал из огня, — он, который спас тебе вчера жизнь. Знаешь ли ты пределы его чар и его могущества? Чтобы не было тебе от него или от его покровителей великого зла, поспеши, возведи его на твое высокое царское место, пусть царствует он, а ты, бывший царь, наслаждайся покоем.

К и н о д ж а. Змеиною мудростью внушена тебе твоя речь. Но счастлив тот, кто и змеиный голос в должный срок услышит. Халис, отныне — ты царь в Табаристане.

Среди общего изумления и волнения, сопровождаемый разнообразными восклицаниями, Кинođжа сходит с престола и удаляется в чертог
Халис и Ходжистэ восходят на царское место. Минута затаившегося в тишине внимания сменяется общим ликованием Народ так радуется перемене власти, как будто сам участвует в этом и к власти причастен.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
ФЕДОР СОЛОГУБ КАК ПОЭТ*

Стихи Федора Сологуба начали появляться в печати в 90-х годах**. То было время, когда над русской поэзией всходило солнце поэзии Бальмонта. В ярких лучах этого восхода затерялись едва ли не все другие светила. Душами всех, кто действительно любил поэзию, овладел Бальмонт и всех влюбил в свой звонко-певучий стих. Подчиняясь Бальмонту, все искали в стихах

уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

В эту эпоху поэзия Ф. Сологуба, облеченная в скромные, с виду крайне простые одежды, привлекала внимание лишь немногих ценителей, обладавших особенно острым взглядом. Так, одним из ее страстных поклоннников был безвременно погибший Иван Коневской, отдававший Сологубу предпочтение перед всеми современными ему поэтами. Надо было пройти эпохе первого увлечения Бальмонтом (эпохе, когда более ценили внешнее мастерство его стиха, чем истинный смысл его творчества), надо было всем возжаждать пушкинской простоты, чтобы совершилось обращение широких кругов читателей к поэзии Сологуба.

Впрочем, такое отношение к поэзии Сологуба объясняется еще и теми трудностями, какие она представляет для своего понимания. Она слишком стро-

* Ф. Сологуб Собрание сочинений. Томы I—VIII Книгоизд Шиповник. СПб , 1910 *(Прим В Брюсова)*

** Не считая тех немногих стихотворений, которые Ф Сологуб напечатал в 80-х годах, но не перепечатал в собрании своих сочинений (см «Библиографию сочинений Федора Сологуба» СПб , 1909 г) *(Прим В Брюсова)*

га и серьезна, она скорее отпугивает при первом знакомстве, чем привлекает, ее «необщее выражение» надо высматривать. Не только ничего показного нет в стихах Сологуба, но их музыку надо ловить, вслушиваясь в них чутко; красоту линий его образов надо пристально высматривать. Смысл его поэм затаен глубоко, и если иногда он и предлагает читателю основы своего миросозерцания в форме сжатых афоризмов, то чаще он предоставляет угадывать свою мысль за холодными иносказаниями. Резкое нарушение пропорций запоминается скорее, чем стройная гармоничность; удивление способствует вниманию. Сологуб в стихах редко удивляет, большей частью его стихи кажутся повторениями уже знакомого, и поэтому многие просматривали в них всю их оригинальность.

Однако простота Ф. Сологуба — именно простота пушкинская, ничего общего не имеющая с небрежностью. Ничего случайного, ничего произвольного Сологуб не хочет допустить в свои стихи. Все его выражения, все его слова обдуманы и осторожно выбраны. Такая простота, в сущности, является высшей изысканностью, потому что это — изысканность скрытая, доступная лишь для зоркого, острого взгляда. Многие, напр<имер>, читая хотя бы такую строфу:

Бедные дети в лесу!
Кто им укажет дорогу?
Жалобный плач понесу
Тихо к родному порогу —

не обратят внимания на всю изощренность ее рифм, в которых согласована не только consonne d'appui*, но и предыдущая гласная. Многие также, пробегая глазами ровные, спокойные строки стихов Сологуба, безо всех «перепевов», кричащих внутренних рифм и т.под., не заметят поразительного разнообразия употребляемых им размеров. Так, напр<имер>, в I томе его собрания сочинений на 177 стихотворений более ста различных метров и построений строф; отношение, которое вряд ли найдется у какого-либо другого из современных поэтов. Точно так же не все уловят оригинальность и смелость сологубовских эпитетов, оборотов речи, которые сначала кажутся взятыми из разговорного языка. «Безответное светило», говорит он о солнце; как это глубоко! «томи-

* Опорная согласная *(фр.)*

тельные страны» называет он наш мир: это и просто и сильно! «преодолел я дикий холод», признается он где-то: как забыть это выражение?

Почти с первого своего выступления в печати Сологуб уже был мастером стиха, и таким он остался до конца. У него не было тех взлетов и срывов творчества, как, напр<имер>, у Бальмонта. В ранних стихах та же твердая рука, проводящая безукоризненно верные линии, как и в последних Только с годами все более и более смелые задачи ставит он себе как художник и каждый раз оказывается подготовленным именно к разрешению их. Словно какой-то мудрый учитель руководит им, располагая работы ученика по мере их трудности и на более легком подготовляя его к исполнению более ответственного. Центр творчества остается все тот же: Сологуб не знает перебегания от «северного неба» на «светлый юг», от славословий печали к гимнам огню и веселия; он стойко стоит на избранном месте, но широкими, концентрическими кругами расходится его творчество, захватывая все более обширные области и вместив наконец в себя весь мир. В одном стихотворении Сологуб приветствует

И краткий, сладкий миг свободы.
И неустанные труды!

Этот «неустанный труд» проникает всю его поэзию, дает ей ее силу и ее своеобразное величие.

В ранних стихах (Книга первая и вторая, 1896 г.) Сологуба захват его поэзии еще ограничен. Это «запах асфальта» в городе, «вожделенный сон», «ряска, покрывшая старый, дремотный пруд», сквозь которую не выплывет нагая русалка, порой «майские песни, нежные звуки!». Мир, тяготящий поэта, еще закрыт здесь своими обычными покровами, серыми, томительными, и только один «сон», одна «мечта» кажутся избавительными приютами. Может, всего характернее для этого периода творчества Сологуба его стихи:

Приучив себя к мечтаньям,
Неживым очарованьям
Душу слабую отдав,
Жизнью занят я минутно.
Равнодушно и попутно,
Как вдыхают запах трав,
Шелестящих под ногами
В полуночной тишине. .

Между этими начальными книгами и «Собранием стихов» 1904 года — расстояние огромно: словно из тонкого побега вырос крепкий ствол дерева. Сологуб нигде не рассказывает, что именно пережил он за эти годы, и оставляет читателям догадываться по таким намекам:

это вражья сила
Сокрушила бубен мой.

В новых стихах Сологуба для поэта со всего в мире сорваны его обличия: он знает, уверенно знает, что скрывается под кажущимся людям солнцем, под призрачностью весен, под условностями любви. Он обо всем говорит с такой убежденностью, как будто бы Некто всеведущий открыл ему все тайны вселенной, посвятил его в последние мистерии мироздания... Да так оно и было: Сологуб разгадал, понял самого себя, а что же есть для человека за пределами его души, его восприятий, соображений и воспоминаний?

И вот начинаются те беспощадные обличения мира, перед которыми первые стихи Сологуба кажутся робкими приступами, слабым исканием слов.

Безнадежностью великой
Беспощадный веет свет...
Нестерпимым дышит жаром
Лютый змей на небесах,
Покоряясь ярым чарам,
Мир дрожит в его лучах ..

Что прежде было тихой скорбью — стало буйством духа и страстью:

Ты. буйный ветер, страсть моя!
Ты научаешь безучастью,
Своею бешеною властью
Отвеяв прелесть бытия.

По-прежнему «мечта» кажется единственной утешительницей, но как изменился и ее облик! То, на что лишь робко смели намекнуть первые песни («Ее чертоги — место пыток»), теперь сказалось с крайней силой, засверкало сиянием застывшей молнии:

На лбу ее денница
Сияла голубая...
....
Хотелось ей неволи.
И грубости лобзаний,
И непомерной боли
Бесстыдных истязаний...

И, стихотворение за стихотворением, стих за стихом, Сологуб, в уверенных словах, являет перед нами *свой* отныне навек существующий мир. Он говорит о «земном ненужном строе», «застенке томительных дней», о «низменной земле», по которой «влачится» ручей, об обставших вокруг, «всегда безмолвных», предметах, и все эти эпитеты, столь простые с первого взгляда, образуют крепкую и неразрывную систему мысли, какую-то ловчью сеть, в которой неизбежно запутывается читатель. Сологуб умеет «ловить человеков», нельзя безнаказанно читать пристально его стихи: они покоряют.

После «Собрания стихов» следовало несколько маленьких книжек, скорее отдельных «циклов стихотворений», чем самостоятельных книг, открывавших ту или другую сторону миросозерцания поэта. Новым завоевательным этапом была «8-ая книга» стихов: «Пламенный круг». По многим причинам эту книгу надо признать самой прекрасной из книг Сологуба. Как то всегда бывает у поэтов, которым уже не надо искать, но лишь выражать найденное и осознанное, — стих Сологуба достигает здесь высшей красоты. Здесь его самые певучие песни, изысканные по построению, превращающиеся порой в нежную музыку (таковы, напр<имер>, две колыбельных песни, «Степь моя», «Любовью легкою играя» и многие другие). В то же время здесь и самые совершенные его создания, иногда повторяющие уже сказанное им раньше, но с новой силой и с новой страстью.

Смысл книги, кажется, выражается стихами:

Наивно верю временам,
Покорно предаюсь пространствам...

После буйного мятежа предыдущей поры Сологуб, не отказываясь ни от одного из своих утверждений, готов здесь «принять мир» как неизбежно данное, согласен видеть всю его красоту, хотя бы и обманную. Из этого возникают пленительные песни о «прелестях земли» и о «очарованиях жизни». Об этом

говорит и вступительное стихотворение, где рассказывается, как некогда первозданного человека, Адама, покинула его небесная подруга, Лилит, и как поселилась с ним земная Ева. Славословиям этой Евы и всего в мире, связанного с ней, и посвящена книга. И сам поэт, не без изумления, спрашивает:

Холодная, жестокая земля!
Но как же ты взрастила сладострастье?

А тем, кто решился бы напомнить Сологубу о дерзаниях его прежних книг, он мог бы ответить своим стихотворением «Ангел благого молчания», который —

...отклонил помышления
От недоступных дорог.

Но эта просветленность «Пламенного круга» — вторичная; она добыта ценой тяжкого омрачения прежних созданий. Поэтому нет в ней ничего легкого, поверхностного: это — просветленность страшной глубины, которую все же пронизывает слишком яркий луч. Может быть, ничто не покажет так отчетливо громадное расстояние, отделяющее последние стихи Сологуба от ранних, как сравнение двух его стихотворений, равно посвященных качелям, из которых одно вошло в первую книгу стихов, другое — в восьмую. В первом стихотворении качели повешены где-то среди «угомонившихся берез», в тени сада, «в истоме *тихого* заката»:

То в тень, то в свет переносились
Со скрипом зыбкие качели...

Во втором стихотворении качели качает «мохнатою рукой» черт, качает их «в тени косматой ели, над *шумною* рекой»:

Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Доска скрипит и гнется...
....
Хватаюсь, и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд...

Мир осложнился для Сологуба, его явления углубились, в каждом из них открылся многообразный, символический смысл...

После «Пламенного круга» новые стихи Сологуба развивали те же темы и вполне раскрывали то же его мировоззрение.

Нет сомнения, что Сологуб — поэт крайне субъективный, хотя он далеко не всегда говорит от первого лица. В конце концов единственная задача его поэзии — раскрытие своеобразного миросозерцания поэта. И рисуя картины природы, и рассказывая свои странные баллады, и повторяя античные мифы, — Сологуб занят лишь собой, своим отношением к миру. Когда, напр<имер>, Шиллер рассказывал о Кассандре, он заботился прежде всего о том, чтобы как можно вернее воссоздать образ древней пророчицы. Сокровенным смыслом сказания остается у него тот, который был затаен в античном мифе. Сологуб, рассказывая нам о Тезее, о Ариадне, о медном змие, ищет лишь примеров, ярких образов, выражающих его субъективные воззрения на мир и на жизнь. Все стихи Сологуба — только такие примеры, что и делает его поэзию символической, в самом истинном смысле слова.

Только помня это основное назначение поэзии Сологуба, можно верно оценивать его стихи. Все выражения, которыми он пользуется, все его образы имеют целью не столько объективное изображение явлений, событий, чувств, сколько их субъективное истолкование. Надо постоянно иметь в виду особенности Сологуба как индивидуальности, как мыслителя, чтобы вполне понимать его стихи. Только тогда, напр<имер>, становится ясно, почему у Сологуба дороги всегда «пыльные», «жестокие», «обманчивые», «злые», почему у него солнце — «лютый змей» и «дракон», почему у него чуть ли не все дни оказываются или «туманными», или «нагими, горючими» и т. д. В целом, поэзия Сологуба — это строгие гимны во славу Смерти, избавительницы от тяготы жизни, и ее двух заместительниц — Мечты и Сна, при жизни уводящих на берега Лигоя, текущего под лучами звезды Маир. Только изредка эти гимны прерываются негромкими песнями о земле и ее отвлекающих соблазнах.

Эти особенности поэзии Сологуба определяют и ее слабые стороны. Так, напр<имер>, слишком занятый «конечным» смыслом своих созданий, Сологуб порой пренебрежительно относится к внешним картинам, создаваемым им, и это приводит к бледности и противоречивости образов. В его стихах встречаются эпитеты, которые имеют смысл как иносказание, но которые кажутся нелепыми, если их взять в прямом смысле. Он, напр<имер>, может серьезно говорить о земле: «неистощим твой дикий холод», словно забывая, что «много было весен». С другой стороны, слишком занятый жаждой выра-

зить свое понимание мира, Сологуб иногда забывает первый долг поэта — говорить образами, картинами и музыкой слов, и начинает отвлеченно излагать свою философию. Одно его стихотворение начинается таким утверждением:

Разъединить себя с другим собою
Великая ошибка бытия.

Зачем надо такие мысли излагать стихами? Наконец, слишком многие стихотворения Сологуба — не более как эскизы, случайно набросанные строки, не дающие целостного впечатления. Они — как бы отдельные строфы из какого-то ненаписанного произведения, и, читая их, нельзя не жалеть, что Сологуб часто спешит бросить на бумагу мелькнувшую поэтическую мысль, отрывки чувств, а не стремится всегда синтезировать пережитое и передуманное в художественно завершенном создании. (Таковы, напр<имер>, «Изнемогающая жалость», «Моя усталость выше гор», «Вчера в бессилии печали» и мн. др.) Впрочем, не действительно ли это — отдельные строфы той единой, стройной поэмы, которую образует вся поэзия Сологуба?

1910

ЮЛИЙ АЙХЕНВАЛЬД

ФЕДОР СОЛОГУБ

(Его стихотворения)

Нет внутренней обязательности в том, чтобы стихотворения Сологуба были именно стихотворениями. Они по духу своему не оправдывают своей формы, они, большей частью, лишены, чужды живой образности, — но зато проникнуты холодной красотою безнадежной мысли, и жутким звоном звенит их отточенный клинок.

В самой форме человеческого стиха есть что-то мироутверждающее; стих сам по себе, это — уже оптимизм, признание вечных ценностей и красоты: стихом приобщает себя поэт к изначальной гармонии сфер и в стройную музыку жизни привносит свою ноту, собою дополняет общий концерт бытия. Властитель ритма, слагатель рифм не только соглашается с творчеством Бога, но и продолжает его. На всяческую прозу, внешнюю и внутреннюю, мы вынуждены и обречены, ею говорим поневоле, в ней мы неповинны, и если удовлетворяемся ею, этим скудным

орудием повседневности, то это и значит, что мы от мира ничего не хотим, ничего не ждем и только плетемся по дороге, на которую нас послало чье-то неведомое повеление. Проза — это сила инерции: проза — это покорность и пессимизм; с нее и нельзя много спрашивать; на ее языке говорят рабы, безропотные исполнители чужого поручения. Но если, не довольствуясь ею, ее отвергая, мы по собственному изволению начинаем писать стихи, то это значит, что мы благоговейно приняли мир, склонились молитвенно перед святынями его храма и готовы воспеть ему свои особые псалмы. Поэзия — это почин, но разве пессимист начинает, разве не в том его темная сущность, что он раз навсегда отказывается от инициативы и опускается в мертвые воды глубокого равнодушия? Пессимист не продолжает; его не влечет и не тешит новое, и потому его стихия — проза. Стихами же, в прозрении идеала, над миром духовно воздвигается мир другой. В них может быть, конечно, отчаяние, и скорбь, и насмешка, но в основе их непременно лежит утверждение, и самое ядро их — непременно живое. Ибо поэзия — это жизнь и проза — это смерть.

Вот почему замечательные стихотворения Сологуба производят сильное впечатление своей сокровенной противоречивостью: они — стихи смерти. Зачем понадобилась смерти поэзия? И то, что автор не механически слил, а, по крайней мере, сделал попытку синтезировать живое и мертвое, то, что у него с жизнью смерть переплела свои жесткие, свои жуткие нити, — это и составляет существенный признак его своеобразного творчества. И, может быть, именно потому в его стихотворениях есть неумолимая законченность, беспощадно сжаты, одновременно просты и торжественны, зловещи и скупы его четкие и умные строки, и он больше ни слова не скажет, не пояснит, избегает дополнений, и даже потенциально не открываются здесь дальнейшие перспективы, — их и нет: все заклято, очерчено, заколдовано. Живое бесконечно, мертвое ограничено. Законченности смерти не может одолеть никто.

В чертоге смерти у Сологуба нельзя искать первых элементарных чувств, поэтической свежести сердца. Если какая-нибудь первобытная, ранняя эмоция, утренняя заря духа, все-таки проникнет в его стихотворения, то лишь после того, как она пройдет через горнило сложности, рефлексии, моральной усталости: это возвращается на родину блудный сын, но только нет у него уже той психологии, которая позволила бы ему встретить родину в ее наивной красоте, в ее младенческом обаянии. Может быть возвращенный рай, но не может быть возвращенного Адама: будет Адам уже не прежний, и мир будет расстилаться перед ним другой, и он потеряет своего Бога, перестанет молить-

ся Ему в детской чистоте помыслов. Сологуб — именно поэт небожьего мира. Он утратил способность молитвы, и безнадежно пожелтели, закрылись для него когда-то заветные страницы молитвенника·

Опять сияние в лампаде,
Но не могу склонить колен
Ликует Бог в надзвездном граде,
А мой удел — унылый плен

С иконы темной безучастно
Глаза суровые глядят.
Открыт молитвенник напрасно:
Молитвы древние молчат, —

И пожелтелые страницы,
Заветы строгие храня,
Как безнадежные гробницы,
Уже не смотрят на меня

Даже цветы в его стихотворении ропщут на себя за то, что они служат молебны и пред Господом ладан кадят: зачем курить благоухания земли, мировой ладан, Тому, Кто позабыл о мире и от творческих дел опочил?

Не хочет жизни Бог,
И жизнь не хочет Бога

В противоположность Лейбницу Сологуб верит не в предустановленную гармонию, а в предустановленную дисгармонию. Ветхий Адам, человек безмерной старости, глубоких утомлений и томлений, он давно разочаровался в том, что, говоря его же словами, можно достигнуть земли, «вотще обетованной», обманно-обетованной, что когда-нибудь пилигриму станет близок его святой Иерусалим. И в другую сторону от Иерусалима, вспять пошел Сологуб, поэт небожьего мира, жрец предустановленной дисгармонии. И потому искажена всякая любовь его, и злою силой, мечом отравленным пронзены у него каждое чувство и каждый образ. Он любит, например, детей, «блаженно-невинных детей», истоки жизни, и тихо напевает о них; но вслушайтесь, и это окажется «простою песенкой», страшно непростою песенкой о том, как

Под остриями
Вражеских пик
Светик убитый.

Маленький мальчик,
Миленький мой.
Ты не вернешься.
Ты не вернешься домой.

Били. стреляли, —
Ты не бежал.
Ты на дороге.
Ты на дороге лежал

Конь офицера
Вражеских сил
Прямо на сердце,
Прямо на сердце ступил

Маленький мальчик,
Миленький мой,
Ты не вернешься.
Ты не вернешься домой.

Когда он убаюкивает ребенка лунной колыбельной, то кажется, что у колыбели стоит Мефистофель и поет свою губительную серенаду, свое баюшки-баю о тех, про кого умалчивают детям и мать, и ангел-хранитель, о тех, кто не выдерживает жизни и топится в реке, о тех, кто «поникнет и не крикнет, и не пикнет, и поникнет в глубину». Или когда к младенцу придет сон, то сестра сна, та, имени которой не хочет называть Ночь в сказке Метерлинка, будет стоять у окна и шептать: «Я приду», — усталая, больная оттого что она целый день косила; значит, смерть больная, но не умирающая, смерть бессмертная, просит помощи у брата-сна, т.е. чтобы он за нее сделал ее дело и сам навеки усыпил ребенка; ибо завистливой вечности отдает ребенок ту каплю, которую он хотел было испить; не брезгает вечность отнимать у младенца и посылает за ним скорую смерть, — недолго будет посланная дожидаться у окна: для ребенка умирающего так коротко расстояние между началом и концом, между альфой и омегой...

Сам одержимый смертью, всего детского и доброго на свете касающийся мертвым прикосновением, Сологуб окружен нечистой силой: вьются кругом него серые недотыкомки и всякая нежить, которую может сглазить человеческий глаз. И в трудные минуты жизненных катастроф поэт обращается к Дьяволу, царю нечисти и нежити.

Когда я в бурном море плавал
И мой корабль пошел ко дну,
Я так воззвал. «Отец мой, Дьявол.
Спаси, помилуй, — я тону

Не дай погибнуть раньше срока
Душе озлобленной моей:
Я власти темного порока
Отдам остаток черных дней».

И Дьявол взял меня и бросил
В полуистлевшую ладью
Я там нашел и пару весел,
И серый парус, и скамью.

И вынес я опять на сушу
В больное, злое житие
Мою отверженную душу
И тело грешное мое

И верен я, Отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И ты меня из бездны спас.

Тебя, Отец мой, прославлю,
В укор неправедному дню;
Хулу над миром я восславлю
И, соблазняя, соблазню.

Он сдержал свое слово, этот верный монах Дьявола. Он движется под знаком зла. Ему везде чудится оно, и только оно. Даже луна, это — серп, который занесен над миром. Все грозит, все убивает, все дышит коварной смертоносностью. Оттого у Сологуба не много таких стихотворений, в которых не повторялось бы по нескольку раз, с утомительной и однообразной, как вся его поэзия, настойчивостью, слово *злое*. К людям и предметам, к природе и жизни, к осязательному и отвлеченному прилагает он этот неизменный, этот мрачной красотою украшающий эпитет. Но в сущности, только потому на все другое испускает Сологуб его черные лучи, что сам он,.сын Дьявола, — злой. От себя заключает он к остальному. Он уподобляет себя больной и злой змее; все тайное сделавший яв-

ным, все интимное — общим, откровенный до спокойного цинизма, он раскрывает злые пропасти своей души. Он любит блуждать над трясиною дрожащим огоньком, он любит за липкой паутиною таиться пауком, он любит летать в поле оводом и жалить лошадей, он любит быть явным, тайным поводом к мучению людей. Злой, больной, безумно-мстительный, олицетворение тяжелой зависти ко всему и ко всем, ничего не благословляющий, усталый от самого себя, он, правда, томится и сам; он знает, что жизни и счастья не стоит.

Судьба дала мне плоть растленную.
Отравленную кровь,
Я возлюбил мечтою пленною
Безумную любовь.

Мои порочные томления,
Все то, чем я прельщен,
В могучих чарах наваждения —
Многообразный сон

Но он томит больной обидою;
Идти путем одним
Мне тесно. Всем во всем завидую
И стать хочу иным.

Раб своей порочной мечты и больных вожделений, он «порочно-полночно» сгорает и в кошмарных грезах, в галлюцинациях крови и стонов, собирает мертвые плоды своей растленности. Но ему нерадостно в порочности и демонизме, он не знает огненной ласки зла, упоения страстью; его грех не имеет пафоса. Наоборот, преобладающее настроение его опустошенного сердца, это — уныние, скука, гнетущее сознание жизненного бездорожия и бесцельности всех дорог. Ему не страшно сравнивать свой гений с унылым зверобоем, который вырастает на серой куче сора у пыльного забора по улице глухой. Он эпиграфом к себе мог бы поставить свои слова «не надо жить». Свое сердце он мог бы сравнить с какою-то скучной кукушкой, которая звуками своего монотонного биения сопровождает и хоронит его ненужные дни и ночи, их мерно отсчитывает и отпевает. «Скучная лампа горит, скучная книга лежит». Ему скучно, как пушкинскому Фаусту, и даже все необыкновенное, ужасное, страстное не может вывести его из этой апатии. Скучно даже убивать, скучно нюрнбергскому палачу, которому надоела его кровавая профессия; скучно все, и хорошо бы навеки отдаться лени, единственно-достойной и желанной супруге:

Лень надоевшую работу
Не давала мне кончать
И постылую заботу
Порывалась отогнать.

Так любимая супруга
К трудолюбцу подойдет,
И смеется, и зовет,
И торопит час досуга.

Другие люди не могут рассеять этой скуки, этой удручающей, нелегкой лени, потому что «быть с людьми — какое бремя!», «Свобода только в одиночестве». Не может быть не то что друга, но и просто другого, — у того, кто покинут самим собою. И своя душа, и чужая «узка, темна и несвободна, как темный склеп».

Итак, он не знает, для чего и чем живет; он не знает даже, живет ли он вообще. Поблекло его самоощущение. «Росой печали» покрылись его мертвые поля, «дымным ладаном» окутано его призрачное существование, и все чувства как-то понижены, и все они находятся у самой границы погасания. Хотя он и много рассказал о себе, но все-таки едва-едва приоткрыл двери своей умирающей души, и замечательно, что хотя он лирик, только лирик, не испытываешь такого впечатления, чтобы от его стихов исходил ток непосредственного лиризма; он себе самому — чужой и внешний, он самому себе только снится.

Небожий, безбожий мир однообразной канителью развертывается перед нами, и его освещает злое солнце. Оно — чудовище, Змий-Дракон. Оно рождает для того, чтобы убить. Сумасшедшее солнце, космический безумец мечет огненные, яростные стрелы. Кажется, будто оно лучами своими ласкает и целует, но не верьте ему: это — Иудины лобзания солнца. Сын солнца, неблагодарный к нему, изменник отцу, Сологуб восстал против него, темный и холодный. Оно — его личный враг, мешающий его ночным волхвованиям. Но не спрячешься от знойного змия, — он проникает в нашу кровь, зажигает ее красным полымем, и не солнце ли, которое вообще угнетает своей чрезмерностью, — не оно ли раскаляет, распаляет нашу любовь до извращения и одуряет нас до убийства и самоубийства своими чудовищными цветами?

Отказываясь и за себя, и за других от солнца и жизни, Сологуб видит в ней огромную темницу, злое сновиденье, непроницаемые стены. День, это — только бледная тьма, белая ночь природы; недаром ее пугается лилия, покрытая

смертной бледностью. Есть в мире белое; но белое Сологуба, это — лилия больная, смертная бледность; его белое, это — испуганное, умирающее; оно получилось от того, что выпил из живого кровь и жизнь красногубый вурдалак. Белое говорит ему о черном, и белый цветок зовет его в темную землю. Его белое, — это именно та женщина с молчаливыми бледными устами, про которую он говорит:

Ты *незаметно* проходила,
Ты не сияла и не жгла,
Как незажженное кадило
Благоухать ты не могла.

Ночь откровеннее, и лучше было бы жить ночью, познать «радостную науку ночного бытия» и никогда не откидывать полога, не просыпаться от смерти и сна, чтобы не приходилось обнимать «дебелый стан» жизни. Эта тяжелая, грузная жизнь — та Ева, которая заменила для Адама его первую жену — легкую Лилит; с тех пор нет больше этой прекрасной волшебницы, да и не призраком ли и видением была она когда-то?

«Кругом обставшие меня безмолвные предметы, предметы предметного мира» — невыносимый застенок, и они только стесняют меня, делают еще уже зверинец, в котором люди, пленные звери, голосят как умеют. Узость мира, заранее предначертанные теснины вселенной еще более усиливают ощущение скуки. Вся огромная предметность не радует.

Так Сологуб совершил над собою духовное самоубийство, и вот он мертв, — а скучно смерти посреди живого. Ему не надо, Сологубу, ждать охлаждения мирового солнца, потому что он упредил космический процесс и давно погасил свое солнце душевное. Больше, чем кто-либо из людей, испытывает он ту глубокую трагедию, что не одновременно охлаждаются солнце внешнее и солнце внутреннее, и в то время как природа и, быть может, собственное тело продолжают цвести и жить, душе, в ее цветущем окружении, уже больше нечего делать. Одинокий из одиноких, нерадостный и угрюмый, поэт-призрак, он похож на выходца из могилы, на мертвеца баллады, на того, кто был возлюбленный Леноры.

Оттого он и не боится смерти. Ведь бояться ее может только живой, в самом страхе смерти есть жизнь, — а у Сологуба ее, беспримесной, нет. Он знает «волю к смерти», он ищет ее, желанной Царь-Девицы, своей подруги. Любовник смерти, он приветствует ее, потому что именно она разрушит порочную природу, в которой он томится, и воззовет к новому творчеству, вернет свободу. Путь к святости ведет через смерть. От ее дыхаюи исчезает зло. Только когда

погаснет для нас солнце, — засияет потусторонняя Звезда Маир, и лишь тогда грешный Адам освободится от своих порочных томлений. На той стороне бытия нет порока, нет зла, потому что, оказывается, зло внес в мироздание сам человек. Прежде чем загорелись светила и возникли миры, боги позвали к себе на совещание меня, человека, — я был приобщен к плану мира. И что же?

Но на благое и злое
Я разделил все дела.

Боги во гневе суровом
Прокляли злое и злых,
И разделяющим словом
Был я отторгнут от них.

Человек — Демиург зла.

Вообще, пленник бытия, я оказываюсь в то же время его единственным создателем и властелином. Сологуб понимает себя как вседичность. Есть только мое великое *я*, моя всемирная душа. Я сам сотворил природу; она — только послушное тело моей души. Мир, это — лишь разнообразные воплощения единого *я*, которое на протяжении веков надевало разные личины.

Я — все во всем, и нет Иного.
Во Мне — родник живого дня,
Во тьме томления земного
Я — верный путь. Люби Меня.

И раб, и Фрина, и собака, все то, что было, есть и будет, это — лишь мои аватары, мое прохождение через «пламенный круг» бытия, от «детства голубого» и до «старости седой». Всякая отдельность, время и пространство — только ложь и «мгновенный дым».

Идея всеединого *я*, исповедание солипсизма, конечно, не представляет новости для философского сознания, и для того чтобы Сологуб этой «литургией» Себе производил действительно сильное впечатление, идея должна бы претвориться у него в непосредственное чувство, он должен бы реально ощутить себя вселичностью. Такое чувство и настроение как будто не слышится у Сологуба. И, во всяком случае, в своей ли теоретической или действительной вселичности он потерял самого себя, свою незаменимую внутреннюю индивидуальность. У него голос без тембра, как цветы у него — без запаха. И присуща ему духовная тусклость, но тусклость не жалкая. Для того чтобы вновь найти себя в бесчисленных

своих перевоплощениях или попросту в пустыне своей скуки, в своем сердце, выжженном дотла Змием вселенной, для того чтобы вернуть свое самоощущение, ему нужно что-нибудь резкое, извращенное, то, что нарушает обычную монотонность жизненных повторений. Ему нужна боль, своя или чужая, — боль, соединенная с любовью. Он так часто говорит о бичеваниях женщины, о «бесстыдных истязаниях»; виночерпий крови, он устраивает себе оргии садизма, «багряный пир зари», и только та страсть для него сладка, которая соединена с жестокостью. У него есть и философское объяснение для этого «таинства» боли: именно, боль для него — искупление наслаждения. На костер боли возводит он чувственность, и последняя сгорает в ее огне, и крик страдания, победившего наслаждение, искупительной молитвой взлетает к небу.

К такой безотрадности, к такому отвержению солнца и любви, к черному венчанию со смертью привели Сологуба вовсе не какие-нибудь необычайные горести и невзгоды: нет, он рассказывает о себе самую обыкновенную историю жизни, и оказывается, у него были, как у всех, кусочки счастья, те кусочки солнца, упавшего на землю, с которыми бельгийский поэт сравнивает бриллианты. Он говорит, Сологуб:

Маленькие кусочки счастья, не взял ли
я вас от жизни?
Дивные и мудрые книги,
таинственные очарования музыки,
умилительные молитвы,
невинные, милые детские лица,
сладостные благоухания
и звезды — недоступные, ясные звезды!
О фрагменты счастья, не взял ли я
вас от жизни?
Что же ты плачешь, мое сердце, что ж
ты ропщешь?
Ты жалуешься:
«Кратким
и более горьким, чем сладким,
обманом промчалась жизнь,
и ее нет».
Успокойся. сердце мое, замолчи.
Твои биения меня утомили.
И уже воля моя отходит от меня.

Быть может, именно потому, что счастье, земные кусочки солнца все-таки были ведомы поэту, иногда в его тьме и безжизненности начинает брезжить какой-то свет, и нас утешают мыслью, что мы, существа земли, на время пробудившись для человеческого бодрствования, вернемся в Господень сон. Дверь земного заточения будет открыта, и обещающе, торжественно, религиозно звучат эти дивные стихи:

В твоей таинственной отчизне,
В краю святом,
Где ты покоился до жизни
Господним сном,
Где умирают злые шумы
Земных тревог, —
Исполнив творческие думы,
Почиет Бог.
И ты взойдешь как дым кадильный
В Его покой,
Оставив тлеть в земле могильной
Твой прах земной.

Но освобождающие и светлые идеи Сологуба — только идеи, и его теплое — только воспоминание мертвеца. Его настоящее безжизненно, и что бы он ни сулил в будущем, какие бы просветы ни виднелись в его гробовой мгле, пред вами все же — только зрелище оригинального человеческого саркофага.

Правда, по своей мертвой дороге, по своей навьей тропе, Сологуб не сумел пойти до конца, и он сам не принял своей порочности. Русский Бодлэр, он, подобно своему прототипу, тоже не мог осилить того первородного и прирожденного мещанства, которое заставляет нас, хотим мы этого или нет, с миром соглашаться и его принимать. Жизнь, это — утверждение, а не отрицание. Сам поэт наш почти не живет, он — какой-то несуществующий, его почти нет в живых; но покуда теплится хотя бы последний бледный огонек его существования, зажженный тем Змием, которого он тщетно хочет ненавидеть, до тех пор и он соглашается, и он волей-неволей принимает. Он не постигает — отчего, но знает наверное, что «в природе мертвенной и скудной воссоздается властью чудной единой, духовной жизни торжество». И как отдаленное дуновение чего-то давнишнего, юного, покинутого, но не покинувшего, как воспоминание, реющее над гробницей, и то живое, что снится мертвому, как тени бытия, всколыхнувшие бесстрастную гладь Нирваны, доносится безгрешное мечтание, невинный поцелуй и все эти «тоненькие руки и ноги милые твои».

И дети, «праздничные дети», и сестра, и многообразные цветы, в которых дышит творческая тайна, — все это доигрывает, хотя и на скрипке смерти, свои последние мелодии, и слышится песнь умиления, хвалы и благодарности.

Что было прежде силой косной,
Что жило тускло и темно,
Теперь омыто влагой росной,
Сияньем дня озарено, —

И в каждом цвете обаяньем
Невинных запахов дыша,
Уже трепещет расцветаньем
Новорожденная душа.

Не в том ли счастье и тайна человеческой жизни, что душа всегда остается новорожденной? Она не стареет, и в какие бы «истлевающие личины» мы ни облекали ее, она всегда сохранит под ними свой подлинный младенческий вид, свое неизменно чистое лицо.

Так не подкуплен ли и не покорен ли сам Сологуб Змием вселенной? И не оттого ли хочется ему, поклоннику Диавола, и арф Давида, и притчей Соломона, и Матери Пресвятой Богородицы? И не оттого ли с тоской и радостью вспоминает он утро дней благоуханных, когда божественная сила дарила ему окрыленные мечты, вереницы новозданных назаретских голубей, подобных тем, которых из влажной глины создавал и оживлял ребенок-Бог в бедной хате, в Назарете? И не оттого ли, в широкой безбрежности своего несуществования, своего духовного отсутствия из мира, в своем вездесущии, которое на самом деле есть именно это отсутствие, во вселенной-чужбине, Сологуб испытал так много тоски по определенному урочищу, по родному месту, по своей родимой России? В царстве ледяного кошмара, на холодных вершинах уныния и сомнения, не мог остаться Сологуб.

О Русь! в тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О родина моя!

....

Не заклинаю духа злого
И, как молитву наизусть,
Твержу все те ж четыре слова:

«Какой простор! Какая грусть!»

....
Печалью, бессмертной печалью
Родимая дышит страна.
За далью, за синею далью,
Земля весела и красна.
Свобода победы ликует
В чужой лучезарной дали,
Но русское сердце тоскует
Вдали от родимой земли.
В безумных, в напрасных томленьях
Томясь как заклятая тень,
Тоскует о скудных селеньях,
О дыме родных деревень.

«Милее нет на свете края...» Значит, есть привязанность к какой-то одной точке вселенной; значит, не только мир принимаешь, но и прикрепляешь свое сердце к матери, к родине, к великой и святой первобытности. О ревнивой меже, разлучнице людей, скажешь и о том, как

Тепло мне потому, что мой уютный дом
Устроил ты своим терпеньем и трудом:
Дрожа от стужи, вез ты мне из леса хворост,
Ты зерна для меня бросал вдоль тощих борозд,
А сам ты бедствовал, покорствуя судьбе, —
Тепло мне потому, что холодно тебе.

Но далеко ушел Сологуб от первобытной простоты; и он несчастен, потому что презрел «напиток трезвый, холодный дар спокойных рек» и зажег для себя неозаряющие огни чрезмерного сознания, которые туманят хмелем запретного вина, как это он сам выразительно и прекрасно говорит:

....
Но кто узнал живую радость
Шипучих и колючих струй,
Того влечет к себе их сладость,
Их нежной пены поцелуй.

Блаженно все, что в тьме природы,
Не зная жизни, мирно спит, —

Блаженны воздух, тучи, воды.
Блаженны мрамор и гранит.

Но где горят огни сознанья,
Там злая жажда разлита,
Томят бескрылые желанья
И невозможная мечта.

Передав миру свою печальную повесть, освободил ли он этим и облегчил ли больную душу свою? Мы этого не знаем. И только одно несомненно: пусть когда-то он видел свет и Бога, пусть когда-то хотел их, — но теперь изнеможенное, усталое, охладевшее сердце уже не бьется им навстречу. И жуткое, и полночное впечатление производит его чуждое, его жестокое творчество, его голос без тембра, его лицо без физиономии, его лунные безуханные цветы. От полного уничтожения спасает Сологуба присущее ему сознание единства миров — мировой жизни и мировой смерти; но все же, взятые в своей общей сути, в своем конечном смысле, его стихи, это — ледяной дом, ледяной гроб, мимо которого мы проходим не сочувствующие, не взволнованные симпатически, и с тем невольным отчуждением, какое в живых порождает хотя бы и красивая, хотя бы и глубокая Смерть, хотя бы и умный Упырь, на которого так похож Федор Сологуб.

От предложенной характеристики Сологуба не отказывается автор и теперь, много лет спустя после ее появления в первом издании «Силуэтов». Но справедливо признать, что в последние годы поэт стал иным. Едва ли назвал бы он ныне Дьявола своим отцом. Новейшее творчество его, ничего не утратив в своей изумительной четкости, в своей исключительной красоте, движется под новыми знаками — благословения, умиления, тихой печали. Оно уже не окрашено в цвет богоборчества; оно часто говорит о «милой» земле и о «милом» Боге — «с Тобой мы больше не заспорим» — о пленительных веснах и небе голубом. Каким-то великим горем Бог посетил его скорбную душу, но это не озлобило, а только большей покорностью озарило его старое сердце. О старости своей не однажды поминает он: «еще недолго мне дышать, стихи недолго мне слагать». И неотразимо действует на нас, что как свою последнюю любовь, свою последнюю мечту старый поэт воспевает «Россию бедную свою»:

Под вечную вступая тень,
Я восхвалю в последний день
Россию бедную мою.

Он остался верен России, своей Дульцинее, ее верный Дон Кихот. Он упрямо верит «святой мечте» возрождения, он стоит у дверей Дульцинеи,

Настанет день, и Дон Кихоту
Отворит Дульцинея дверь.

Певец России на развалинах России, на закате своих дней, не веря в закат ее дней, с глубокой личной раной в душе, но в настроениях молитвенности и упования, так проходит он свои последние дороги и взором грусти и ласки озирает Божий мир и, свою теперь опальную у Бога, но тем более родную родину.

И прощальным взглядом оглядываясь на пройденную жизнь и свои дела в ней, он сознает, что эти дела — слова.

Когда меня у входа в Парадиз
Суровый Петр, гремя ключами, спросит:
«Что сделал ты?» — меня он вниз
Железным посохом не сбросит.

Скажу: «Слагал романы и стихи
И утешал, но и вводил в соблазны,
И вообще, мои грехи,
Апостол Петр, многообразны.

Но я — поэт». И улыбнется он,
И разорвет грехов рукописанье.
И смело в рай войду, прощен,
Внимать святое ликованье.

Поэту подобает рай. И для поэзии, для слова, для стихов просит Сологуб у «милосердного Бога» еще «жизни земной хоть немного», чтобы сложить новые песни. Он еще не дожил, потому что еще не допел. Так думают и его читатели.

ПРИМЕЧАНИЯ

Очарования земли

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 20 т. Т. 17. Очарования земли: Стихи 1913 года. СПб.: Сирин, 1914. Большую часть этого тома заняли триолеты, в основном здесь впервые опубликованные. Их 178, разделенных на 19 циклов. Размышляя о восьмистишиях Сологуба, А.А. Измайлов отметил их особенность: «Это заметки из дневника поэта, который записывает приходящие ему в голову звенящие строки, гуляя, читая газету, проезжая в вагоне поезда» (Русское слово. 1914. 7 июня). И действительно, писались они главным образом во время путешествия по югу России, предпринятого поэтом вместе с Ан. Н. Чеботаревской и И. Северяниным в 1913 г. Они читали стихи, а Сологуб выступал также с лекцией «Искусство наших дней» в 39 городах. Поездка широко освещалась местной и центральной прессой.

«Земля докучная и злая...» (с. 8). Заветы. 1914. № 3.

«Как ни грозит нам рок суровый...» (с. 9). Заветы. 1914. № 3.

«Вздыхает под ногами мох...» (с. 10). Сирин. Сборник первый. СПб., 1913.

«Сердце дрогнуло от радости...» (с. 10). Сирин. Сборник первый. СПб., 1913.

«Рудо-желтый и багряный...» (с. 11). Заветы. 1914. № 3.

«Каждый год я болен в декабре...» (с. 12). Заветы. 1914. № 3.

«Что может быть лучше дороги лесной...» (с. 15). Сирин. Сборник первый. СПб., 1913.

«Только будь всегда простою...» (с. 36). Нива. 1913. № 42. Этот триолет и опубликованный в «Ниве» вслед за ним «В моем бессилии люби меня...» были переработаны в стихотворение «В моем безумии люби меня...», вошедшее в сборник «Одна любовь».

«Пройдут все эти дни, вся жизнь совьется наша...» (с. 42). Любовь к трем апельсинам. 1914. № 3.

«Я возвращаюсь к человеку...» (с. 71). Очарованный странник. 1913. № 2.

«Но не затем к тебе вернулся...» (с. 71). Очарованный странник. 1913. № 2.

«Розы Вячеслава Иванова...» (с. 75). Имеется в виду книга Иванова «Rosarium» из его сборника «Cor ardens» (1911). *Иванов* В И. — см. примеч. к стих. «Вячеславу Иванову» в т. 7.

«Мерцает запах розы Жакмино...» (с. 75). *Кузмин* Михаил Алексеевич (1875—1936) — поэт, прозаик, драматург, композитор.

«Зальдивши тайный зной страстей, Валерий...» (с. 76). *Валерий* — В.Я. Брюсов. *Ты назвал сам любимый свой цветок..* — Имеется в виду цикл стихотворений Брюсова «Криптомерии» из его сборника «Chefs doeuvres» (1895).

«Дарованный тебе, Георгий...» (с. 76). *Георгий* — Г.И. Чулков (см. о нем примеч. к с. 477. Т. 6). *...Ночной, таинственной тайгой // Цветок...* По признанию самого Чулкова (Чулков Г. Годы странствий. М.: Эллис Лак, 1999. С. 167), речь идет о написанных им стихотворениях о тайге, высоко ценимых Сологубом.

«Будетлянка другу расписала щеку...» (с. 76). *Будетляне, кубофутуристы* — члены литературного объединения «Гилея», основанного в 1912 г. В стихотворениях этого цикла Сологуб выразил свое отношение к футуризму.

«Лиловато-розовый закат...» (с. 80). Дневники писателей. 1914. № 1.

«Жизни, которой не надо...» (с. 83). *Съевший в науках собаку...* — Имеется в виду биолог, нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников (1845—1916), считавший молочнокислые продукты важнейшим средством в борьбе со старением организма.

«Мудрец мучительный Шакеспеар...» (с. 84). Альманах «Гриф». М., 1914 (под названием «Сонет»). *Шакеспеар* (Shakespeare) — У. Шекспир. Стихотворение написано к юбилею великого английского драматурга и поэта, к 350-летию со дня его рождения, которое отмечалось 23 апреля 1914 г. *Макбет, Гамлет, Отелло* — герои одноименных трагедий Шекспира. *Калибан* — персонаж его драмы «Буря». *Король Леар* (Лир) — герой одноименной трагедии Шекспира. *Регана, Гонерилья, Корделия* — дочери Лира. *Шейлок* — герой драмы Шекспира «Венецианский купец».

Александру Тамамшеву (с. 87). *Тамамшев* Александр Артемьевич (1888—1940?) — поэт, один из молодых друзей Сологуба; брат Н.А. Тамамшевой, переводчицы, приятельницы Ан. Н. Чеботаревской.

«Еврей боится попасть в шеол, как христианин в ад...» (с. 91). *Шеол* — в иудаистической мифологии «нижний» мир, противоположный небу, преисподняя, царство мертвых.

Жуткая колыбельная (с. 97). Биржевые ведомости. 1913. 5 ноября. Стихотворение написано под впечатлением проходившего в сентябре — октябре 1913 г. суда над Менахемом Менделем Бейлисом, обвинявшимся в ритуальном убийстве русского мальчика. Сологуб был в числе подписавших обращение «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)», инициированное В.Г. Короленко. Протест также подписали М. Горький, Л.Н. Андреев, А.А. Блок, А.Н. Толстой и др. Подлинные убийцы были найдены, и Бейлиса оправдали.

«Хорошо, когда так снежно...» (с. 100). Дневники писателей. 1914. № 1.

Война

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Война. Пг.: Изд-во ж-ла «Отечество», 1915. Сборник (по мнению критики, декларативных, весьма неровных в художественном отношении стихов) отразил патриотическую настроенность поэта и части русской интеллигенции, пробужденную начавшейся Первой мировой войной.

Марш (с. 107). Аттила (ок. 434—453) — царь гуннов, совершавший опустошительные набеги на Восточно-Римскую империю, Галлию, Северную Италию.

Вильгельм Второй (с. 112). Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император и прусский король, свергнутый в 1918 г.

Утешение Бельгии (с. 115). *Сивилла* — см. примеч. к стих. «Круг начертан, и Сивилла...» (т. 7). *Альберт I* (1875—1934) — король Бельгии с 1909 г.

Стансы Польше (с. 116). Биржевые ведомости. 1914. 4 сентября.

Олегов щит (с. 118). *Олег повесил щит на медные ворота.* — Имеется в виду поход древнерусского князя Олега (?—912) в Византию и взятие ее столицы Царьграда (907).

Бой-скоуту (с. 120). *Бой-скоут*, бойскаут (англ. boy-scout — мальчик-разведчик) — член юношеской скаутской организации, входящей в систему внешкольного воспитания молодых граждан. Скаутизм ныне объединяет молодежь из около 120 стран.

Небо голубое

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Небо голубое. Стихи. Ревель: Библиофил, 1921.

«Измотал я безумное тело...» (с. 134). Газета «Страна». 1918. 31 марта. В сборнике Сологуба «Костер дорожный» (1922) под названием «Расточитель».

«Мне боги праведные дали...» (с. 135). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Дар лазоревых высот».

«Спокойно и просто...» (с. 137). В сборнике «Костер дорожный» под названием «В неоглядную даль».

«Улыбались, зеленея мило, сосенки...» (с. 138). *Покров* Пресвятой Богородицы — праздник православной церкви, отмечаемый 1 (14) октября.

«Пробегают грустные, но милые картины...» (с. 139). Биржевые ведомости. 1917. 8 января. *Аксаковский пейзаж* — имеется в виду среднерусский пейзаж, описанный Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791—1859) в «Записках об уженье рыбы», «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», «Семейной хронике» и других произведениях.

«Как ярко возникает день...» (с. 139). Альманах «Творчество». Книга 2. М.; Пг., 1918. *Сократ* (ок. 469—399 до н.э.) — древнегреческий философ.

«Снова саваны надели...» (с. 144). *Элизийские* (Елисейские) *поля* — в греческой мифологии загробный мир для праведных душ.

«В прозрачной тьме прохладный воздух дышит...» (с. 145). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Челнок».

«Как незаметно подступила...» (с. 146). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Шепот ночи».

«Только мы вдвоем не спали...» (с. 147). Багульник. 1916. № 1. В сборнике «Костер дорожный» под названием «Игра лунная».

«Ты хочешь, девочка луна...» (с. 148). Огонек. 1917. № 36. В сборнике «Костер дорожный» под названием «Девочка луна».

«Плыву вдоль волжских берегов...» (с. 153). Русская мысль. 1917. № 2. В сборнике «Костер дорожный» под названием «На Волге».

«Узнаешь в тумане зыбком...» (с. 155). *Имя сладостное Волга // Сходно с именем ушедшей.* — Имеется в виду сестра Сологуба Ольга Кузьминична Тетерникова (1865—1907), акушерка, в 1893 г. окончившая Повивальный институт. Умерла от туберкулеза.

Свирель. В стиле французских бержерет (с. 158). Этот раздел наиболее полно представляет стихотворения Сологуба, написанные в стиле французского пасторального жанра. Из них пять стихотворений составят в сборнике «Одна любовь» раздел «Свирель (В стиле бержерет 18-го века)». Через год поэт напечатает отдельным изданием книгу «Свирель. Русские бержереты» (Пб.: Petropolis, 1922). Она была посвящена Анастасии Николаевне Сологуб-Чеботаревской. «Свирель» вся написана, чтоб ее позабавить, — вспоминал Сологуб. — Голодные были дни. Заминка с пайком. Ходил на Сенную, на последние гроши, на размененные по секрету

от нее германские марки купить что-нибудь вкусное. И по дороге сложил не одну бержерету. Первые же бержереты написаны по ее желанию для вечера в Институте, где она занималась языками и литературой» (Сологуб Ф. Поминальные записи об Ан. Н. Чеботаревской. В кн.: Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 381—382).

Из сборника «Одна любовь»

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Одна любовь. Стихи. Пг.: Myosotis, 1921.

«В моем безумии люби меня...» (с. 188). Стихотворение, обращенное к Ан. Н. Чеботаревской, переработано из триолетов «Только будь всегда простою...» и «В моем бессилии люби меня...», вошедших в книгу «Очарования земли».

«Любви неодолима сила...» (с. 194). *Евридика* (Эвридика) — в греческой мифологии жена фракийского певца Орфея. Во время хоровода в лесу Эвридику ужалила змея, и она умерла. Орфей отправился в царство мертвых, чтобы вернуть любимую жену. Ему удалось увлечь своей игрой на арфе Аида и Персефону, которые отпустили Эвридику, но с условием, что он взглянет на нее, только придя домой. Орфей не удержался и оглянулся на Эвридику, потеряв ее навсегда. *Психея* — в греческой мифологии олицетворение души, дыхания. *Амур* — в римской мифологии божество любви (у греков — Эрот). *Альдонса* — крестьянка из романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», которую пылкое воображение Рыцаря Печального Образа превратило в прекрасную Дульцинею Тобосскую.

«Две пламенные вьюги...» (с. 195). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Две вьюги».

«Насладился я жизнью, как мог...» (с. 199). Петербургский альманах. Книга 1. Пб.; Берлин, 1922.

«Душа моя, благослови...» (с. 200). Газета «Биржевые ведомости» (утренний выпуск). 1916. 25 декабря (под названием «Душа моя»).

«Порой томится Дульцинея...» (с. 203). Дульцинея, Альдонса, Дон-Кихот — см. примеч. к стих. «Любви неодолима сила...».

«Кругом насмешливые лица...» (с. 204). Росинант — конь Дон Кихота.

Фимиамы

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Фимиамы. Пб.: Странствующий энтузиаст, 1921.

«В ясном небе — светлый Бог Отец...» (с. 207). *Аполлон* (Феб) — в греческой мифологии олимпийский бог-целитель и прорицатель, покровитель

земледелия, пастушества и искусств. *Вакх* — одно из имен Диониса, бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия. *Зевс* — в греческой мифологии верховное божество в олимпийской семье богов, владыка неба.

«Благодарю тебя, перуанское зелие!..» (с. 209). *Перуанское зелие* — табак. *Монтезума* (Монтесума; 1466—1520) — последний правитель Мексики, захваченной испанцами.

О.А. Глебовой-Судейкиной (с. 213). *Судейкина* Ольга Афанасьевна (урожд. Глебова; 1885—1945) — с 1906 г. актриса театров В.Ф. Комиссаржевской и Литературно-художественного общества, художница, танцовщица. Первая жена (1906—1916) художника С.Ю. Судейкина (1884—1946). В 1911—1917 гг. участница концертных программ в художественно-артистических кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». Подруга А.А. Ахматовой, которая назвала ее «Коломбиной десятых годов». Ей адресовано одно из посвящений к «Поэме без героя». Ей посвятили стихотворения также М. Кузмин, И. Северянин, Г. Иванов, Вс. Князев и др. В эмиграции с 1924 г. Здесь вела замкнутый образ жизни. Занималась разведением комнатных птиц, живописью, создавала картины-аппликации на религиозные темы. В 1932—1935 гг. участвовала в выставках.

«Я испытал превратности судеб...» (с. 214). *Парадиз* — рай. *Петр* — один из двенадцати учеников (апостолов) Иисуса Христа. По одной из легенд, он охраняет вход в рай.

«Радуйся, радуйся, Ева...» (с. 215). *Адонаи* — см. примеч. к стих. «В мантии серой». *Люцифер* — см. примеч. к т. 7. С. 349.

«Хнык, хнык, хнык...» (с. 217). Бич. 1916. № 9.

«Замолкнули праздные речи...» (с. 219). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Воскресни».

«Моя верховная Воля...» (с. 229). *Адонаи* — см. примеч. к стих. «В мантии серой». *Вельзевул* — персонаж Нового Завета, глава демонов. *Молох* — персонаж Библии, божество, требовавшее жертвоприношений (особенно детей).

«Упрекай меня, в чем хочешь...» (с. 230). Полон. Литературный сборник. Пг., 1916. В сборнике «Костер дорожный» (1922) под названием «Бренное».

«На тихом берегу мы долго застоялись...» (с. 231). *Фелонь* — риза, верхняя одежда священника (В.И. Даль).

«Над землею ты высок...» (с. 236). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Горящий брат».

«Ты не весел и не болен...» (с. 240). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Похожий на меня».

Из сборника «Соборный благовест»

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Соборный благовест. Пб.: Эпоха, 1922.

Россия (с. 245). Отечество. 1915. 22 марта.

Швея (с. 245). Вопросы жизни. 1905. № 9. Публикация сопровождалась примечанием редакции: «Г. Сологуб просил нас предупредить читателей, что тема его стихотворения «Швея» совпадает с темой стихотворения «Пчелки», которое было написано самостоятельно одним из современных поэтов». Имеется в виду стихотворение Тэффи «Пчелки» (см. ее очерк «Федор Сологуб» Т. 6. С. 484).

Земле (с. 247). Вольница. 1906. № 1.

«День безумный, день кровавый...» (с. 247). Пламя. 1905. 1 декабря. № 1.

«Великого смятения...» (с. 248). Народное хозяйство. 1905. 25 декабря (объединено со стихотворением «Тяжелыми одеждами...»).

Искали дочь (с. 249). Наша жизнь. 1905. 26 ноября.

«Тяжелыми одеждами...» (с. 251). Народное хозяйство. 1905. 25 декабря (объединено со стихотворением «Великого смятения...»).

«Я спешил к моей невесте...» (с. 251). Перевал. 1906. № 1 (под названием «В день погрома»; цикл «Простые песенки»).

«Догорало восстанье...» (с. 252). Нива. 1917. № 24.

Жалость (с. 253). Перевал. 1906. № 1 (цикл «Простые песенки»).

Парижские песни. I. «Раб французский иль германский...» (с. 254). Газета «Дело народа». 1917. 15 марта. *Илот* — земледелец-раб в древней Спарте. *Opera* — один из старейших театров Парижа «Гранд-опера». *Во дни святых восстаний...* — Имеются в виду Великая французская революция 1789 г., июльская революция 1830 г., февральская революция 1848 г., Парижская коммуна 1871 г.

«Не презирай хозяйственных забот...» (с. 256). Биржевые ведомости. 1915. 6 августа. В сборнике «Костер дорожный» (1922) под названием «Хозяйственные заботы».

«Тяжелый и разящий молот...» (с. 257). Огонек. 1917. № 11.

«Народ торжественно хоронит...» (с. 258). Биржевые ведомости. 1917. 23 марта (утренний выпуск). *Мед гиметских чистых сот* — горный мед Гимета в Древней Греции.

«Разрушать гнезда не надо...» (с. 259). В сборнике «Костер дорожный» под названием «Не разрушай».

Из книги «Костер дорожный»

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Костер дорожный. М.; Пг.: Творчество, 1922.

Певице (с. 273). *Бутомо-Названова* Ольга Николаевна (1888—1960) — певица (меццо-сопрано). Занималась концертной деятельностью, участвовала в авторских вечерах С.В. Рахманинова, А.Т. Гречанинова, С.С. Прокофьева.

Астероид (с. 276). *Астероид* — одна из малых планет, обращающихся вокруг Солнца. *Коллоид* — некристаллизующееся вещество, состоящее из мелких частиц.

Ариадна («Где ты, моя Ариадна?..») (с. 283). Петроградская газета. 1918. 14 апреля (под названием «В лабиринте»).

Из сборника «Чародейная чаша»

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Чародейная чаша. Пб.: Эпоха, 1922. Примеч. Сологуба: «Из собранных в этой книге стихотворений четыре были напечатаны раньше (им названы следующие: «Бога милого, крылатого...», «Как ярко возникает день...», «Ты хочешь, девочка луна...» и «Хотя бы нам и обещали...» — *Т.П.*). Остальные печатаются первый раз». Однако среди напечатанных ранее — еще шесть стихотворений: «Мне боги праведные дали...», «Снова саваны надели...», «Призрак ели с призраком луны...», «Ты хочешь, девочка луна...», «И это небо голубое...», «Туманы над Волгою милой...» из сборника «Небо голубое» (1921).

«Нет словам переговора...» (с. 289). Примеч. автора к этому стихотворению: «В книге Крушевского «Заговоры, как вид русской народной поэзии» (Варшава, 1876) говорится: «В конце почти всякого заговора стоит часть, которую можно было бы назвать закреплением. Часть я нашел только в русских заговорах... Она чаще всего выражается формулами: и слова мои крепки; будьте слова мои крепки и лепки до веку; нет моим словам переговора и недоговора: «будь ты, мой приговор, крепче камня и железа, и т.п. Здесь, кажется, сам народ засвидетельствовал, что силу заговора он видит именно в слове» .

«День и ночь измучены бедою...» (с. 290). Примеч. автора: «В книге С. Шашкова «Шаманство в Сибири» передается легенда о том, что мать, пославшая свою дочь за водою, долго ждала ее, потеряла терпение и закричала: «Чтоб солнце ее взяло!» Солнце и месяц сошли с неба, чтобы завладеть девушкой; солнце уступило ее месяцу потому что ночной путь опасен без спутницы».

«Бога милого, крылатого...» (с. 292). Петербургский сборник. Пб., 1922. *«Горе Эльзам, чутко внемлющим // Про таинственный Грааль ...»* — Имеется в виду поэма немецкого миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха (XIII в.) «Парсифаль», в основе которой сказание о лебедином рыцаре Лоэнгрине, спасшем княжну Эльзу из Брабанта. Он женился на княжне, взяв с нее слово, что она никогда не спросит, кто он. Эльза нарушила обещание, и Лоэнгрин исчез навсегда. *Грааль* — таинственный сосуд, ради приближения к которому и приобщения к его благим действиям рыцари совершали свои подвиги. Считалось, что эта чаша с кровью распятого Иисуса Христа или чаша для причащения, служившая Христу и апостолам во время Тайной вечери. Грааль тесно связан с легендами о короле Артуре. *Семела* — в греческой мифологии дочь фиванского царя, возлюбленная Зевса. По ее просьбе бог предстал пред нею в истинном своем обличье, и Семела погибла, испепеленная его молниями. *Актеон* — охотник, увидевший купающуюся обнаженную богиню охоты Диану-девственницу. Разгневанная Диана превратила Актеона в оленя, которого растерзали его же собаки.

«Выйди в поле полночное...» (с. 294). *Прокуда* — проказник, пакостник, зловредный человек.

Из сборника «Великий благовест»

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Великий благовест. М.; Пг.: ГИЗ, 1923 («Библиотека современных русских писателей»).

«В тени аллей прохлада...» (с. 307). Нива. 1917. № 22.

Шут (с. 308). «Зритель». 1905. № 22. «...радуют четыре // Из святых земных свобод?» — Имеется в виду Манифест от 17 октября 1905 г., провозгласивший конституционные свободы.

«Воцарился злой и маленький...» (с. 309). Биржевые ведомости. 1917. 10 марта (утренний выпуск).

Веселая песня (с. 309). Бич. 1917. № 12 (под названием «Веселая песенка пролетария»).

Спутник (с. 312). Сологуб Ф. Родине. Стихи. Книга пятая. СПб., 1906.

Веселая народная песня (с. 314). Зритель. 1906. № 1 (под названием «Веселая деревенская песня». Подпись: Горицвет).

Халдейская песня (с. 317). Дело народа. 1917. 16 апреля. № 26.

«Какая покорность в их плаче...» (с. 318). Огонек. 1916. № 48. *Парки* — в римской мифологии богини судьбы.

Ярый год

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Ярый год. М.: Московское книгоиздательство, 1916.

Правда сердца

Биржевые ведомости. 1914. 14, 15 сентября. № 14372, 14374.

С. **327.** *Франц-Иосиф умер.* — Неточность: Франц Фердинанд (1863—1914), австрийский эрцгерцог, был убит; его убийство в Сараеве послужило одним из поводов для начала Первой мировой войны.

С. **332.** *Дурова* Надежда Андреевна (1783—1866) — первая в России женщина, ставшая офицером, участница войн с Францией в 1807 и 1812—1814 гг. Автор мемуаров «Записки кавалерист-девицы» (1836—1839).

Обручальное

Биржевые ведомости. 1914. 12 октября. № 14428.

Танин Ричард

Биржевые ведомости. 1914. 16 ноября. № 14498.

Три лампады

Голос жизни. 1914. 17 декабря. № 10.

Сердце сердцу

Огонек. 1914. 25 декабря. № 52.

С. **349.** *Скрябин* Александр Николаевич (1871—1915) — композитор, пианист. Автор новаторских симфонических произведений «Поэма экстаза» (1907), «Прометей» («Поэма огня», 1910) и др.

Сними траур

Биржевые ведомости. 1914. 25 декабря. № 14575.

С. **361.** *Вдруг захотелось калача. И непременно от Филиппова.* — Речь идет о сети магазинов и пекарен фирмы «Филиппов и наследники», разбросанных в то время по всей России.

Визит

Вершины. 1915. 1 января. № 5.

Незамерзающий мальчик

Лукоморье. 1915. 1 января. № 1.

Дед и внук

Отечество. 1915. № 1.

С. **383.** *Анатоль Франс* (наст. имя и фам. Анатоль Франсуа Тибо; 1844—1924) — французский писатель.

Тихий зной

Биржевые ведомости. 1915. 16 января. № 14618.

Свет вечерний

Аргус. 1915. № 1.

Красавица и оспа

Огонек. 1915. 22 марта. № 12.

Возвращение

Биржевые ведомости. 1915. 22 марта. № 14741.

Надежда воскресения

Русское слово. 1915. 22 марта. № 67.

Неутомимость

Огонек. 1916. 17 января. № 3.

С. **415.** *...«порезала ноженьку голую»...* — цитата из стихотворения Н.А. Некрасова «В полном разгаре страда деревенская...»: «Приподнимая косулю тяжелую, // Баба порезала ноженьку голую — // Некогда кровь унимать!»

День встреч

Голос жизни. 1914. 4 января. № 4.

С. **426.** *Гофлиферант* — здесь: владец фирмы, гордящийся тем, что поставляет свои изделия ко двору кайзера. Сологуб, вероятно, употребляет в ироническом смысле приставку «гоф», означающую «придворный».

Ошибка гофлиферанта

Отечество. 1914. 16 января. № 3.

С. **443.** *Ратман* — советник.

Сочтенные дни

Печ. по изд.: Сологуб Ф. Сочтенные дни. Ревель; Библиофил, 1921.

Сочтенные дни

Альманахи книгоиздательства «Творчество». Кн. 2. М.; Пг., 1918.

Колебание стен

Биржевые ведомости. 1917. 5 февраля. № 16082.

Самосожжение зла

Биржевые ведомости. 1917. 2 апреля. № 16164.

Валерий Брюсов

Федор Сологуб (Как поэт)

Русская мысль. 1910. № 3 (заметки о т. 1 собр. соч. Ф. Сологуба. СПб.: Шиповник, 1910). Автор значительно расширил рецензию для своего сборника «Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» (М.: Скорпион, 1912). Печ. по изд.: Брюсов В. Собр. соч: В 7 т. Т. 6. М.: Худож. литература, 1975.

С. **523.** *Иван Коневской* (наст. имя и фам. Иван Иванович Ореус; 1877—1901) — поэт, критик.

Юлий Айхенвальд

Федор Сологуб (Его стихотворения)

Печ. по изд.: Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Т. III. Новейшая литература. Изд. 4-е, перер. Берлин: Слово, 1923.

С. **532.** *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, математик, физик, языковед. Автор учения о предустановленной гармонии, царящей в реальном мире («Монадология», 1714). Один из создателей интегрального и дифференциального исчислений.

С. **533.** *Мефистофель* — дьявол, образ злого духа в европейской литературе и фольклоре. Персонаж трагедии Гёте «Фауст».

С. **534.** *« Хулу над миром я восславлю.. »* — неточная цитата. У Сологуба «восставлю».

С. **541.** *Арфы Давида* — имеются в виду средневековые книги псалмов, традиционно показывающие царя Израильско-Иудейского государства играющим на арфе. Арфа также стала необходимым атрибутом на портретах Давида, выполненных художниками ренессансной поры.

Притчи Соломона — одна из книг Библии, авторство которой традиция приписывает царю Израильско-Иудейского царства Соломону, правившего в 965—928 гг. до н.э.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФЕДОРА СОЛОГУБА, ВКЛЮЧЕННЫХ В Т. 7 И 8

СОДЕРЖАНИЕ

Сологуб. Ф.
С 60 Собр. соч.: Т. 8 (дополнительный). Соборный благовест. Стихотворения Ярый год Рассказы. Сочтенные дни: Рассказы / Сост., примеч Т.Ф. Прокопова. М.. НПК «Интелвак», 2004. — 608 с.

ISBN 5-93264-050-2 (т. 8)

В восьмом томе (дополнительном) Собрания сочинений Федора Сологуба завершается публикация поэтического наследия классика Серебряного века. Впервые представлены все стихотворения, вошедшие в последний том «Очарования земли» из его прижизненных Собраний, а также новые тексты из восьми сборников 1915—1923 гг В том включены также книги рассказов писателя «Ярый год» и «Сочтенные дни».

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1

Сологуб Федор
(Тетерников Федор Кузьмич)
Собрание сочинений
Том 8 (дополнительный)

Редактор *Виктория Фрадкина*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 06.02.2004. Формат 60×84/16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 25.
Тираж 3000 экз. Заказ № 881.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел. 127 3846
E-mail: iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.


ISBN 5-93264-050-2
9 785932 640500 >